

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

ΕPISTEMOLOGY
& PHILOSOPHY OF SCIENCE

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ и ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

Т. 61 • № 2

Ежеквартальный научно-теоретический журнал

МОСКВА
2024

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

Ежеквартальный научно-теоретический журнал

2024. Том 61. Номер 2

Главный редактор: *И.Т. Касавин* (Институт философии РАН, Москва, Россия)

Зам. главного редактора: *А.Ю. Антоновский* (Институт философии РАН, Москва, Россия),

И.А. Герасимова (Институт философии РАН, Москва, Россия),

П.С. Куслий (Институт философии РАН, Москва, Россия)

Ответственный секретарь: *Л.А. Тухватулина* (Институт философии РАН, Москва, Россия)

Редакционная коллегия:

В.А. Бажанов (Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия),

В.В. Васильев (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова),

Джон Греко (Джорджтаунский университет, Вашингтон, США),

Д.Н. Дроздова (Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики», Москва, Россия),

Н.И. Кузнецова (Институт истории естествознания и техники РАН, Москва, Россия),

Джоан Лич (Университет Куинсленда, Брисбен, Австралия),

Дженнифер Лэки (Северо-Западный университет, Чикаго, США),

И.Б. Микитумов (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия),

И.Д. Невважай (Саратовская государственная юридическая академия, Саратов, Россия),

С.В. Пирожкова (Институт философии РАН, Москва, Россия),

Ханс Позер (Берлинский технический университет, Берлин, Германия),

В.Н. Порус (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия), *Данкан Притчард* (Калифорнийский университет в Ирвайне, Ирвайн, США),

Александр Рузер (Университет Агдера, Агдер, Норвегия),

С.Г. Секундант (Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, Одесса, Украина),

В.Э. Терехович (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,

Москва, Россия),

Тимоти Уильямсон (Оксфордский университет, Оксфорд, Великобритания),

В.П. Филатов (независимый исследователь, Москва, Россия),

Стив Фуллер (Уорикский университет, Ковентри, Великобритания),

Л.В. Шиповалова (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия),

Нико Штер (Университет Цеппелина, Фридрихсхафен, Германия)

Редакционный совет:

Председатель: *В.А. Лекторский* (Институт философии РАН, Москва, Россия),

А.А. Гусейнов (Институт философии РАН, Москва, Россия),

Джон Дюпре (Эксетерский университет, Эксетер, Великобритания),

Ньютон Да Коста (Федеральный университет Санта-Катарины, Флоарианополис, Бразилия),

Ханс Ленк (Технологический институт Карлсруэ, Карлсруэ, Германия),

Том Рокмор (Университет Дюкейн, Питтсбург, США; Пекинский университет, Пекин, Китай),

Эндрю Финберг (Университет Саймона Фрезера, Бернаби, Канада),

Дэвид Хесс (Университет Вандербильта, Нашвилл, США)

Учредитель и издатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт философии Российской академии наук

Периодичность: 4 раза в год. Выходит с 2004 г.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77-57113 от 3 марта 2014 г.

Подписной индекс каталога Почты России – ПН141

Журнал включен в: Перечень рецензируемых научных изданий ВАК (группа научных специальностей 09.00.00 «Философские науки»); Российский индекс научного цитирования (РИНЦ); Ulrich's Periodicals Directory; ERIH PLUS; Philosophy Documentation Center; Russian Science Citation Index (Web of Science); Web of Science (Core Collection); SCOPUS

Публикуемые материалы прошли процедуру рецензирования и экспертного отбора

Адрес редакции: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1, оф. 315

Тел.: +7 (495) 697-95-76; e-mail: journal@iphras.ru; сайт: <https://journal.iphras.ru>

EPISTEMOLOGY & PHILOSOPHY OF SCIENCE

Quarterly peer-reviewed journal

2024. Volume 61. Number 2

Editor-in-Chief: *Ilya T. Kasavin* (RAS Institute of Philosophy, Russia)

Editorial Assistants: *Alexander Yu. Antonovski* (RAS Institute of Philosophy, Russia),

Irina A. Gerasimova (RAS Institute of Philosophy, Russia),

Petr S. Kusliy (RAS Institute of Philosophy, Russia),

Liana A. Tukhvatulina (RAS Institute of Philosophy, Russia)

Editorial Board:

Valentin A. Bazhanov (Ulyanovsk State University, Russia),

Daria N. Drozdova (National Research University – Higher School of Economics, Russia),

Vladimir P. Filatov (Independent Scholar, Russia),

Steve Fuller (University of Warwick, UK),

John Greco (Georgetown University, USA),

Natalia I. Kuznetsova (RAS Institute for the History of Science and Technology, Russia),

Jennifer Lackey (Northwestern University, USA),

Joan Leach (Queensland University, Australia),

Ivan B. Mikirtumov (Saint Petersburg State University, Russia),

Igor D. Nevvazhay (Saratov State Law Academy, Russia),

Sofia V. Pirozhkova (RAS Institute of Philosophy, Russia),

Vladimir N. Porus (National Research University – Higher School of Economics, Russia),

Hans Poser (Technical University of Berlin, Germany),

Duncan Pritchard (University of California, Irvine, USA),

Alexander Ruser (University of Agder, Norway),

Sergei G. Sekundant (Odessa I.I. Mechnikov National University, Ukraine),

Nico Stehr (Zeppelin University, Germany),

Lada V. Shipovalova (Saint Petersburg State University, Russia),

Vladislav E. Terekhov (National Research University – Higher School of Economics, Russia),

Vadim V. Vasilyev (Lomonosov Moscow State University, Russia),

Timothy Williamson (Oxford University, UK)

Editorial Council:

Vladislav A. Lektorsky (the chairman) (RAS Institute of Philosophy, Russia),

Newton Da Costa (Federal University of Santa Catarina, Brazil),

John Dupré (University of Exeter, UK),

Andrew Feenberg (Simon Fraser University, Canada),

Abdusalam A. Guseinov (RAS Institute of Philosophy, Russia),

David Hess (Vanderbilt University, USA),

Hans Lenk (Karlsruhe Institute of Technology, Germany),

Tom Rockmore (Duquesne University, USA; Peking University, China)

Publisher: Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences

Frequency: 4 times per year. First issue: 2004

The journal is registered with the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor). The Mass Media Registration Certificate No. FS77-57113 on March 3, 2014

Subscription index in the catalogue of Russian Post is ПИ141

Abstracting and Indexing: the list of peer-reviewed scientific edition acknowledged by the Higher Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation; Ulrich's Periodicals Directory; ERIH PLUS; Philosophy Documentation Center; Russian Science Citation Index (Web of Science); Web of Science (Core Collection); SCOPUS

All materials published in the "Epistemology & Philosophy of Science" undergo peer review process

Editorial address: 12/1 Goncharnaya St., Moscow, 109240, Russian Federation

Tel.: +7 (495) 697-95-76; e-mail: journal@iphras.ru; website: <https://journal.iphras.ru>

CONTENTS



EDITORIAL

- Valentin A. Bazhanov.* How are Pseudosciences Possible?
Once Again about the Evergreen Philosophical Problem.....6



PANEL DISCUSSION

- Evgeny V. Borisov.* A Straight Solution to Kripke's problem.....23
Vitaly V. Tselishchev. Obstacles to a Direct Solution
Through a Direct Access to Consciousness.....33
Vsevolod A. Ladov. Meaning: Realism vs Skepticism.....43
Valery A. Surovtsev. Skepticism, Straight Solution
and Linguistic Frameworks.....51
Andrei V. Nekhaev. Kripke's Evil Demon, Cartesian Semantics
and Epistemic Supervenience.....60
Alexander G. Andrushkevich. Problems and Prospects
for a One-Sided Solution to Kripke's Problem.....71
Grigory A. Zolotkov. Phenomenon of Intuitive Understanding
of Speech Acts as a Solution to Kripke's Problem.....77
Polina I. Oleinik. Controversial Aspects of a Straight Solution
to Kripke's Problem.....83
Evgeny V. Borisov. Reply to Critics.....89



EPISTEMOLOGY & COGNITION

- Ivan B. Mikirtumov.* Truth and Affect.....95



LANGUAGE & MIND

- Maxim D. Gorbachev.* Illusionist Theory of Consciousness
as a Development of Identity Theory of the Mental and the Physical.....114



VISTA

- Andrey V. Rezaev, Natalia D. Tregubova.* Philosophy of Social Intercourse
and Artificial Intelligence: A Comparative Analysis.....134



CASE STUDIES – SCIENCE STUDIES

- Andrei V. Prokofiev.* On the Role of Scientific Evidence in Normative Ethics
(the Case of the Debunking of Deontological Principles).....157
Anna V. Sakharova. Hunting for Creativity:
The Role of Science Communicators
in Evaluating Scientific Research.....175



INTERDISCIPLINARY STUDIES

- Alexander Ruser.* Social Science as a Project:
Epistemological Consequence of Changing Contexts
for Social Science Research.....190



ARCHIVE

- Vera A. Serkova.* The Importance of Examples in the Philosophy
of Carl Hempel.....209



NEW TRENDS

- Ilya T. Kasavin, Alina O. Kostina.* Philosophy of Interdisciplinarity:
The Program of J.C. Schmidt.....225

СОДЕРЖАНИЕ



РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

В.А. Бажанов. Как возможны псевдонауки?
Еще раз о вечнозеленой философской проблеме.....6



ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

Е.В. Борисов. Прямое решение проблемы Крипке.....23
В.В. Целищев. Препятствия на пути прямого решения
через прямой доступ к сознанию.....33
В.А. Ладов. Значение: реализм vs скептицизм.....43
В.А. Суровцев. Скептицизм, прямое решение и языковые каркасы.....51
А.В. Нехаев. Злой демон Крипке, картезианская семантика
и эпистемическая супервентность.....60
А.Г. Андрушкевич. Проблемы и перспективы одностороннего решения
проблемы Крипке.....71
Г.А. Золотков. Опыт интуитивного понимания речи
как решение проблемы Крипке.....77
П.И. Олейник. Спорные аспекты прямого решения проблемы Крипке.....83
Е.В. Борисов. Ответ оппонентам.....89



ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И ПОЗНАНИЕ

И.Б. Микиртумов. Истина и аффект.....95



ЯЗЫК И СОЗНАНИЕ

М.Д. Горбачев. Иллюзионистская теория сознания
как развитие теории тождества ментального и физического.....114



ПЕРСПЕКТИВА

А.В. Резаев, Н.Д. Трегубова. Философия общения
и искусственный интеллект: опыт сравнительного анализа дискуссий
в отечественной и зарубежной литературе.....134



СИТУАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

А.В. Прокофьев. О роли научных данных в нормативной этике
(на примере проекта разоблачения деонтологических принципов).....157
А.В. Сахарова. Охотники за креативностью:
роль научных коммуникаторов в оценке научного
исследования.....175



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Александр Рузер. Социальная наука как проект:
эпистемологические последствия изменения контекстов
социально-научных исследований.....190



АРХИВ

В.А. Серкова. Значение примеров в философии Карла Гемпеля.....209



ТЕНДЕНЦИИ

И.Т. Касавин, А.О. Костина. Философия междисциплинарности:
программа Я.К. Шмидта.....225

КАК ВОЗМОЖНЫ ПСЕВДОНАУКИ?

ЕЩЕ РАЗ О ВЕЧНОЗЕЛЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ПРОБЛЕМЕ

Бажанов Валентин Александрович – заслуженный деятель науки РФ, доктор философских наук, профессор. Ульяновский государственный университет. Российская Федерация, 432017, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 42; e-mail: vbazhanov@yandex.ru



В статье предпринимается попытка осмыслить феномен псевдонауки и его область действия в момент, когда истекает первая четверть XXI столетия. Подчеркивается и обосновывается актуальность, социальная и политическая важность анализа этого феномена как в настоящее время, так и в исторической ретроспективе в плане изучения проблемы демаркации научного и ненаучного знания. Указывается на существование различных видов научного, околонаучного (девиантного, прото-научного) и ненаучного знания (псевдонауки, паранормальной науки, лженауки, теневой науки); говорится об экспансии псевдонаучных представлений в последние годы, вызванные сомнением в функционале пандемии COVID-19, а также в усилении иных глобальных изменений. Описывается многообразие проявлений псевдонауки, включая псевдоматематику и псевдологику. Формулируются необходимые признаки научного знания, и показывается, что псевдонаука – это фактически alter ego науки. Обращается внимание на тот факт, что принадлежность знания к псевдонаучному прежде всего определяется методами получения этого знания. Предлагается объяснение постоянного воспроизводства псевдонаучных идей с когнитивной точки зрения, и выражается уверенность в том, что такого рода идеи будут достаточно популярными и могут сопровождать человечества еще очень долго, что, однако, вовсе не снижает значимость их анализа под углом зрения эпистемологии и философии науки.

Ключевые слова: наука, псевдонаука, «сочинение наук», виды наук и псевдонаук, когнитивные и социальные основания псевдонауки

HOW ARE PSEUDOSCIENCES POSSIBLE?

ONCE AGAIN ABOUT THE EVERGREEN PHILOSOPHICAL PROBLEM

Valentin A. Bazhanov – DSc in Philosophy, Professor. Ulyanovsk State University. 42 Leo Tolstoy St., 432017 Ulyanovsk, Russian Federation; e-mail: vbazhanov@yandex.ru

The article has the goal to conceptualize the phenomenon of pseudoscience and its scope at the first quarter of the XXI century expires. The relevance, social and political importance of analyzing this phenomenon both at present and in historical retrospect in terms of studying the problem of demarcation of scientific and non-scientific knowledge emphasized. The existence of different types of scientific, quasi-scientific (deviant, proto-scientific) and non-scientific knowledge (pseudoscience, paranormal science, pseudoscience, shadow science) is pointed out. The expansion of pseudoscientific ideas in recent years, caused by the COVID-19 pandemic, as well as by the intensification of other



global changes, described. The variety of pseudoscience making up, including pseudo-mathematics and pseudo-logic, described. The necessary attributes of scientific knowledge formulated and we consider pseudoscience as the alter ego of science. Attention drawn to the fact that the belonging of knowledge to pseudoscientific knowledge determined by the methods of obtaining this knowledge. The explanation of constant reproduction of pseudoscientific ideas from the cognitive point of view offered. Confidence is expressed that such ideas will be popular enough and can accompany mankind for a long time, which, however, does not at all reduce the significance of their analysis from the epistemology and philosophy of science perspective.

Keywords: science, pseudoscience, "making up sciences", types of sciences and pseudo-sciences, cognitive and social background of pseudoscience

Одна из особенностей философского знания заключается в том, что в нем имеются проблемы, о которых размышляют и предлагают решения многие поколения мыслителей. К этой же категории философских проблем, в явном виде поставленной представителями Венского кружка почти столетие тому назад и «заостренной» К. Поппером, который в свою очередь усматривал ее истоки в философии И. Канта, относится проблема *демаркации* научного и ненаучного (включая псевдонаучное) знания. Без соответствующего терминологического обозначения она фактически занимала ученых и ранее. Например, принцип верификации, предложенный участниками Венского кружка, касался этой проблемы. Во всех случаях на протяжении истории этих проблем предлагались подходы и некоторые решения, которые, однако, пересматривались, уточнялись и дополнялись последующими поколениями мыслителей. Представления о научном и ненаучном знании плотно вписывались в исторический и социокультурный контекст той или иной эпохи. В каком-то смысле здесь воспроизводится ситуация, когда каждое новое поколение прочитывает и стремится истолковать максимы Библии под своим, созвучном времени углом зрения.

Что делает проблему демаркации актуальной?

Проблема демаркации, которая числится среди важнейших философских проблем [List of philosophical problems...]¹, несмотря на свою сравнительно короткую историю (если сопоставлять ее с другими «вечными» проблемами философии), не составляет исключения.

¹ Еще несколько лет тому назад данная рубрика в Википедии носила название «Перечень нерешенных (unsolved) философских проблем».



Ей посвящен большой массив литературы²; внимание к ней то заметно повышалось, то угасало после того, как Л. Лаудан в 1983 г. объявил проблему демаркации неактуальной, а понятия «ненаучный», «псевдонаучный»³ из философского словаря назвал «пустыми», лишь соответствующими нашему эмоциональному состоянию при встрече с некоторыми когнитивными феноменами [Laudan, 1983, p. 222].

Между тем, несмотря на авторитет Лаудана, многие философы возражали ему и настаивали на том, что по-прежнему проблема демаркации находится на авансцене исследований [Pigliucci, 2013, p. 9–10]. И сегодня, когда минула почти четверть XXI столетия, указанная проблема отнюдь не потеряла свою остроту. Представления, которые далеки от научных, разделяются населением различных государств. Согласно социологическим опросам жителей США институтом Харриса, в 2009 г. в существование ангелов верили 72%, в загробную жизнь 71%, идею креационизма разделяли 40%, в астрологические предсказания и в наличие ведьм верили 23% [Shermer, 2013, p. 204]. И в 2021 г. 41% американцев верили в существование призраков, 8% в вампиров, но среди тех, кто получил университетское образование, таковых было уже почти в два раза меньше [Ballard, 2021]⁴. В России в 2013 г., по данным опроса фонда «Общественное мнение», «почти половина россиян – 46% – верили в существование потусторонних сил. 14% опрошенных лично сталкивались с их действием: как правило, видели домовых, умерших людей, призраков, вещие сны, получали предупреждения об опасности или чудесным образом спасались» [Ведомости, 2013]⁵.

² В том числе в настоящем журнале: Конопкин А.М. К вопросу о структуре псевдонауки: псевдонаука как девиантная интерпретация // *Epistemology & Philosophy of Science*. 2014. № 1. С. 152–172; Щавелев С.П. Наука in vivo // *Epistemology & Philosophy of Science*. 2018. № 1. С. 236–241, а также в иных изданиях: Мартишина Н.И. Когнитивные основания паранауки. Омск: Изд-во ОмГТУ, 1996; Тихонова С.В. Конкуренция науки и лженауки в эпоху постправды // *Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика*. 2018. Т. 18. No. 3. С. 287–291.

³ Псевдонаука – «ложная наука (false science)».

⁴ Среди последовательных сторонников Республиканской партии таковых 54%, Демократической – 37%.

⁵ Богатая коллекция лженаучных и псевдонаучных представлений российского происхождения собрана академиком Э.П. Кругляковым [Кругляков, 2002]. В свое время меня поразило «творчество» И. Юзвishина, который в своем учебнике по «информациологии», рекомендованном, кстати, Министерством науки и образования и выдержавшем несколько изданий, изобрел «биоэнергoinформатику». В качестве рецензентов этого издания значился с десятков (!) докторов наук, хотя то, что это пример псевдонауки, мог бы легко понять даже студент второго курса физического факультета.



Жители США только в 2012 г. израсходовали более 30 миллиардов долларов на альтернативную медицину⁶ и 300 миллионов на магнитные браслеты, бесполезность которых была давно установлена научными исследованиями. В некоторых университетах Индии имеются программы подготовки «специалистов» не только в области аюрведы, но и ведической астрологии [Nanda, 2003, p. 107]; казалось бы, во вполне просвещенной Австралии действует образовательная программа по «культурной» астрологии, в Швеции геологи учат биолокации (поиск ископаемых с помощью лозоходных палочек; см. [Hansson, 2020, p. 48]), в Гонконге и на Тайване преподают «науку» Феншуй [Matthew, 2019], хотя сомнений в том, что Феншуй является псевдонаукой, давно уже среди (по крайней мере западного) научного сообщества нет [Fernandez-Bennato, 2021, p. 1340].

В Австралии и Новой Зеландии в университетах учат «науке» народов маори, причем утверждается, что она даже «превосходит» западную науку и тем самым является более обоснованной в плане присутствия в учебных планах, чем другие учебные курсы [Steward, 2007, p. 128].

Конечно, не любые псевдонаучные представления инспирируются заблуждениями или наивной верой в чудесное. Нередко за ними стоят более или менее открытые меркантильные интересы. Так, американские компании, производящие табак и торгующие табачными изделиями, щедро спонсируют конференции (которых проведено уже более нескольких десятков!), на которых говорится о том, что курение никак не является очевидной причиной рака легких [Brandt, 2009].

Короче говоря, задачу просвещения, «рационализации» любого социума никак нельзя считать второстепенной. Утверждение И. Лакатоса о том, что «демаркация между наукой и псевдонаукой – не обычная проблема кабинетной философии, а насущная (vital) социальная и политическая проблема» [Lakatos, 1977, p. 1], несмотря на то, что было сделано полвека назад, по-прежнему актуально. *Псевдонаука – это alter ego науки в любой момент ее исторического развития.* Проблемы, связанные с псевдонаучными представлениями, продолжают активно обсуждаться в специальных современных изданиях (см., например: [Varga, 2021; Blancke et al., 2022]). Пристальное внимание к феномену псевдонауки никак нельзя считать случайным, поскольку люди, вдруг ставшие популярными или авторитетными в результате занятий псевдонаукой, могут стать, затмив действительных ученых, *псевдоэкспертами* и выносить вердикты по социально важным проблемам, направляя энергию и финансы общества на заведомо бесполезные или даже небезопасные проекты [Fuhrer et al., 2021].

⁶ В нее принято включать аюрведу, гомеопатию, магнитотерапию, натуропатию, хиропрактику и т.п.



или же убеждая людей в бесполезности или даже вреде тех или иных заключений и рекомендаций со стороны науки – это так называемый феномен дениализма [Тухватулина, 2023, с. 12–16].

Каковы причины, когнитивные и социальные основания постоянного, а временами, например в недавнюю пандемию COVID-19, даже «расширенного» воспроизводства псевдонаучных идей и представлений?

Многоцветье псевдонаучных всходов

Поле, на котором произрастают псевдонаучные всходы, обширно. На нем соседствуют едва ли не реликтовые растения, история которых восходит к Античности или Средневековью (типа нумерологии или креационизма), и совсем молодые всходы, возраст которых всего-то несколько лет (типа убеждения в наличии «памяти воды» [Gordin, 2021, p. 80] или в негативном влиянии высокочастотной связи 5G на психику человека).

Список псевдонаучных представлений, идей и концепций насчитывает более 210 наименований. Их распределение таково: медицина и здоровье – 90, физика – 25, психология – 21, паранормальные явления и НЛО (неопознанные летательные аппараты) – 20, астрономия – 15, науки о Земле – 6 и т.д. [List of pseudoscience...]. Несмотря на свою длину, этот список на самом деле далеко не полный. Так, в него по каким-то причинам не вошли данные, которые относятся к математике и логике (точнее, псевдоматематике и, если позволить себе ввести новый термин, псевдологике).

В математике такого рода проблемами, например, являются проблемы квадратуры круга, удвоения куба и трисекции угла. Неразрешимость этих проблем надежно и давно доказана. Однако некоторые энтузиасты вновь и вновь пытаются данные проблемы решить. Выискивать у этих энтузиастов ошибки зачастую сложно и непродуктивно в смысле затраты времени. Поэтому предлагаются специальные инструкции для экспертов⁷, каким образом можно не тратить драгоценное время, но по существу ответить «заинтересованным» лицам, включая самих авторов очередного «доказательства» [Dudley, 1983].

Более того, аргументы от математики иногда использовались для опровержения некоторых (ныне общепризнанных) теорий, скажем, эволюционной теории Ч. Дарвина, причем едва ли не в наши дни. Так, в серьезном и очень уважаемом журнале “The Mathematical

⁷ Люди с доминированием либеральных умонастроений склонны обращаться к более широкому кругу экспертов, чем те, у которых более выражены консервативные взгляды [Levy, 2019, p. 322].



Intelligencer” (возможно, в качестве математического курьеза) была опубликована статья, в которой «доказывалось», что естественный процесс эволюции не мог бы привести к формированию гемоглобина в крови. В гемоглобине 574 аминокислоты, но только около двадцати являются необходимыми для живых организмов. Простые комбинаторные вычисления показывают, что число возможных комбинаций составляет астрономическую цифру 10^{654} . Это, по мнению автора, означает, что вероятность возникновения живых организмов, в которых циркулирует кровь, посредством последовательных мутаций фактически равна нулю [Sewell, 2000, р. 7]. Однако данное заключение покоится на ложных посылах, поскольку здесь мутации понимаются «механически», вне их реальной роли и места в эволюции [Rosenhouse, 2001, р. 11].

Впрочем, аргументы от математики для опровержения теории Ч. Дарвина использовались и ранее. Хотя в данном случае речь идет не о псевдонауке, а об, как оказалось впоследствии, ошибочных воззрениях ученого: научное знание растет благодаря применению метода проб и ошибок. Лорд Кельвин (У. Томсон), выдающийся физик, но искренне верующий человек, не принял идею эволюции. Основываясь на знаниях конца XIX в., связанных с процессами на Солнце, он посчитал, что естественная эволюция могла продолжаться не более 100 миллионов лет, и, таким образом, это слишком короткий период для становления современного человека. Сын Дарвина Джордж, астроном, попытался защитить отца и, отталкиваясь от новейших данных, которые свидетельствовали в пользу того, что на Солнце «горит» радон⁸, получил существенно более продолжительный период эволюции, он был ближе к истине, хотя и эта оценка была неверной, поскольку материалом для процессов на Солнце на самом деле служит водород [Pigliucci, 2018, р. 207–209].

Искренние заблуждения среди крупных ученых случаются. Так, Э. Мах, несмотря на вроде бы убедительное экспериментальное обоснование, категорически не принимал факт существования атомов. Он заявлял, что покинет «церковь Физики, если его заставят поверить в атомы» [Mach, 1970, р. 32]. Такая позиция выдающегося физика и мыслителя, разумеется, сильно тормозила утверждение атомизма среди сообщества физиков.

В логике также иногда встречаются утверждения, которые можно отнести к разряду, мягко выражаясь, неверных и которые можно отнести к псевдологике. Таковым можно считать «доказательства», воспроизводимые в течение многих лет, согласно которым вторая теорема Гёделя никоим образом, вопреки общему мнению логического сообщества, не затрагивает программу Д. Гильберта обоснования математики финитными средствами (см., например: [Бессонов, 2020]).

⁸ Он был открыт в 1900 г.



Совсем недавнее громкое событие связано с одной из наиболее популярных теорий сознания, которая была предложена в 2004 г. видным ученым в области нейробиологии Дж. Тонони, теорией интегрированной информации. В течение двадцати лет эта теория довольно успешно конкурировала с другими теориями сознания, особенно со сравнимой по популярности теорией глобального рабочего пространства. Однако осенью 2023 г. группа из 124 ведущих ученых (среди них такие известные исследователи феномена сознания, как П. Чёрчланд, Д. Деннет, К. Франкиш) из 150 организаций опубликовали письмо-заявление, в котором теория интегрированной информации, прежде всего ввиду, как там было подчеркнуто, экспериментальной несостоятельности, была отнесена к категории псевдонаучных «образований» [Fleming et al., 2023; Lenharo, 2024]. Понятно, что сторонники альтернативной теории (глобального рабочего пространства) восприняли это заключение в качестве аргумента в свою пользу. На мой взгляд, вопрос о статусе теории интегрированной информации все-таки открыт. Возможно, более точно ее можно было бы отнести к категории *bad science* («плохой» науке) или *border-line science* («пограничной», девиантной науке)⁹. Более точная идентификация может последовать с течением времени, когда могут быть разработаны более совершенные экспериментальные методы и развита сама теория в направлении привязки к определенным эмпирическим ситуациям.

Как сочиняются псевдонауки?

Когнитивные основания

Один из ведущих современных философов науки Я. Хакинг высказал мысль, которая в некотором смысле продолжала размышления И. Канта, о том, что имеет место *«сочинение людей»*: для нас реальность расцвечивается посредством введения новых категорий предметов (у Хакинга людей), мы начинаем видеть и анализировать ранее незамечаемые вещи после того, когда они получают соответствующее терминологическое обозначение и оказываются вписанными в некоторые категории [Hacking, 2006; Хакинг, 2024, с. 124–126; Marchionni et al., 2024, p. 13–14]. Эта концепция была названа Хакингом «динамическим номинализмом» [Хакинг, 2024, с. 135], поскольку отдельные предметы «возникают», попадают в поле зрения в результате наделения именами, хотя их статус с течением времени и в новых обстоятельствах может изменяться.

⁹ Подробнее см.: [Mukerji, Ernst, 2022, p. 7–9].



Думаю, что в определенной степени феномен псевдонауки может быть рассмотрен под углом зрения идеи Хакинга о «сочинении людей», преломленной по отношению к научному и околонаучному знанию. Мне эта мысль представляется очень важной для эпистемологического анализа генезиса псевдонаук. Если следовать духу этой идеи Хакинга, то «сочиняются» не только люди, но и феномены, относящиеся к науке и претендующие на научный статус. Это «сочинение» означает расширение панорамы реальности, доступной научному анализу¹⁰. Дело в том, что понятие псевдонауки было введено в оборот в самом начале XIX в., когда наука, вопреки сомнению Т. Гоббса в ее когнитивном потенциале, стала прочно связываться именно с изучением природы как таковой [Hansson, 2013, p. 66], когда получили распространение гомеопатия, спиритуализм, мистицизм, месмеризм и т.д., те представления, которые претендовали на альтернативное знание по отношению к традиционной науке, сосредоточенной на изучении природы и приверженной эксперименту. Примерно в то же самое время У. Хьюэл в связи с организацией в 1831 г. Британской ассоциации развития науки по отношению к членам этого сообщества стал использовать понятие «ученого (scientist)».

XIX столетие ознаменовалось крупнейшими открытиями в науке и мощным прорывом в технике и технологиях: в физике были открыты явления электромагнетизма, закон сохранения энергии; в химии – периодический закон; в биологии – эволюционная теория и основы микробиологии. Революционные открытия были сделаны в математике. В технике: изобретен паровоз и двигатель внутреннего сгорания, построены железные дороги, открыто метро, телеграфное сообщение и т.д. Эти открытия и технические разработки не только будоражили воображение, но и часто требовали для понимания их сущности определенных специальных знаний, которыми большинство населения не обладало. Таким образом возник барьер между немногочисленным сообществом ученых и основной массой населения Старого и Нового света. Общая грамотность сильно отставала от научной грамотности¹¹.

Появление и расцвет жанра фантастики (science fiction) в произведениях Ж. Верна («С Земли на Луну», «Двадцать тысяч лье под водой» и т.д.) и Г. Уэллса («Машина времени», «Война миров» и т.д.) будили интерес к достижениям науки и заключали в себе описание невиданных перспектив человечества в покорении природы,

¹⁰ Например, в медицине прогресс в исследовании причин болезней и методов их лечения отражается в Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). МКБ пересматривается примерно раз в 15–20 лет. В настоящее время осуществляется переход к МКБ–11.

¹¹ Впрочем, данный феномен не преодолен и в XXI в.



подводного царства и околоземного пространства. Реальные и впоследствии в том или ином виде сбывшиеся предсказания этих авторов были разбавлены описанием (часто с элементами юмора) явно псевдонаучных феноменов типа месмеризма, патентованных медицинских препаратов, кровопускания и электротерапии у М. Твена («Простак за границей», «Позолоченный век» и т.д.). Фантастика по существу не касалась сложных материй новых теорий и открытий. Такое положение вещей создавало впечатление, что *путь к новым открытиям*, к неизведанным глубинам природы и человека довольно *прост*, не требует основательной специализированной подготовки и приборного оснащения; важность представлений о воспроизводимости экспериментов еще не осознавалась, да и представления такого порядка фактически еще отсутствовали у самих ученых. Все это явилось хорошей питательной почвой для экспансии псевдонаучных идей, причем иногда их разделяли даже успешные ученые (например, выдающихся химик А.М. Бутлеров являлся сторонником и энергичным пропагандистом медиумизма и спиритуализма). Это говорит о том, что в общем случае научная грамотность и компетентность не являются действенным противоядием против приверженности псевдонаучным представлениям, они «ортогональны», а отношение между научными и псевдонаучными идеями спрятано под достаточно глубокими пластами когнитивных процессов и социальных взаимодействий. Даже довольно жесткий политический контекст советской эпохи брежневского правления, непримиримый на официальном уровне к социальным группам, склонным к иррациональным воззрениям, не смог полностью подавить проявления мистицизма в советском социуме [Иваненко, 2021]. В обыденном знании критический компонент находится где-то на периферии, тогда как в науке он занимает ключевые позиции и является решающим для ее прогресса.

Научное, околوناучное и ненаучное знание

Природа науки, критерии научности и разновидности вненаучного знания описаны в отечественной философской литературе очень глубоко (см., например: [Ильин, 2003, гл. 2–3; Касавин, 2020; Кезин, 1985; Кузнецова и др., 2012]). Поэтому для дальнейшего анализа стоит обозначить лишь наиболее важные, фундаментальные черты *научного* знания: объективность, воспроизводимость [Бажанов, 2022a], результативность, практическая полезность [Hansson, 2013, p. 66], наличие научного сообщества, получившего специальное образование и использующего особые средства коммуникации и диалога между учеными [Blancke, Boudry, 2021, p. 189], признающего представления об онтологии, эпистемологии и этических принципах



исследования *реальных* процессов и явлений, применение для этого развитого логико-математического аппарата, постоянное сопоставление теоретических выкладок и гипотез с предметом изучения, пересмотр и уточнение теоретических положений при несовпадении с открытыми фактами, испытание гипотез относительно их валидности, поиск и нахождение новых методов анализа фрагментов реальности, объективность научного знания, наличие механизмов коррекции и критической оценки, включая институциональные образования, достигнутых результатов, свертывание больших массивов информации и фактических данных и т.п. [Bunge, 2001, ch. 8; Boudry, 2018; Fernandez-Bennato, 2021, p. 1348]. Набор этих признаков представляет собой в большинстве случаев набор фактически необходимых, но, вообще говоря, недостаточных характеристик научного знания, претендующего на расширение сферы истинного знания. Главный, пожалуй, признак научного знания – это систематические, особым образом организованные и применяемые *методы* познавательной деятельности. При этом надо оговориться, что понятия научного и ненаучного знания не допускают однозначных определений; абсолютно четкие грани ввиду культурно-исторических трансформаций, влияющих на стиль мышления, между ними обозначить сложно¹². Так, теория эволюции Ламарка в течение некоторого исторического периода, казалось бы, вписывалась в набор указанных признаков, но дальнейшее развитие науки показало, что на самом деле это не так: она была признана ошибочной.

Околонаучное знание, которое также иногда называют «прото-наукой», т.е. наукой, лишь находящейся в становлении, девиантной или пограничной¹³, – это знание, которое со временем может быть признано как составная часть научного либо же по мере более тщательного и глубокого анализа его идей и предметной области отнесено в сферу псевдонауки [Мартишина, 2020]. Например, теория дрейфа материков А. Вегенера приобрела статус ведущей концепции в геологии, или идея хронобиологии А.Л. Чижевского также была признана в науке, а теория холодного термоядерного синтеза, с воодушевлением поначалу принятая некоторыми физиками (но далеко не всеми!) и «любителями физики», довольно быстро была вытолкнута в область псевдонауки. Можно рассуждать о «плохой» науке (bad science), в которой еще не устоялись основные понятия, не оформились должным образом методы исследования и экспериментальной

¹² В английском языке есть тонкие различия между понятиями “non-scientific” и “unscientific”, причем последнее понятие считается более узким по содержанию [Hansson, 2021], но эти нюансы для данного анализа не имеют значения.

¹³ Иногда к околонаучному знанию (border line science) относят альтернативную медицину [Shermer, 2013, p. 206].



проверки. Тем не менее со временем этого можно ожидать – имея в виду феномен *прото-* или *преднауки*.

Общепринятая классификация феноменов вненаучного знания отсутствует; можно обозначить лишь их наиболее крупные блоки – преднаука, девиантная наука, паранаука (предмет которой составляют якобы паранормальные явления типа ясновидения и телепатии), антинаука, лженаука [Степин, 2006, с. 376–380], теневая наука, которая продуцируется грубым нарушением этических норм исследовательского труда, скажем, в результате плагиата. Некоторые из этих понятий можно считать тождественными, например псевдонауку, лженауку, антинауку, претендующие на альтернативное описание некоторой реальности.

Науки дифференцируются по предметной области (биология, нейробиология, экономика и т.д.) и по используемым методам (математическая биология, квантовая механика и т.д.). Одна и та же область реальности может изучаться различными методами. Именно методы получения нового знания задают ключевые признаки и науки, и ненаучного знания.

Таким образом псевдонаука представляет собой некоторую «теорию», методологию или рекомендации, которые претендуют на научный статус, но только «внешне», не обладая признаками научного знания, и не удовлетворяют критериям научности (типа воспроизводимости, верификации, фальсификации – если обратиться к концептуальному наследию линии позитивизма) или, увы, не столь уж редкой практике подгонки результатов экспериментов для получения «нужных» показателей¹⁴. Некоторые исследователи феномена псевдонауки обращают внимание на то, что его сторонники стремятся *внушить* людям, что их концептуальные построения в действительности ничем не отличаются от научных в смысле надежности и проработанности деталей [Hansson, 2020, p. 44, 50], что ученые, которые их опровергают, являются узколобыми субъектами, которые напоминают коммунистов, подавляющих любые ростки инакомыслия, хотя на самом деле речь идет о том, что сторонники псевдонауки мыслят иррационально [Blancke, Boudry, 2021, p. 195, 184]. Однако эти попытки представляют собой, по меткому выражению А. Фасце, *микрию формы*, но не имеют отношения к сущности науки [Fasce, 2020, p. 12]. В этих попытках акцент делается на *внушении* по поводу нового открытия [Mukerji, Ernst, 2022, p. 394], а не его обоснования посредством поиска достаточных оснований для его утверждения

¹⁴ Такое случается даже в ведущих научных центрах. Так, сотрудники одной из самых известных онкологических больниц США, плотно сотрудничающей с Гарвардским университетом, в 2023–2024 гг. были вынуждены ретрагировать почти 60 своих опубликованных работ ввиду фабрикации результатов исследований [Mueller, 2024].



в сложных процессах рациональной аргументации и воспроизводимых экспериментальных процедур. При этом наблюдается заметная корреляция между теми, кто верит в псевдонаучные концепции, и теми группами людей, кто склонен к авторитаризму правого толка, вере в теории заговоров и популизму [Lobato et al., 2014, p. 619; Smallpage et al., 2023, p. 2].

При рассмотрении феномена псевдонауки в глаза бросается тот факт, что довольно редко предлагаются *псевдотехнологии*. Конечно, сразу же вспоминается евгеника, лозоискательство и так называемый «лысенкоизм», причем последний, несмотря на малую эффективность его предсказаний, связанных с существенным увеличением урожая сельскохозяйственной продукции, в течение четверти столетия лишь благодаря политическим подпоркам на уровне государственных структур сохранял статус науки. Немногочисленность примеров псевдотехнологий объясняется тем, что они довольно легко показывают свою несостоятельность на практике и относятся к *локальному прикладному знанию*¹⁵. Часто псевдотехнологии для своей конструкции подразумевают принципы, которые в реальности не работают. С псевдонаучными идеями дело обстоит значительно сложнее, поскольку они обычно касаются вопросов, которые не столь беспрепятственно проецируются в плоскость опытной проверки, и ввиду меньшей степени воспроизводимости результатов.

Вместо заключения: псевдонаука как *alter ego* науки

Возникают нетривиальные вопросы, касающиеся особенностей когнитивных процессов, – вопросы о том, по каким причинам псевдонаучные представления постоянно – включая повод, связанный с новейшими технологиями 5G, – появляются, покоряют множества людей и являются столь «жизнестойкими»? Например, почему несмотря на значительные усилия Всемирной организации здравоохранения, американского правительства, средств массовой информации и т.п. только 60% граждан США озаботились опасностью COVID-19, а 40% ее проигнорировали [Philipp-Muller et al., 2022, p. 1–2]? Почему в США примерно с 2015 г. развернулась кампания против массовой вакцинации, которая, в частности, привела к вспышке кори и других болезней, которые можно было бы предотвратить с помощью вакцинации [Hotez, 2021]? По каким причинам, несмотря на довольно очевидные проявления (таяние ледников, повышение уровня мирового океана, погодные катаклизмы), не вполне осознается

¹⁵ Подробнее см.: [Hansson, 2020, p. 691–692].



опасность, связанная с глобальным изменением климата в сторону повышения средней температуры планеты?

Прежде всего надо обратить внимание на тот факт, что наука представляет собой довольно хрупкое создание, целостность которого и самосогласованность представлений в котором могут быть иногда легко нарушены путем произвольных вариаций ее ключевых понятий и принципов. Искажение научных идей, связанное с помещением их в новые условия и для новых предметных областей, для которых они были не предусмотрены, способно трансформировать их в псевдонаучные.

Картины мира, предлагаемые наукой, часто не вполне соответствуют онтологиям, которые возникают у людей на интуитивном уровне и в непосредственном жизненном опыте. Неопределенность последствий, связанная с развитием науки, открывает широкие горизонты для фантазии, но не в духе постнормальной науки, а в духе произвольных концептуальных построений, вообще говоря, не требующих знания ее сложных оснований и апелляции к мнению научного сообщества и диалога с его критически настроенными представителями и компетентными институтами. Псевдонаука в каком-то смысле оказывается *alter ego* «традиционной» (как классической, так и неклассической) науки.

Просвещение безусловно способно сократить разрыв между грамотными в научном отношении и малограмотными слоями населения, но вера в чудесные превращения, которыми питается псевдонаука, глубоко заложена у людей на подсознательном уровне и поэтому вряд ли истребима. Образно выражаясь, псевдонаука – спутник человека и человечества. Когда псевдонаучные идеи высказываются известными личностями, мелькающими в средствах массовой информации и социальных сетях (политиками, артистами, спортсменами и т.п.), то они с готовностью воспринимаются тем контингентом, кто находится с ними в одной и той же «эхо-камере» или в «эхо-пузыре», и завоевывают все больший ареал по законам функционирования этих информационных образований [Бажанов, 2022б].

Псевдонауке суждена долгая жизнь, и поэтому она остается важным предметом эпистемологии и философии науки. Как некогда было замечено: «Псевдонаука в определенном смысле подобна нищете: понимание причин нищеты, разумеется, важно, но оно малополезно в плане ликвидации нищеты» [Lugg, 1987, p. 230]. Тем не менее понимание причин и оснований псевдонауки все-таки позволяет ослабить ее воздействие на умы людей и тем самым снижает остроту ее негативного социального и политического влияния.



Список литературы

Бажанов, 2022a – *Бажанов В.А.* Феномен воспроизводимости в фокусе эпистемологии и философии науки // Вопросы философии. 2022. № 5. С. 25–35.

Бажанов, 2022b – *Бажанов В.А.* Особенности познавательных механизмов в информационную эпоху: «эхо-пузыри» и «эхо-камеры» // Философский журнал. 2022. Т. 15. № 4. С. 152–164.

Бессонов, 2020 – *Бессонов А.В.* Еще раз о неверных истолкованиях второй теоремы Гёделя о неполноте // Сибирский философский журнал. 2020. Т. 18. № 3. С. 132–143.

Ведомости, 2013 – От редакции: Мистическая Россия // Ведомости. 01.11.2013.

Иваненко, 2021 – *Иваненко А.И.* Феномен позднесоветского мистицизма // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2021. Т. 21. № 6. С. 120–129.

Ильин, 1989 – *Ильин В.В.* Философия науки. М.: Изд-во Москов. ун-та. 2003. 360 с.

Касавин, 2020 – *Касавин И.Т.* Наука – гуманистический проект. М.: Весь Мир, 2020. 496 с.

Кезин, 1985 – *Кезин А.В.* Научность: эталоны, идеалы, критерии. М.: Изд-во Москов. ун-та, 1985. 128 с.

Кругляков, 2002 – *Кругляков Э.П.* «Ученые» с большой дороги. М.: Наука, 2002. 320 с.

Кузнецова и др., 2012 – *Кузнецова Н.И., Розов М.А., Шрейдер Ю.А.* Феномен исследования – наука. М.: Новый хронограф, 2012. 560 с.

Мартишина, 2020 – *Мартишина Н.И.* Феномен «между»: околонучное знание как переходный тип знания // Гуманитарные исследования. 2020. № 4 (29). С. 23–26.

Степин, 2006 – *Степин В.С.* Философия науки. Общие проблемы. М.: Гардарики, 2006. 383 с.

Тухватулина, 2023 – *Тухватулина Л.А.* Наука как объект веры и недоверия: феномен дениализма // Эпистемология и философия науки. 2023. № 1. С. 6–20.

Хакин, 2024 – *Хакин Я.* Историческая онтология / Пер. В.В. Целищев. М.: Канон+, 2024. 384 с.

References

Ballard, 2021 – Ballard, J. “Two in Five Americans Say Ghosts Exist”, *Yougov.com*, 2021 [https://today.yougov.com/entertainment/articles/38919-americans-say-ghosts-exist-seen-a-ghost?redirect_from=%2Ftopics%2Fentertainment%2Farticles-reports%2F2021%2F10%2F21%2Famericans-say-ghosts-exist-seen-a-ghost], accessed on: 28.02.2024]

Bazhanov, 2022a – Bazhanov, V.A. “Fenomen vosproizvodimosti v fokuse epistemologii i filosofii nauki” [Phenomenon of Reproducibility in the Focus of Epistemology and Philosophy of Science], *Voprosy filosofii*, 2022, no. 5, pp. 25–35. (In Russian)



Bazhanov, 2022b – Bazhanov, V.A. “Osobennosti poznavatel’nykh mekhanizmov v informatsionnuyu epokhu: ‘ekho-puzyri’ i ‘ekho-kamery’” [Features of cognitive mechanisms in the information age: “echo-bubbles” and “echo-chambers”], *Filosofskiy zhurnal*, 2022, vol. 15, no. 4, pp. 152–164. (In Russian)

Bessonov, A.V. “Yeshche raz o nevernykh istolkovaniyakh vtoroy teoremy Godelya o nepolnote [Once Again on Misinterpretations of Godel’s Second Incompleteness Theorem]”, *Sibirskiy filosofskiy zhurnal*, 2020, vol. 18, no. 3, pp. 132–143. (In Russian)

Blancke et al., 2022 – Blancke, S., Edis, T. et al., “Editorial: The Psychology of Pseudoscience”, *Frontiers in Psychology*, 2022, vol. 13, Article 935645.

Blancke, Boudry, 2021 – Blancke, S., Boudry, M. “Pseudoscience as a Negative Outcome of Scientific Dialogue: A Pragmatic-Naturalistic Approach to the Demarcation Problem”, *International Studies in the Philosophy of Science*, 2021, vol. 32, no. 3–4, pp. 183–198.

Boudry, 2018 – Boudry, M. “Plus Ultra: Why Science Does Not Have Limits?”, in: M. Boudry, M. Pigliucci (eds.) *Science Unlimited?: The Challenges of Scientism*. Chicago, IL: Chicago University Press, 2018, pp. 31–52.

Brandt, 2007 – Brandt, A. *The Cigarette Century: The Rise, Fall, and Deadly Persistence of the Product that Defined America*. New York: Basic books, 2009.

Dudley, 1983 – Dudley, U. “What to Do When the Trisector Comes”, *The Mathematical Intelligencer*, 1983, vol. 5, pp. 20–26.

Fasce, 2020 – Fasce, A. “Are Pseudoscience Like Seagulls? A Discriminant Metacriterion Facilitates the Solution of the Demarcation Problem”, *International Studies in the Philosophy of Science*, 2019, vol. 32, no. 3–4, pp. 155–175.

Fernandez-Bennato, 2021 – Fernandez-Bennato, D. “Feng Shui and the Demarcation Project”, *Science and Education*, 2021, vol. 30, pp. 1333–1351.

Fleming, Frith, Goodale et al., 2023 – Fleming, S., Frith, C.D., Goodale, M.A. et al. “The Integrated Theory of Consciousness as Pseudoscience”, Preprint at *PsyArXiv*. <https://doi.org/10.31234/osf.io/zsr78> (2023).

Fuhrer et al., 2021 – Fuhrer, J., Cova, F. et al. “Pseudoexpertise: A Conceptual and Theoretical Analysis”, *Frontiers in Psychology*, 2021, vol. 12, Article 732666.

Gordin, 2021 – Gordin, M.D. *On the Fringe. Where Science Meets Pseudoscience*. Oxford: Oxford University press, 2021.

Hacking, 2006 – Hacking, I. “Making up People”, *London Review of Books*, 2006, vol. 28, no. 16, August 17.

Hacking, I. *Istoricheskaya ontologiya* [Historical Ontology]. Moscow: Kanon+, 2024. (Trans. into Russian)

Hansson, 2013 – Hansson, S.O. “Defining Science and Pseudoscience”, in: M. Pigliucci, M. Boudry (eds.) *Philosophy of Pseudoscience*. Chicago: Chicago University Press, 2013, pp. 61–77.

Hansson, 2020 – Hansson, S.O. “Disciplines, Doctrines, and Deviant Science”, *International Studies in the Philosophy of Science*, 2020, vol. 33, No. 1, pp. 43–52.

Hansson, 2021 – Hansson, S.O. “Science and Pseudo-Science”, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2021. <https://plato.stanford.edu/entries/pseudo-science/>, accessed 16.03.2024.

Hotez, 2021 – Hotez, P.J. “Anti-science Kills: From Soviet Embrace of Pseudoscience to Accelerated Attacks on US Biomedicine”, *PLOS Biology*, 2021, vol. 19 (1), Article e3001068.



Ivanenko, A.I. “Fenomen pozdnesovetskogo mistitsizma [The Phenomenon of Late Soviet Mysticism]”, *Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal'nogo universiteta. Seriya gumanitarnyye i sotsial'nyye nauki* [Bulletin of the Northern (Arctic) Federal University. Series of Humanities and Social Sciences], 2021, vol. 21, no. 6, pp. 120–129. (In Russian)

Ilyin, V.V. *Filosofiya nauki* [Philosophy of Science]. Moscow: Izd-vo Moskov. un-ta, 2003. (In Russian)

Kasavin, I.T. *Nauka – gumanisticheskiy proyekt* [Science as Humanistic Sroject]. Moscow: Ves' Mir, 2020. (In Russian)

Kezin, A.V. *Nauchnost': etalony, idealy, kriterii* [Being Scientific: Standards, Ideals, Criteria]. Moscow: Izd-vo Moskov. un-ta, 1985. (In Russian)

Kruglyakov, E.P. “*Uchenyye*” s bol'shoy dorogi [“Scientists” From the Highway]. Moscow: Nauka, 2002. (In Russian)

Kuznetsova, N.I., Rozov, M.A., Shreyder, Yu.A. *Fenomen issledovaniya – nauka* [Phenomenon of Research – Science]. Moscow: Novyy khronograf, 2012. (In Russian)

Lakatos, 1977 – Lakatos, I. “Introduction: Science and Pseudoscience”, in: Lakatos, I.; J. Worrall; G. Currie (eds.) *The Methodology of Scientific Research Programmes. Philosophical Papers*. Vol. 1. Cambridge: Cambridge University press, 1977, pp. 1–7.

Laudan, 1983 – Laudan, L. “The Demise of the Demarcation Problem”, in: Laudan, L. *Beyond Positivism and Relativism: Theory, Method and Evidence*. Boulder (CO): Westview press, 1983, pp. 210–222.

Lenharo, 2024 – Lenharo, M. “Consciousness: The Future of Embattled Filed”, *Nature*, 2024, vol. 625, pp. 438–440.

Levy, 2019 – Levy, N. “Due to Deterrence to Denialism: Explaining Ordinary People’s Rejection of Established Scientific Findings”, *Synthese*, 2019, vol. 196, pp. 313–327.

List of philosophical problems. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_philosophical_problems, accessed on 28.02.2014.

List of pseudoscience. <https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudoscience>, accessed on 28.02.2014.

Lobato et al., 2014 – Lobato, E., Mendoza, J. et al. “Examining the Relationship Between Conspiracy Theories, Paranormal Beliefs, and Pseudoscience Acceptance Among a University Population”, *Applied Cognitive Psychology*, 2014, vol. 28, pp. 617–625.

Lugg, 1987 – Lugg, A. “Bunkum, Flim-Flam and Quackery: Pseudoscience as a Philosophical Problem”, *Dialectica*, 1987, vol. 41, no. 3, pp. 221–230.

Mach, 1970 – Mach, E. “The Guiding Principles of My Scientific Theory of Knowledge and Its Reception by My Contemporaries”, in: S. Toulmin (ed.) *Physical Reality: Philosophical Essays on Twentieth-Century Physics*. New York: Harper and Row, 1970, pp. 28–43.

Marchionni et al., 2024 – Marchionni, C., Zahle, J., Godman, M. “Reactivity in the Human Sciences”, *European Journal for Philosophy of Science*, 2024, vol. 14, article 8, pp. 1–24.

Martishina, 2020 – Martishina, N.I. “Fenomen ‘mezhdū’: okolonauchnoye znaniye kak perekhodnyy tip znaniya” [Phenomenon ‘between’: Near-Scientific Know-



ledge as a Transitional Type of Knowledge], *Gumanitarnyye issledovaniya* [Humanities Studies], 2020, no. 4 (29), pp. 23–26. (In Russian)

Matthew, 2019 – Matthew, M.R. *Feng Shui: Teaching about Science and Pseudoscience*. Dordrecht: Springer, 2019.

Mukerji, Ernst, 2022 – Mukerji, N., Ernst, E. “Why Homeopathy Is Pseudoscience?”, *Synthese*, 2022, vol. 200, Article 394.

Mueller, 2024 – Mueller, B. “Top Cancer Center Seeks to Retract or Correct Dozens of Studies”, *New York Times*, 2024. January 22. <https://www.nytimes.com/2024/01/22/health/dana-farber-cancer-studies-retractions.html>, accessed on 28.02.2024.

Nanda, 2003 – Nanda, M. *Prophets Facing Backward. Postmodern Critique of Science and Hindu Nationalism in India*. Rutgers University Press, 2003.

Philipp-Muller et al., 2022 – Philipp-Muller, A., Lee, S.W., Petty, R.E. “Why Are People Antiscience, And What Can We Do About It?”, *PNAS*, 2022, vol. 119, No. 30, Article e2120755119.

Pigliucci, 2013 – Pigliucci, M. “The Demarcation Problem. A(Belated) Response”, in: M. Pigliucci, M. Boudry (eds.) *Philosophy of Pseudoscience*. Chicago University press, 2013, pp. 9–28.

Pigliucci, 2018 – Pigliucci, M. *Nonsense on Stilts*. 2nd edition. Chicago: Ill., Chicago University press, 2018.

Rosenhouse, 2001 – Rosenhouse, J. “How Anti-evolutionists Abuse Mathematics”, *The Mathematical Intelligencer*, 2001, vol. 23, pp. 3–8.

Sewell, 2000 – Sewell, G. “A Mathematician’s View of Evolution”, *The Mathematical Intelligencer*, 2000, vol. 22, pp. 5–7.

Shermer, 2013 – Shermer, M. “Science and Pseudoscience. The Difference in Practice and the Difference It Makes”, in: M. Pigliucci, M. Boudry (eds.) *Philosophy of Pseudoscience*. Chicago: Chicago University press, 2013, pp. 203–223.

Smallpage et al., 2023 – Smallpage, S.M., Askew, R.L. et al. “Conspiracy Thinking and the Long Historical Shadow of Romanticism on Authoritarian Politics”, *Frontiers in Psychology*, 2023, vol. 14. DOI: 10.3389/fpsyg.2023.1185699.

Steward, 2007 – Steward, G.M. *Kaupapa Maori Science*. A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Education. The University of Waikato, 2007.

Styopin, 2006 – Styopin, V.S. *Filosofia nauki. Obschie problemy* [Philosophy of Science. General Problems]. Moscow: Gardariki, 2006.

Tukhvatulina, 2023 – Tukhvatulina, L.A. “Nauka kak ob’ekt very i nedoveriya: fenomen denializma” [Science as an Object of Faith and Distrust: The Phenomenon of Denialism], *Epistemology & Philosophy of Science*, 2023, no. 1, pp. 6–20. (In Russian)

Varga, 2021 – Varga, S. “Medicine as Science. Systematicity and Demarcation”, *Synthese*, 2021, vol. 199, pp. 3783–3804.

Vedomosti, 2013 – “Ot redaktsii: Misticheskaya Rossiya” [From the Editorial Board: Mystical Russia], *Vedomosti*. 01.11.2013. (In Russian)

ПРЯМОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КРИПКЕ*

Борисов Евгений

Васильевич – доктор философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник. Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук. Российская Федерация, 634055, г. Томск, пр. Академический, 10/4. Национальный исследовательский Томский государственный университет.
Российская Федерация, 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 36;
e-mail: borisov.evgeny@gmail.com



В статье предложено прямое решение проблемы скептицизма относительно значения, поставленной в работе Крипке «Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке». Данное решение основано на «умеренном» решении проблемы, предложенном Ладовым. Решение Ладова состоит в демонстрации того факта, что тотальный скептицизм невозможен как теоретическая позиция, поскольку не может быть выражен без перформативного противоречия. Из этого следует, что как теоретическая позиция возможен только ограниченный скептицизм. В статье показано, что ограниченный скептицизм совместим с тезисом о существовании знания значений, если мы понимаем знание значений не как результат интерпретации речевого поведения, а как составную часть речевого акта.

Ключевые слова: значение, интерпретация, скептицизм относительно значения, Крипке, интроспекция, прямое решение проблемы Крипке

A STRAIGHT SOLUTION TO KRIPKE'S PROBLEM

Evgeny V. Borisov –

DSc in Philosophy, Associate Professor, Leading Researcher. Tomsk Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Science.
10/4 Akademicheskoy Ave., Tomsk 634055, Russian Federation.
National Research Tomsk State University.

The paper suggests a straight solution to the problem of meaning skepticism presented in Kripke's *Wittgenstein on Rules and Private Language*. The solution is based on Ladov's moderate solution to the problem. Ladov's solution is to the effect that the total skepticism cannot be a theory because it cannot be stated without performative contradiction. This entails that only a limited skepticism is possible as a theory. I argue that the limited skepticism is compatible with the view that meaning can be known provided the knowledge of meaning is construed as an internal part of a speech act, not as a result of interpretation of behavioral facts.

Keywords: meaning, interpretation, meaning skepticism, Kripke, introspection, the straight solution to Kripke's problem

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00019, <https://rscf.ru/project/23-18-00019/>



36 Lenina Ave, Tomsk 634050,
Russian Federation;
e-mail: borisov.evgeny@
gmail.com

Введение

Данная статья посвящена проблеме скептицизма относительно значения, эксплицированной в знаменитой работе С. Крипке «Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке» [Kripke, 1982; Крипке, 2010]. Я попытаюсь обосновывать версию прямого решения проблемы, которая усиливает предложенное В.А. Ладовым [Ладов, 2023] «умеренное» решение. В первой части статьи я определяю две формы скептицизма относительно значения – ограниченный и тотальный; во второй части я показываю, что решение Ладова вместе с ограниченным скептицизмом позволяет предложить прямое решение проблемы.

1. Две формы скептицизма относительно значения

Допустим, я употребляю термины «сложение», «складывать», «плюс», «сумма», «суммировать» и т.п., а также знак «+» стандартным образом, т.е. так же, как это делает большинство носителей русского языка, и что я правильно решаю примеры на сложение натуральных чисел. Естественно предположить, что я использую слово «сложение» для обозначения сложения¹. Скептик Крипке ставит эту естественную гипотезу под сомнение, выдвигая альтернативную гипотезу, согласно которой я в прошлом всегда использовал слово «сложение» для обозначения другой бинарной операции на множестве натуральных чисел. Допустим, во всех парах чисел, которые я суммировал в прошлом, оба числа меньше 57. Тогда можно предположить, что я использую слово «сложение» для обозначения бинарной операции на множестве натуральных чисел, которую Крипке называет «квожением» (quaddition) и обозначает знаком $\oplus$, который предлагает произносить как «квус» (quus). Квожение определяется следующим образом: $x \oplus y = x + y$, если $x, y < 57$; $x \oplus y = 5$ в остальных случаях [Kripke, 1982, p. 9]. Это диковинное предположение мотивировано следующим образом: поскольку до сих пор я складывал только

¹ Здесь и далее для простоты сложение понимается как операция на множестве натуральных чисел.



числа, не превышающие 56, для каждой пары таких чисел сумма и «квумма» совпадают, но это значит, что все случаи, когда я применял операцию, которую называл «сложение», совместимы с двумя гипотезами: что под «сложением» я подразумеваю сложение и что под «сложением» я подразумеваю квожение. Конечно, одну из этих гипотез можно отбросить, если дать мне новый пример, в котором использовать как минимум одно число, которое не меньше 57. Например, если при применении той операции, которую я называю «сложение», к 68 и 57, я дам ответ 125, станет ясно, что под «сложением» я не имел в виду квожение. Но важно, что этот новый факт (вместе со всеми старыми) не покажет, что под «сложением» я имел в виду именно сложение: разумеется, легко сочинить еще одну бинарную операцию, отличную от сложения, но совместимую со всеми релевантными фактами, включая тот факт, что я утверждаю, что $68+57=125$. Что под «сложением» я в прошлом подразумевал сложение – это не более, чем одна из бесконечного множества возможных интерпретаций моего речевого поведения. Релевантных фактов всегда недостаточно для окончательного доказательства какой-либо интерпретации, т.е. для исключения всех альтернативных интерпретаций². Обобщая этот случай, мы получаем тезис ограниченного скептицизма: *фактов речевого поведения агента в прошлом недостаточно для выявления значения, которым агент наделял в прошлом слово «сложение»*³.

Ограниченный скептицизм сам по себе не интересен, поскольку он представляет собой частный случай тезиса, который едва ли кто-то станет оспаривать: тезиса о недоопределенности эмпирических теорий фактами [Quine, 1968]. Любая эмпирическая теория представляет собой интерпретацию некоторого множества эмпирических фактов, однако любое множество эмпирических фактов допускает бесконечное разнообразие интерпретаций; эти интерпретации могут различаться по прагматическим характеристикам, однако ни одна из них не исключает остальные *a priori*. Это значит, что ни одна эмпирическая теория не может считаться окончательно доказанной. Интерпретация речи агента, т.е. ответ на вопрос, что он подразумевает под тем или иным выражением, – это эмпирическая теория, поскольку

² В этом рассуждении скептик Крипке в качестве релевантных фактов рассматривает только ответы, которые я давал (в прошлом) при вычислении того, что я называл суммой. Конечно, существуют релевантные факты иного рода: к ним относятся, например, мои речевые акты, в которых я давал этой операции определение или объяснял технику вычисления результата и т.п. Факты этого вида рассматриваются ниже.

³ По мнению Крипке, эта позиция высказана в параграфе 201 «Философских исследований» Витгенштейна [Витгенштейн, 1994, с. 163]. Вопрос о том, насколько обоснована эта интерпретация Витгенштейна, в данной статье не обсуждается.



она основана на наблюдении за речевым поведением агента. Значит, такого рода интерпретация всегда допускает альтернативы; приведенное выше рассуждение скептика Крипке представляет собой иллюстрацию этого тезиса.

Однако Крипке использует ограниченный скептицизм только как отправную точку для экспликации тотального скептицизма, который представляет собой серьезную философскую проблему, поскольку ставит под сомнение само существование речи. В книге Крипке аргументация скептика была развернута в два этапа: на первом этапе скептик обосновал ограниченный скептицизм; на втором он обобщил его до тотального скептицизма. Ограниченный скептицизм был развернут только применительно к значению слова «сложение» в моем словоупотреблении в прошлом. Мы понимаем аргументацию скептика, а некоторые из нас (в том числе я) находят ее убедительной. Необходимым условием понимания аргументации является понимание языка, на котором она изложена. На первом этапе нашей дискуссии со скептиком, говорит Крипке, мы говорим на одном языке, т.е. наделяем слова одними и теми же значениями; это относится, в частности, и к слову «сложение»: мы и скептик понимаем его (во время разговора) в смысле сложения. Пока скептик ставит под сомнение только одно: что я в прошлом (до разговора) понимал под «сложением» сложение [Kripke, 1982, p. 12]. Но на втором этапе скептик отбрасывает все условия, ограничивающие его скептицизм, т.е. распространяет его на все языковые выражения (не только «сложение»), все времена (не только прошлое) и всех агентов. В результате он получает тезис тотального скептицизма: *для любого агента, любого выражения и любого речевого акта не существует фактов, которые позволяли бы однозначно установить значение, которым данный агент наделяет данное выражение в данном речевом акте*. Основание для перехода к тотальному скептицизму очевидно: особенности моего употребления слова «сложение» в прошлом не использовались в обосновании ограниченного скептицизма, поэтому последний может быть распространен на всех агентов, все выражения и времена.

Нетрудно видеть, что тотальный скептицизм имеет катастрофическое следствие: мы – агенты речи – никогда не можем быть уверены относительно значений, которыми мы наделяем свои слова. Это значит, что мы не можем с уверенностью интерпретировать речь других, собственную речь в прошлом и даже собственную речь в настоящем. Но знание значений собственных слов (как минимум в настоящем) является существенной характеристикой любого речевого акта. Таким образом, тотальный скептицизм ставит под вопрос само существование речи. По классификации Крипке, для этой проблемы возможны два решения – прямое и скептическое [Ibid., p. 66]. Прямое решение состоит в опровержении скептической аргументации; скептическое – в демонстрации того факта, что тотальный скепти-



цизм совместим с существованием речи. Сам Крипке предложил определенную версию скептического решения; затем в литературе был предложен широкий спектр иных версий⁴. Ладов предлагает решение проблемы, которое он называет умеренным и которое не сводится ни к прямому, ни к скептическому [Ладов, 2023, с. 315–317]. На мой взгляд, это решение интересно тем, что может быть усилено до прямого решения⁵. В следующей части статьи я попытаюсь обосновать этот тезис.

2. Прямое решение

Итак, тотальный скептицизм ставит под вопрос само существование речи. Однако высказывания скептика на страницах работы Крипке представляют собой речевой акт, что порождает перформативное противоречие, подобное перформативному противоречию, содержащемуся в высказываниях типа «я не говорю по-русски», «я произношу не более семи слов в одной реплике» и т.п. Указание на это противоречие составляет суть предложенного Ладовым умеренного решения проблемы. Аргумент Ладова подобен аргументу из «Движения» Пушкина: «Движенья нет, сказал мудрец брадатый. // Другой смолчал и стал пред ним ходить». Отличие от пушкинской дискуссии состоит только в том, что, как показывает Ладов, брадатый скептик возражает себе сам, поскольку отрицает движение во время утренней пробежки. Показав, что тотальный скептицизм невозможно высказать без перформативного противоречия, Ладов, однако, не пытается доказать противоположный тезис – тезис о возможности знания значений (поэтому он называет свое решение умеренным).

На мой взгляд, умеренное решение Ладова можно усилить следующим образом. Мы (люди) либо говорим, либо нет. Если мы не говорим (даже если производим звуки и секвенции букв), то дискуссия не может быть продолжена, потому что она еще не началась. Если же мы говорим, то давайте обратим внимание на тот факт, что речевой акт отличается от производства звуков или букв тем, что агент 1) наделяет свои слова значениями, 2) достоверно знает, какими значениями он наделяет свои слова. Таким образом, если речевые акты существуют, то существует и знание значений агентами речи. Здесь важно подчеркнуть, что это знание не является результатом интерпретации (собственного или чужого) речевого поведения, т.е. результатом

⁴ Детальный анализ решения Крипке дан в монографии Суровцева и Ладова [Суровцев, Ладов, 2008]; обстоятельный обзор представленных в литературе решений дан в монографии Ладова [Ладов, 2023].

⁵ Предварительная версия этого решения была представлена в [Борисов, 2010].



интерпретации фактов. Этот тезис нейтрализует аргумент скептика Крипке: скептик исходит из посылки, что знание агентом значений его слов базируется на определенной интерпретации его речевого поведения, но эта посылка неверна.

Знание агентом значений, которыми он наделяет свои слова, можно рассматривать как разновидность интроспекции, но важно учитывать, что эта интроспекция не является источником эмпирических фактов, подобно наблюдению за собственными переживаниями или воспоминаниям о своих прошлых переживаниях. Здесь будет уместно различить два вида интроспекции: обозначим их «интроспекция₁» и «интроспекция₂». Интроспекция₁ – это источник эмпирических данных о собственном сознании; интроспекция₂ – это знание о значениях как составная часть речевого акта. Интроспекцию₂ не следует понимать в том смысле, что агент наблюдает свой собственный акт наделения слов значениями: в этом случае интроспекция₂ была бы разновидностью интроспекции₁. Интроспекция₂ не является результатом наблюдения за какими-либо действиями агента; при этом она является неотъемлемой частью этого акта. Интроспекция₁, как и любой источник эмпирических данных, не дает достоверного знания; именно на этом основании скептик Крипке отвергает апелляции к ней [Kripke, 1982, p. 14]. Но интроспекция₂ не является источником эмпирических данных, поэтому против нее скептическая аргументация (во всяком случае, аргументация скептика Крипке) не действует.

Итак, допущение непосредственного и достоверного знания агентом значений, которыми он наделяет собственные слова, соответствует интуитивному пониманию речи и устойчиво к скептической аргументации (как минимум к аргументации скептика Крипке). Поэтому это допущение может представлять собой прямое решение скептической проблемы. Резюмируем его в следующих четырех тезисах:

(1) Допустим, агент осуществил речевой акт, в котором использовал некоторое выражение *e* в некотором значении *m*. Назовем факты речевого поведения агента в прошлом, а также факты речевого поведения других членов языкового сообщества, к которому принадлежит агент, внешними (по отношению к данному речевому акту). Скептик Крипке прав в том, что знание каких бы то ни было внешних фактов не обеспечивает достоверность тезиса, что под *e* агент подразумевал именно *m*. Пример «плюс vs вкус» показывает, что возможны альтернативные интерпретации данного речевого акта, совместимые с любым множеством внешних фактов.

(2) Вопреки скептику Крипке, из этого не следует, что достоверное знание агентом тех значений, которыми он наделяет свои слова, невозможно. Факт существования речи свидетельствует, что такое знание имеет место; при этом тезис (1) показывает, что это знание



не является эмпирической теорией, т.е. не базируется на интерпретации внешних фактов.

(3) Скептик Крипке, опять же, прав в том, что интерпретация речи других и своей речи в прошлом всегда сомнительна, поскольку представляет собой эмпирическую теорию. Это вполне убедительно показано в ряде теорий естественного языка, таких как теория радикального перевода Куайна [Quine, 1960], теория радикальной интерпретации Дэвидсона [Davidson, 2001] и др.

(4) Однако знание агента о том, что он подразумевает под своими словами, достоверно, поскольку не является эмпирической теорией, а значит, не базируется на интерпретации каких бы то ни было внешних фактов, в том числе воспоминаний агента о своем речевом поведении в прошлом. Это обстоятельство нейтрализует аргумент скептика Крипке.

Покажем, как предложенное решение позволяет ответить на вопросы, которые ставит скептик Крипке. В начале своего рассуждения скептик ставит два вопроса применительно к дилемме «плюс vs вкус»: 1) Существует ли факт, показывающий, что в прошлом я подразумевал под «сложением» сложение? 2) Обоснован ли мой ответ «125» в примере «68+57»? [Kripke, 1982, p. 11]. Если предложенное выше решение проблемы верно, то ответ на первый вопрос таков: факта, показывающего, что в прошлом агент под «сложением» подразумевал сложение, не существует, однако из этого не следует, что агент не знает, какими значениями он наделяет свои слова. Это позволяет дать следующий ответ на второй вопрос скептика Крипке: *Мое утверждение «68+57=125» вполне обосновано тем значением, которое я придаю знаку «+» и которое мне известно*. Назовем этот тезис тезисом прямого решения (применительно к значению «сложения»). Стандартное значение «сложения» – это бинарная операция на множестве натуральных чисел. Эта операция может быть определена по-разному. Рассмотрим в качестве примера следующее рекурсивное определение. Пусть дано множество натуральных чисел, содержащее 0 и построенное посредством функции «следующее за» (будем обозначать число, следующее за x , как x'); тогда для любых натуральных чисел x и y мы имеем $x+0=x$ и $x+y'=(x+y)'$. Эти два равенства определяют результат применения операции сложения к любой паре чисел, поэтому они образуют определение этой операции⁶. В частности, из этого определения следует, что $68+57=125$, что позволяет дать следующий ответ на второй вопрос скептика Крипке: если я понимаю «сложение» в смысле данного рекурсивного определения, то мой ответ «125» обоснован значением «сложения» в моей речи.

⁶ Полное определение сложения на множестве натуральных чисел включает также аксиоматическое определение равенства и функции «следующее за» [Mendelson, 2010, p. 149–150].



Рекурсивное определение сложения и релевантные арифметические теоремы допускают многообразные применения в полемике со скептиком Крипке. Например, Теннант ставит коррелятивный вопрос «из чего следует, что $68+57 \neq 5$?» и отвечает на него следующим образом: 1) Используя построение множества натуральных чисел и рекурсивное определение сложения, мы доказываем теорему, что для любого натурального числа n существует $n+1$ пар чисел, сумма которых равна n . 2) Применяя эту теорему к 5, мы получаем, что существует шесть пар чисел, дающих в сумме 5. 3) Мы убеждаемся, что следующие шесть пар чисел имеют указанное свойство: (0, 5), (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1), (5, 0). 4) Из этого следует, что для любой другой пары чисел (x, y) , $x+y \neq 5$; в частности, это относится к паре (68, 57) [Tennant, 1997, p. 110–112]. Все такого рода аргументы сводятся к использованию теорем той или иной арифметической теории при условии, что агент использует термин «сложение», как он определяется в данной теории⁷. Кроме того, подобные аргументы (аргументы в пользу равенства « $68+57=125$ » и неравенства « $68+57 \neq 5$ ») могут базироваться на неформальных определениях сложения, которые мы используем в повседневной жизни: на определении через систему правил сложения в столбик или через технику подсчета элементов той или иной совокупности объектов и т.п.

Конечно, у скептика Крипке есть ответ на такие аргументы. Он отвечает на них стандартным для него (и для скептицизма вообще) образом: ставя под сомнение определенность терминов, используемых в определениях сложения [Kripke, 1982, p. 15–17]. В частности, в данном выше рекурсивном определении сложения использовались предикат равенства, универсальный квантор и функция «следующее за»: каждое из этих понятий может получить нестандартную интерпретацию. В частности, скептик Крипке предлагает нестандартную интерпретацию равенства и универсального квантора [Ibid., p. 12–13 (fn. 12)], которые позволяют доказывать нестандартные теоремы вроде « $68+57=5$ » и « $68+57 \neq 125$ ». Ладов дополняет этот ответ скептика Крипке, предлагая также нестандартную интерпретацию функции «следующее за» [Ладов, 2023, с. 313], что открывает возможности для нестандартных интерпретаций числового ряда. Однако эти ответы предполагают расширение скептицизма: чтобы отстоять нестандартную интерпретацию слова «сложение», скептику придется подвергать нестандартной интерпретации слова «равенство», «всеобщность», «следующее за» и т.п. Следующий виток дискуссии нетрудно предугадать: чтобы отстоять нестандартную интерпретацию упомянутых слов, скептику придется дать нестандартную интерпретацию для еще более широкого фрагмента языка – и т.д. Конечно, все нестандартные интерпретации такого рода могут быть

⁷ Подобный взгляд высказывает, например, Пикок [Peakocke, 1992, p. 137–141].



совместимы со всем массивом данных о речевом поведении агентов. Однако процесс расширения скепсиса ведет к тотальному скептицизму, который, как показывает Ладов, не допускает внятного выражения, а значит, должен где-то остановиться. Но это значит, что на каком-то этапе дискуссии мы принимаем знание значений как данность, не сводимую к интерпретации речевого поведения; тем самым мы принимаем прямое решение проблемы скептицизма.

Заключение

Обоснованность ограниченного скептицизма относительно значения не вызывает сомнений, поскольку сводится к хорошо известному тезису о недоопределенности эмпирических теорий фактами. Ограниченный скептицизм применим к любому выражению в речи любого агента, и тем не менее, как показывает Ладов, ограниченный скептицизм не допускает обобщения до тотального скептицизма. Это значит, что в определенных пределах мы – агенты речи – имеем достоверное знание о значениях, которыми наделяем собственные слова. В сочетании с ограниченным скептицизмом этот результат показывает, что достоверное знание значений является не результатом интерпретации речевого поведения агента, а составной частью речевого акта. В этом состоит предложенное прямое решение проблемы скептицизма относительно значения.

Список литературы

Борисов, 2010 – *Борисов Е.В.* Проблема Крипке и ее прямое решение // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2010. № 4 (12). С. 5–14.

Витгенштейн, 1994 – *Витгенштейн Л.* Философские исследования // *Витгенштейн Л.* Философские работы. Часть I / Сост., вступит. ст., примеч. М.С. Козловой. М.: Гнозис, 1994. С. 75–319.

Крипке, 2010 – *Крипке С.* Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке / Пер. В.А. Ладова и В.А. Суровцева под общ. ред. В.А. Суровцева. М.: Канон+, 2010. 151 с.

Ладов, 2023 – *Ладов В.А.* Иллюзия значения. Проблема следования правилу в аналитической философии. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023. 336 с.

Суровцев, Ладов, 2008 – *Суровцев В.А., Ладов В.А.* Витгенштейн и Крипке: следование правилу, скептический аргумент и точка зрения сообщества. Томск: ТГУ, 2008. 134 с.



References

Borisov, 2010 – Borisov E.V. “Problema Kripke i ejo prjamoje reshenije” [Kripke’s Problem and its Straight Solution]. *Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo universiteta. Filosofija. Sotsiologija. Politologija* [Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology, and Political Science], 2010, no. 4 (12), p. 5–14. (In Russian).

Davidson, 2001 – Davidson, D. *Inquiries into Truth and Interpretation*. Oxford: Clarendon Press, 2001.

Kripke, 1982 – Kripke, S. *Wittgenstein on Rules and Private Language. An Elementary Exposition*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982.

Kripke, 2010 – Kripke, S. *Vitgenshtein o pravilakh i individual’nom jazyke* [Wittgenstein on Rules and Private Language], trans. by V.A. Ladov and V.A. Surovtsev. Moscow: Kanon+, 2010, pp. 206–254. (Trans. into Russian)

Ladov, 2023 – Ladov, V.A. *Illyuziya znacheniya: Problema sledovaniya pravilu v analiticheskoy filosofii* [The Illusion of Meaning: The Rule-Following Problem in Analytic Philosophy]. Moscow: Kanon+, 2023. (In Russian)

Mendelson, 2010 – Mendelson, E. *Introduction to Mathematical Logic*. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, Taylor & Francis Group, 2010.

Peacocke, 1992 – Peacocke, C. *A Study of Concepts*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1992.

Quine, 1960 – Quine, W.V.O. *World and Object*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1964.

Quine, 1968 – Quine, W.V.O. “Ontological Relativity”, *The Journal of Philosophy*, 1968, vol. LXV, no. 7, pp. 185–212.

Surovtsev, Ladov, 2008 – Surovtsev, V.A., Ladov, V.A. *Vitgenshtein i Kripke: sledovaniye pravilu, skepticheskij argument i tochka zreniya soobshchestva* [Wittgenstein and Kripke: Rule Following, Skeptical Argument, and the Point of View of Community]. Tomsk: Tomsk State University, 2008. (In Russian)

Tennant, 1997 – Tennant N. *The Taming of the Truth*. Oxford: Clarendon Press, 1997.

Wittgenstein, 1994 – Wittgenstein L. *Filosofskije issledovaniya* [Philosophical Investigations], in: Wittgenstein L. *Filosofskije raboty* [Philosophical Works]. Chast’ I (Part I). Moscow: Gnosis, 1994, pp. 75–319. (Trans. into Russian)

ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ ПРЯМОГО РЕШЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРЯМОЙ ДОСТУП К СОЗНАНИЮ

Целищев Виталий

Валентинович – доктор философских наук, профессор, научный руководитель. Институт философии и права Сибирское отделение РАН. Российская Федерация, 630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 8; e-mail: leitval@gmail.com

В статье показано, что прямое решение Борисовым проблемы скептицизма относительно значения с использованием особого вида интроспекции связано с предположением о прямом доступе агента к собственному сознанию. Такое предположение имеет два осложняющих следствия: аналогия с парадоксом Мура и платонистскую концепцию значения. Показано также, что прямой доступ к значению как способ прямого решения Борисовым скептического парадокса существенно использует перформативность речевого акта, сужая сферу анализа исходной проблемы. Отмечена малоисследованная проблема различения при анализе скептического парадокса содержательной и формализованной математики.

Ключевые слова: значение, интроспекция, скептицизм относительно значения, Крипке, прямое решение проблемы Крипке, прямой доступ, платонизм, речевой акт

OBSTACLES TO A DIRECT SOLUTION THROUGH A DIRECT ACCESS TO CONSCIOUSNESS

Vitaly V. Tselishchev – DSc in Philosophy, Professor, Scientific Supervisor. Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. 8 Nikolaeva St., Novosibirsk 630090, Russian Federation; e-mail: leitval@gmail.com

The article shows that Borisov's direct solution to the problem of skepticism about meaning using a special type of introspection is associated with the assumption of the agent's direct access to their own consciousness. This assumption has two complicating consequences: the analogy with Moore's paradox and the Platonic concept of meaning. It is also shown that direct access to meaning as a way of Borisov's direct solution of the skeptical paradox significantly uses the performativity of the speech act, narrowing the scope of analysis of the original problem. The little-studied problem of distinction in the analysis of the skeptical paradox of meaningful and formalized mathematics is noted.

Keywords: meaning, introspection, skepticism about meaning, Kripke, direct solution to the Kripke problem, direct access, platonism, speech act

В статье Е.В. Борисова «Прямое решение проблемы Крипке» [Борисов, 2024] представлено его собственное решение одной из наиболее обсуждаемых в современной философии языка проблем, поставленной более двух десятков лет назад. Условное разделение предложенных различными философами решений на «прямое» и «скептическое» Борисов дополняет своей версией прямого решения, оговаривая при этом, что она усиливает версию решения, которое предложил В.А. Ладов [Ладов, 2023], назвавший его «умеренным». Это решение, состоящее в избегании как прямого, так и скептического решения,



Ладов называет новым (так звучит название главы 5 упомянутой выше книги).

В сходной манере, точка зрения Борисова, согласно которой «ограниченный скептицизм совместим с тезисом о существовании знания значений» [Борисов, 2024, с. 23], не очень четко ассоциируется с принадлежностью к какой-либо версии дихотомии. Его исходный тезис состоит в том, что знание значений понимается не как результат интерпретации речевого поведения, а как составная часть речевого акта. Важная роль перформативности в аргументации Борисова, как он сам полагает, является связующим звеном с аргументацией Ладова, поскольку Ладов якобы усматривает перформативное противоречие в скептическом аргументе и избегает его в своем умеренном решении. Я не усмотрел такой связи, но в любом случае решение Борисова представляет самостоятельный интерес.

Важнейшим обстоятельством, с точки зрения Борисова, является перформативный характер коммуникации, в ходе которого агент 1) наделяет свои слова значениями и 2) достоверно знает, какими значениями он наделяет свои слова. Он делает даже более сильное утверждение, говоря, что «если речевые акты существуют, то существует и знание значений агентами речи». Оба утверждения не являются очевидными и явно требуют ответа на вопрос, откуда известно, что агент достоверно знает, какими значениями он наделяет слова. Похоже, что речь идет о прямом доступе агента к своему сознанию. Действительно, Борисов полагает, что «этот тезис нейтрализует аргумент скептика Крипке: скептик исходит из посылки, что знание агентом значений его слов базируется на определенной интерпретации его речевого поведения, но эта посылка неверна». Борисов отвергает интерпретацию и обращается к понятию интроспекции, полагая ее источником или инструментом прямого доступа. Фактически решение Борисова состоит в обосновании особого вида интроспекции, связанного с перформативностью речевого акта.

Он различает интроспекцию₁, которая есть источник эмпирических данных о собственном сознании, и интроспекцию₂, представляющую знание о значениях как составной части речевого акта. Интроспекция₁ отмечается из соображений, высказанных самим Крипке, будучи источником эмпирических данных, которые не дают достоверного знания. А вот интроспекция₂ имеет дело со значениями и не с эмпирическими вещами, и по этой причине она остается тем, с чем имеет дело агент. Само по себе обстоятельство, по которому остается интроспекция₂ только в силу того, что она не имеет дела с эмпирическими вещами, является откровенно недостаточным мотивом для ее выделения в особую категорию, поскольку такая характеристика основывается на отрицании. Требуется нечто большее. Действительно, для объявления о существовании специального вида интроспекции (интроспекции₂) нужны резоны, которые Борисов



сводит к четырем пунктам, которые должны служить обоснованию решения Борисова. Оно сводится «допущению непосредственного и достоверного знания агентом значений, которыми он наделяет собственные слова, что соответствует интуитивному пониманию речи и устойчиво к скептической аргументации (как минимум к аргументации скептика Крипке)».

Из четырех пунктов наибольший интерес вызывает пункт 2); остальные имеют дело с повторением аргументации, что прямой доступ к значениям не должен иметь дело с эмпирическими процедурами (скажем, «сканирование» собственного мозга или сознания». Часть пункта 2) выглядит следующим образом:

Вопреки скептику Крипке... не следует, что достоверное знание агентом тех значений, которыми он наделяет свои слова, невозможно. Факт существования речи свидетельствует, что такое знание имеет место [Борисов, 2024, с. 27].

Здесь возникает несколько вопросов. Прежде всего, постулирование доступа к значению в своей голове фактически означает сверхпрямое решение, потому что тогда нет никакого скептического парадокса. В некотором смысле это то, что называется – *begging questions* (считать спорный вопрос уже решенным при постановке вопроса). То есть такое постулирование вряд ли оправданно. Правда, при расплывчатом понимании прямого доступа здесь возможны дискуссии. Поэтому опять-таки требуется большее объяснение, которое бы исключало подозрение в *begging questions* характере аргументации о прямом доступе. Похоже, Борисов это понимает и приступает к вопросу о прямом доступе несколько с иной стороны.

Скептический парадокс имеет дело с «равноправием» альтернатив в понимании значения или же при идентификации правила, которому агент следует. Последний не может обосновать, что применялось именно то, а не другое (альтернативное) правило. Борисов полагает, что прямой доступ к значению предполагает, что для такого доступа должно иметься обоснование. Какого же рода подразумевается обоснование для разбираемого нами случая? Если речь идет об интроспекции₂, то, при всей скудости наделения ее Борисовым какими-то характеристиками, речь может идти о вере: сам парадокс подразумевает, что вера агента в следование правилу X оставляет в его сознании такие же следы, как в следовании правилу Y. Но обоснование не может основываться на вере, поскольку для него требуются доказательства и аргументация. На это возражение, можно ожидать, Борисов отделается скухими характеристиками специфика речевого акта. Так,

...высказывания скептика на страницах работы Крипке представляя собой речевой акт, что порождает перформативное противоречие,



подобное перформативному противоречию, содержащемуся в высказываниях типа «я не говорю по-русски», «я произношу не более семи слов в одной реплике» и т.п. [Борисов, 2024, с. 27].

Является ли такое противоречие на самом деле значимым, оказывается важным вопросом, рассмотрение которого устанавливает связь между собственно речевым актом и эпистемическим парадоксом Дж. Мура [Shoemaker, 1996]. Парадокс имеет дело со странной на первый взгляд ситуацией, когда агент произносит «А, но я не верю, что А». То есть агент утверждает А и в то же время не верит в А. Парадоксальность ситуации состоит в том, что речевой акт А в успешной коммуникации, скажем, декларативное утверждение рационального говорящего, влечет, что он обязан верить в это утверждение. Хотя имеется множество работ, в которых показывается противоречивость подобной ситуации, есть и интересная аргументация, суть которой в сомнениях в том, так уж противоречиво иметь утверждать Х и не верить в Х? Если суждение Х есть результат прямого доступа к сознанию агента, реализуемого в речевой практике присвоения значения, тогда сомнение (неверие) в этом значении можно уподобить предпочтению суждения Y. Поскольку парадокс Мура имеет много решений, судьба решения скептического парадокса зависит от другого парадокса – не самый лучший способ решения одного парадокса, наткнувшись на другой. Любопытным в этом отношении является то, что оба парадокса – скептический и парадокс Мура – были в центре внимания Витгенштейна (первый фактически принадлежит ему, а второй вызывал у Витгенштейна интерес на протяжении довольно долгого времени).

В применении парадокса Мура к вопросу о прямом доступе к значению это означает следующее: я уверен в том, что знаю значение произнесенного мною, но не верю в него. Это можно расценивать как источник скептицизма по поводу моего «настоящего значения», которое ускользнуло от меня, и на самом деле я могу считать, что есть альтернатива. Важно отметить, что здесь главным «действующим лицом» является речевой акт. Если парадокс Мура разрешим и само парадоксальное утверждение будет признано противоречивым, тогда прямой доступ в стиле интроспекции² и в самом деле может дать, при отсутствии других возражений, нам знание значения. Но отметим, что предположение и рациональности агента обязывает нас признать его способность к познанию и изменению (!) своего сознания. Так, Ричард Моран [Moran, 2001] полагает, что сама возможность парадоксального утверждения Мура, наверняка противоречивого, говорит больше об агентах как способных к большим степеням свободы, чем это предполагается коммуникацией, ориентированной на факты. В частности, речь идет о том, что способность к подобному речевому акту является следствием нашего статуса агентов (хотя



только в ряде определенных случаев), которые способны познавать (и изменять) свое собственное сознание. При таком толковании парадокса Мура прямой доступ к значению является в ряде случаев проблематичным, если этот доступ аргументируется в контексте речевых актов.

Наконец, есть еще важный аспект в обсуждении этого прямого доступа к значению. С одной стороны, речевой акт есть средство коммуникации, и как таковое оно должно быть манифестировано внешними параметрами (поведенческими, невербальными и пр.) [Dummett, 1993]. В этом смысле, даже допуская неэмпирический характер присваивания зрения, природа значения определяется чем-то внешним. С другой стороны, интроспекция₂ намекает нам о том, что значение является чем-то вроде платонистской сущности: мало того, что оно определяется неэмпирической процедурой, так оно еще и отыскивается как что-то уже существующее (где?). Учитывая весь груз отягощающих обстоятельств, платонистское обоснование интроспекции₂ вкупе с выдвижением на первый план перформативности речевого акта может оказаться слишком большой ценой для «прямого решения» Борисова.

На этом этапе аргументация Борисова о роли прямого доступа в пользу «прямого решения» практически заканчивается. Он считает, что прямой доступ к сознанию через интроспекцию₂ дает ему то самое значение, которое является проблематичным для Крипке. В самом деле:

Мое утверждение « $68+57=125$ » вполне обосновано тем значением, которое я придаю знаку «+» и которое мне известно. Назовем этот тезис тезисом прямого решения (применительно к значению «сложения») [Борисов, 2024, с. 29].

Это насквозь позитивное утверждение, но еще не опровержение скептического решения. Среди рассмотренных Ладовым в своей книге вариантов опровержения скептического решения Борисов выбирает критику Н. Теннантом скептического решения Крипке [Tennant, 1997]. Теннант никак не использует какого-либо понятия прямого доступа к сознанию и берет значение арифметических терминов как вполне постижимое и неproblemатичное. Его задача состоит в том, чтобы показать, что появление скептических альтернатив «плюс/квус» приводит к абсурду. Изменение плюса на квус Теннант называет «нагибанием» (bending) первого термина, очевидно имея в виду явно искусственный и вынуждающий характер этой эпистемической (лингвистической) операции. Главное возражение Теннанта состоит в том, что такое нагибание не может ограничиться только одним термином и должно распространиться на остальные части всей системы (формальной или с использованием обыденного языка). Такая тотальная ревизия имеет цепной характер и может



продолжаться сколь угодно далеко, что приводит к эпистемическому абсурду.

Борисов обращает внимание на другую важную часть аргументации Теннанта, а именно на то, что «нагибание» стандартных терминов (а в дальнейшем и очередных результатов арифметического новояза) ведет к противоречию со стандартной практикой применения арифметики. Сам Теннант рассматривает противоречия, возникающие, например, при подсчете предметов в куче или в соблюдении законов арифметики, такими как ассоциативность, и в частности вхождения универсального квантора в эти законы. Ладов рассматривает в своей книге последний пример, а Борисов рассматривает еще один, более интересный случай, где Теннант показывает важность ограничений конституирующей значения связи (*meaning-constituting link*) в процедуре переинтерпретаций арифметических терминов (или их «нагибания»). Природа этой конституирующей значения связи очень важна. Она заключается в том, что переинтерпретация входит в противоречие с «базисными» значениями терминов в случае их применений в приложении. Другими словами, значения арифметических терминов формируются не в абстрактной области речевых актов, а в практических областях как содержательных, так и формальных теорий.

Борисов считает, что ограничения в «нагибании» есть результат возможности разных определений арифметических операций, например определения операции сложения рекурсивным способом. Это позволяет ему еще раз подчеркнуть перформативный характер оценки арифметических истин, соотносящихся с «его» значениями терминов:

...если я понимаю «сложение» в смысле данного рекурсивного определения, то мой ответ (на вопрос, почему имеет место $68+57=125$. – В.Ц.) обоснован значением «сложения» в моей речи [Борисов, 2024, с. 29].

Наличие множества определений и есть ответ Крипке, с упором на то, что это «моя речь» или «моя теория».

Все такого рода аргументы сводятся к использованию теорем той или иной арифметической теории при условии, что агент использует термин «сложение», как он определяется в данной теории [Там же, с. 30].

И тут возникает вопрос: аргумент говорит о «моей речи» или «использовании теории»? Борисова не заботит это явное противоречие в прочтении им Теннанта, поскольку он утверждает, что скептик Крипке довольно просто парирует эту аргументацию путем обращения к понятию «нестандартной интерпретации» терминов. (Эту позицию занимает также и Ладов.) Тогда единственным возражением против скептического решения остается следующее:



Конечно, все нестандартные интерпретации такого рода могут быть совместимы со всем массивом данных о речевом поведении агентов. Однако процесс расширения скепсиса ведет к тотальному скептицизму, который, как показывает Ладов, не допускает внятного выражения, а значит, должен где-то остановиться [Борисов, 2024, с. 30].

Упущение Борисовым главного в аргументации Теннанта состоит в том, что он не принимает во внимание «конституирующей значения связи» в приложениях арифметики, которые отмечены выше. Вы можете принять любое «нестандартное» значение термина, но оно войдет в противоречие с применениями. Дело, конечно, не в возможности разных определений, но для Борисова это уже неважно, поскольку у него имеется «его» значение, добытое не в приложениях, а путем интроспекции. Кстати, в этом отношении непонятно, зачем он приводит довольно детальный пример из книги Теннанта, раз он оставляет его без всякой связи с остальными вопросами. В общем-то, тонкости возражений Теннанта и не нужны Борисову в его стратегии прямого решения. В самом деле, фактически Борисов реализует диагноз Патнэма, который описан Ладовым. «Когда Х. Патнэм обсуждает скептический тезис Крипке, он отдает себе отчет, что существуют два возможных способа решения проблемы. Либо мы соглашаемся, что аргументация скептика неопровержима, либо мы должны принять точку зрения платонизма и утверждать возможность непосредственного схватывания значения в качестве некой универсальной сущности» [Ладов, 2023, с. 291]. Интроспекция₂ обеспечивает нам платонизм. Очень жаль, что Борисов не сказал отчетливо о своем платонизме под прикрытием этой самой интроспекции₂.

Также, к сожалению, в оригинальном решении Борисовым скептического парадокса не нашлось места для очень важного обстоятельства, отмеченного опять же Патнэмом. Речь идет о «неправомерном смешении специфического формального языка математики и естественного языка. Те сложности, с которыми можно столкнуться при исследовании естественного языка, можно обойти стороной в области математики, если допустить, что математический язык функционирует совершенно особым образом, отличным от обыденного употребления языковых выражений» [Putnam, 1996, р. 263–264]. Важность такого различия определяется тем, что истоки парадокса кроются в витгенштейновской философии математики. Для нее характерны использование математических концепций и примеров, которые намеренно просты и элементарны. При такой простоте примеров удастся скрыть огромную проблему целой серии изменений значений (переинтерпретаций) других терминов логики и математики. Замечание Патнэма важно, потому что даже в самой проблеме следования важно различать следование



формальным правилам и следование правилам, сформулированным в естественном языке, в духе команд языковых игр. Так, Хинтика отмечает, что:

Подлинной трудностью для Витгенштейна было точное понимание того, как формальные игры соотносятся с приложениями. Как могут чисто формальные упражнения направлять их собственные применения? Это обобщение проблемы следования правилу, где встает вопрос, как может символическое выражение направлять действия согласно этому выражению... В конце концов, формальное выражение правила есть «мертвый» физический или геометрический объект, который подлежит интерпретации до того, как стать для меня направляющим. Каков критерий того, что такая интерпретация будет правильной [Хинтика, 2013, с. 61–62].

Вопрос о том, в какой степени аргументы Крипке являются воспроизведением исходной аргументации Витгенштейна, широко обсуждается в литературе; крайностью является утверждение, что нам нужно говорить не о Витгенштейне и не о Крипке, а о некоей фигуре Крипкенштейна. Скептическое решение, которое Крипке приписывает Витгенштейну, ведет к радикальным заключениям, и, конечно же, представляет интерес, в какой степени Крипке готов считать это заключение подлинным парадоксом. Но сам Крипке по этому поводу был очень уклончив. В этом отношении очень характерно признание Крипке в интервью Эрролу Моррису.

МОРРИС: Не ведет ли прием плюс/квус, если вы принимаете позицию Витгенштейна, к бессмыслице?

КРИПКЕ: Да. Я думаю, что вполне правдоподобно рассматривать эту ситуацию, я бы сказал, с осторожностью... Я говорю в предисловии к [*Wittgenstein on Rules*], что не утверждаю, что этот взгляд является истинным, и отстаиваю свою позицию как юрист. Но я выражаю там своего рода сложные чувства сомнений и опасений [Моррис, 2023, с. 156].

Если принять во внимание точку зрения Патнэма, тогда нужно было бы при изложении скептического аргумента избегать арифметики, в первую очередь потому, что сам Витгенштейн, на которого так ли иначе ссылается Крипке, имел фундаментальные затруднения как раз с формальными правилами. Хинтика говорит по этому поводу вполне уверенно следующее:

Пример, приведенный Крипке, «обеспечивается правилами элементарной арифметики, чье использование в приложениях опосредуется языковой игрой в счет. Эта конкретная связь между формальными операциями и их конкретной значимостью была, конечно, известна Витгенштейну. Несмотря на то, что Витгенштейн активно искал такие способы выявления конкретного прагматического значения



в различных случаях, он не преуспел в случае других правил, не говоря уже о формальных играх, только важных для него, таких как формальное доказательство теорем в логике и математике» [Хинтиikka, 2023, с. 64].

Но это означает, что использование арифметического примера в контексте формальных математических теорий в некотором смысле «отменяет» скептический парадокс. И тогда «прямое решение» Борисова, опирающееся на прямой доступ к значению в арифметическом контексте, подвергает его в ситуацию, которую не сумел разрешить и сам Витгенштейн, а сам Крипке (или Крипкенштейн) занял уклончивую позицию.

Борисов занял отнюдь не уклончивую позицию, говоря о прямом решении при прямом доступе к значению. И в этом, пожалуй, заключается значимость его подхода, поскольку в нем Борисов по-настоящему оправдывает расплывчатое название «прямое решение».

Список литературы

Борисов, 2024 – Борисов Е.В. Прямое решение проблемы Крипке // Эпистемология и философия науки. 2024. Т. 61. № 2. С. 23–32.

Ладов, 2023 – Ладов В.А. Иллюзия значения. Проблема следования правилу в аналитической философии. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023. 336 с.

Моррис, 2023 – Моррис Э. Пепельница / Пер. В.В. Целищева. М.: Канон+, 2023. 272 с.

Хинтиikka, 2013 – Хинтиikka Я. О Витгенштейне / Пер. В.В. Целищева под ред. В.А. Суровцева. М.: Канон-плюс, 2013. 271 с.

References

Borisov, 2024 – Borisov, E.V. “Pryamoe reshenie problemy Kripke” [A Straight Solution to Kripke’s problem]. *Epistemology and Philosophy of Science*, 2024, vol. 61, no. 2, pp. 23–32. (In Russian)

Ladov, 2023 – Ladov, V.A. *Ilyuziya znacheniya: Problema sledovaniya pravilu v analiticheskoy filosofii* [The Illusion of Meaning: The Rule-Following Problem in Analytic Philosophy]. Moscow: Kanon+, 2023. (In Russian)

Morris, 2023 – Morris, E. *Pepel’nica* [The Ashtray], trans. by V.V. Tselishchev. Moscow: Kanon+, 2023. (Trans. into Russian)

Hintikka, 2013 – Hintikka, J. *O Vitgenshtejne* [On Wittgenstein], trans. by V.V. Tselishchev. Moscow: Kanon+, 2013. (Trans. into Russian)

Dummett, 1993 – Dummett, M. *The Seas of Language*. Oxford: Oxford University Press, 1993.



Moran, 2001 – Moran, R. *Authority & Estrangement: An Essay on Self-knowledge*. Princeton: Princeton University Press, 2001.

Putnam, 1996 – Putnam, H. “On Wittgenstein’s Philosophy of Mathematics”, *Proceedings of Aristotelian Society*, 1996, Supp. Vol. 70, pp. 263–264.

Shoemaker, 1996 – Shoemaker, S. “Moore’s Paradox and Self-Knowledge”, *The First-Person Perspective and Other Essays*. New York: Cambridge University Press, 1996, pp. 74–96.

Tennant, 1997 – Tennant, N. *The Taming of True*. Oxford: Clarendon Press, 1997.

ЗНАЧЕНИЕ: РЕАЛИЗМ VS СКЕПТИЦИЗМ*

Ладов Всеволод

Адо́льфович – доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник. Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук. Российская Федерация, 634055, г. Томск, пр. Академический, 10/4. Национальный исследовательский Томский государственный университет. Российская Федерация, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36; e-mail: ladov@yandex.ru

В статье обсуждается прямое решение проблемы Крипке, предложенное Борисовым [Борисов, 2024]. Фиксируется актуальность рассматриваемой проблемы для современной философии языка и эпистемологии. Анализируются спорные аспекты в исследовании Борисова. Основной вопрос является следующим: какое решение проблемы Крипке можно было бы считать прямым? Утверждается, что решение Борисова не достигает уровня прямого решения, хотя и представляет собой существенный шаг в данном направлении. Обосновывается методологическая важность тезиса Борисова о том, что знание значения не есть интерпретация фактов речевого поведения.

Ключевые слова: Витгенштейн, Крипке, Борисов, значение, реализм, скептицизм, семантика, эпистемология

MEANING: REALISM VS SKEPTICISM

Vsevolod A. Ladov –

DSc in Philosophy, Professor, Leading Research Fellow. Tomsk Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Science. 10/4 Akademicheskoy Ave., Tomsk 634055, Russian Federation. National Research Tomsk State University. 36 Lenina Ave, Tomsk 634050, Russian Federation; e-mail: ladov@yandex.ru

A straight solution to Kripke's problem proposed by Borisov is discussed in the article. The significance of the problem for modern philosophy of language and epistemology is established. Controversial aspects in Borisov's study are analyzed. The main question is following. What solution to Kripke's problem would be considered straight? It is argued that Borisov's solution does not reach the level of a straight solution although it represents a significant step in this direction. The methodological importance of Borisov's thesis that knowledge of meaning is not an interpretation of the facts of speech behavior is substantiated.

Keywords: Wittgenstein, Kripke, Borisov, meaning, realism, skepticism, semantics, epistemology

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00019, <https://rscf.ru/project/23-18-00019/>



Актуальность темы дискуссии

В своей статье Е.В. Борисов [Борисов, 2024] обращается к актуальной теме не только для современной философии языка, но и для эпистемологии в целом. Поскольку в традиции аналитической философии лингвистический опыт трактуется как наиболее фундаментальный, определяющий всю познавательную деятельность, постольку классический кантовский вопрос эпистемологии «Что я могу знать?» трансформируется здесь в вопрос о значении языкового выражения: «Что я могу знать о значении?» Тех философов, кто отстаивает позицию существования стабильных, четко фиксируемых значений языковых выражений, называют «семантическими реалистами» или «эпистемологическими реалистами». Мыслители, отрицающие существование стабильных значений языковых выражений, представляют позицию семантического (эпистемологического) скептицизма.

Одной из самых известных и радикальных скептических концепций внутри традиции аналитической философии была концепция позднего Л. Витгенштейна. Витгенштейн ставит под сомнение существование устойчивых значений языковых выражений. С его точки зрения, значение всегда вписано в контекст употребления слов в конкретных лингвистических практиках, значение и есть употребление, а не определяет наперед употребление как нечто стабильно данное: «...мы имели искушение думать, что можно вывести правило для употребления слова из его значения, которое мы предположительно схватываем как целое, когда произносим слово. Это ошибка, которую я бы вырвал с корнем» [Wittgenstein's Lectures, 1979, p. 51]. С. Крипке назвал витгенштейновский скепсис о значении самой радикальной скептической проблемой в истории философии: «Витгенштейн изобрел новую форму скептицизма. Лично я склонен рассматривать ее как наиболее радикальную и оригинальную скептическую проблему, с которой сталкивалась философия, проблему, которую смог бы сформулировать только очень необычный по складу ум» [Крипке, 2005, с. 60].

Из-за доминирования в поздней аналитической философии последователей Витгенштейна, наиболее влиятельным из которых оказался как раз Крипке, семантический (эпистемологический) скептицизм получил очень широкое распространение. На этом фоне исследования, в которых предпринимается попытка противостоять скептицизму Витгенштейна – Крипке, выглядят особенно актуально, поскольку их авторы стремятся вернуть в аналитическую философию реалистские позиции в семантике и эпистемологии, характерные для раннего этапа развития аналитической традиции, но утратившие свое влияние позднее. Представленное в статье Борисова исследование является именно таковым.



Уточнение

Моя реплика в данной дискуссии будет особенной в том смысле, что Борисов в своей статье сам во многом реагирует на мои исследования, которые тоже были выдержаны в духе семантического реализма. Поэтому я должен уточнить, по крайней мере, один момент, в котором, как мне представляется, Борисов не вполне правильно интерпретировал мои идеи.

Решение скептической проблемы Крипке, которое я в своей книге «Иллюзия значения» [Ладов, 2023а] назвал «умеренным», не сводится лишь к тому, что Борисов назвал «перформативным противоречием». По мнению Борисова: «Показав, что тотальный скептицизм невозможно высказать без перформативного противоречия, Ладов, однако, не пытается доказать противоположный тезис – тезис о возможности знания значений (поэтому он называет свое решение умеренным)» [Борисов, 2024, с. 27]. На самом деле предложенное мной решение скептической проблемы состояло из двух фрагментов. Первый из них – это, действительно, демонстрация противоречивости скептицизма, и Борисов излагает этот фрагмент моего решения вполне корректно. Но был и второй фрагмент, когда в опоре на метод математической индукции я все же попытался обосновать возможность знания значения знака «+», а именно, что под этим знаком мы, в противовес скептику, можем подразумевать вполне четкое значение [Ладов, 2023а, с. 310–312]. Несмотря ни на какие экстравагантные скептические примеры с функцией «квус», приводимые Крипке, мы способны, утверждал я, пользоваться знаком «+» именно в значении сложения, не рискуя незаметно подменить на каком-либо шаге употребления данного знака его значение на квожение. Таким образом, я назвал свое решение скептической проблемы Крипке «умеренным» все же не потому, что кроме указания на перформативное противоречие в позиции скептика я не представил никакого тезиса о возможности знания значения, как это интерпретировал Борисов, а по иной причине. По какой именно? Об этом я скажу ниже.

Спорные аспекты в статье Борисова

Я рискну предположить, что для участников настоящей дискуссии наиболее спорными аспектами в статье Борисова окажутся следующие два. Сразу хочу сказать, что по первому аспекту я Борисова поддерживаю, а по второму оставляю вопрос открытым. Но давайте по порядку.



1) Борисов приводит рассуждение по форме *modus ponens*. Если мы говорим, то мы знаем значения используемых в речи языковых выражений. Мы говорим. Следовательно, мы знаем значения. Но предпосылка, что мы говорим, на основании которой и выстраивается рассуждение, не выглядит, как может показаться, надежной. Данное рассуждение Борисова сходно с рассуждением Фреге в контексте его критики психологизма [Фреге, 1997, с. 37]. Если существует наука, то есть объективное знание, несводимое к психическим переживаниям субъекта. Но поздний Витгенштейн, например, мог бы усомниться, что наука как свод объективных истин существует. Есть лишь иллюзия существования науки. Витгенштейн говорит так даже о математике. Это становится видным в его ответе фон Вригту на лекциях в Кембридже, когда фон Вригт заявляет, что в математике мы имеем дело с тем, что называем необходимостью, на что Витгенштейн парирует, подчеркивая: «Да, ответ таков: “Это есть то, что мы *называем* необходимостью...”» [Wittgenstein’s Lectures, 1976, p. 241]. Витгенштейн здесь подразумевает, что то, что мы называем необходимостью, таковой на самом деле не является. И все же я думаю, что Борисов прав. Мы говорим. Это можно обосновать посредством того, что Борисов называет перформативным противоречием, и того, что я в других своих работах называл аргументом, основанным на явлении самореферентности [Ладов, 2017; Ladov, 2019; Ладов, 2023b]. Если допустить, что мы не говорим, то мы говорим, что мы не говорим. Это противоречиво. В своем отрицании мы сами же опираемся на то, что отрицаем.

2) А вот второй важный аспект статьи Борисова представляется мне уже более сомнительным. Я не рискнул называть свое решение проблемы Крипке прямым, несмотря на то, что и в моем умеренном решении, как я сказал выше, не просто скептическая позиция приводится к противоречию, но и обосновывается тезис о том, что мы способны отдавать себе отчет о значении знака «+». По сути, то же утверждает и Борисов, когда говорит, что мы знаем значения. Почему тогда Борисов представляет свой результат как доработку моего исследования? Почему он называет свое решение прямым? Борисов утверждает, что «...процесс расширения скепсиса ведет к тотальному скептицизму, который, как показывает Ладов, не допускает внятного выражения, а значит, должен где-то остановиться» [Борисов, 2024, с. 31]. Любая скептическая проблема, любой скептический тезис сам может быть построен только на некотором позитивном основании. Например, на допущении, что мы в принципе говорим, или на допущении однозначности построения натурального ряда, как в случае со скепсисом Крипке. Я действительно старался это показать. Но, по моему мнению, это лишь косвенная логическая аргументация в защиту семантического реализма. Эта аргументация



показывает только то, что противоположная точка зрения тотального семантического скептицизма несостоятельна, не реализуема как внятная теоретическая позиция. Но это еще не прямое решение скептической проблемы о значении. Прямым, на мой взгляд, было бы такое решение, которое бы обосновывало правоту семантического реализма без ссылки на нереализуемость противоположного. Семантический реализм должен показать, за счет каких познавательных ресурсов и как именно осуществляется процесс познания стабильных, нерелятивизируемых значений языковых выражений. Здесь Борисов делает очень важный методологический шаг. Он обращает внимание на то, что для обоснования знания значений необходима, по сути, радикальная смена концептуальной оптики, переход к иной эпистемологической парадигме. Борисов утверждает, что знание значений не есть интерпретация эмпирических фактов речевого поведения. Причем под интерпретацией речевого поведения может подразумеваться не только интерсубъективный уровень, где возникают проблемы адекватности перевода, как это было, например, у Куайна [Quine, 1960], но и более радикальный субъективный уровень, когда сам агент речи не может задать однозначную интерпретацию фактов своего собственного речевого поведения, исходя из прошлого опыта. Этот максимально радикальный вариант скептической проблемы как раз и представлен у Крипке. Так вот Борисов говорит, что знание значений вообще не следует искать где-то здесь, в этой области. На мой взгляд, это совершенно верный и необходимый тезис для семантического реализма. Но этот тезис все равно недостаточен для прямого решения скептической проблемы. Семантический реалист должен показать, как именно в рамках иной эпистемологической парадигмы можно прописать процесс схватывания стабильных значений. Этого не сделал я в своей работе «Иллюзия значения», но этого ведь не делает и Борисов. И я, опираясь на метод математической индукции, и Борисов, задавая операцию сложения через рекурсивную функцию, в конце концов, признаем, что даже в этих случаях, когда мы, казалось бы, все понимаем строго определенно, скептицизм все равно может быть продолжен далее относительно значения слов «равенство», «всеобщность», «следующее за», относительно однозначности построения натурального ряда и т.д. После этого свою позицию семантических реалистов мы укрепляем снова только лишь косвенной логической аргументацией, указывая на то, что тотальный скептицизм не реализуем, противоречив и что каким-то образом и реалист, и скептик в основе своих взглядов опираются на предпосылку о знании значений. Борисов утверждает, «...что на каком-то этапе дискуссии мы принимаем знание значений как данность, не сводимую к интерпретации речевого поведения; тем самым мы принимаем прямое решение проблемы скептицизма» [Борисов, 2024, с. 31]. Но дело в том, что прямое решение нужно



не просто принять, сначала его нужно выработать, артикулировать. Как происходит схватывание значений? Как осуществляется эта эпистемическая процедура? Если это не эмпирический процесс интерпретации фактов речевого поведения, то что это за опыт? И можно ли вообще познание значений назвать опытом? Как именно решается проблема доступа (the access problem) к объективным значениям, независимым от субъекта? Борисов не отвечает на эти вопросы, как и я. Почему же тогда мое решение скептической проблемы Крипке является лишь умеренным, а решение Борисова прямым? Здесь либо я слишком поскромничал, либо Борисов ведет себя слишком нескромно.

Теоретическая значимость исследования Борисова

Несмотря на то, что вопрос о прямом решении скептической проблемы Крипке, на мой взгляд, так и остается открытым, я бы хотел подчеркнуть несомненную важность тезиса Борисова о том, что знание значения не предполагает интерпретации фактов речевого поведения. Этот тезис важен в силу следующих обстоятельств.

Во-первых, он показывает, что Крипке ищет значения вообще не там, где они могут быть. Весь скепсис о значениях работает вхолостую. Мы сначала утверждаем, что знать значение – это правильно интерпретировать факты речевого поведения (речевые акты собеседника или свои собственные речевые акты в прошлом), демонстрируем, что никакая полностью определенная интерпретация здесь невозможна, и заключаем отсюда, что нет никаких значений. Максимум, что мы можем сказать о значении, – это то, что значение есть употребление, которое релятивизируется от одной конкретной речевой практики к другой (собственно, в этом весь поздний Витгенштейн, на котором основывается Крипке, и состоит). Но дело в том, что, как правильно утверждает Борисов, изначальная предпосылка, на которой выстраивается все это скептическое рассуждение, неверна. Знание значений не есть знание о фактах.

Во-вторых, тезис Борисова показывает, сколь глубоко укоренена традиция аналитической философии в эмпирицистской эпистемологии, характерной для англо-американской философской мысли в целом. Мы можем сказать это, по крайней мере, о тех аналитических философах, кто развивал антиреалистские (скептические, релятивистские) идеи. Ни Куйн, ни Гудмен [Goodman, 1978], ни Дэвидсон [Davidson, 2001], ни поздний Витгенштейн, ни Крипке не отдают себе отчета в том, насколько их исследования в области философии языка зависимы от более общей эпистемологической установки, трактующей результат познавательного про-



цесса в целом либо как знание о фактах чувственного восприятия, либо как знание о фактах психической жизни, данных в интроспекции. Именно исходя из этой общей эпистемологической установки осуществляется и исследование языка, само понимание языка. Язык трактуется как элемент естественной истории развития людей как психофизических существ. Язык натурализируется. На это указывает, например, один из наиболее известных представителей семантического реализма в современной аналитической философии Д. Катц [Katz, 1990; Katz, 2000]. Мне думается, что и тезис Борисова может быть направлен в том числе на фиксацию иной методологии исследования семантики языка: для того чтобы научиться говорить о значениях, в первую очередь придется изменить саму эпистемологическую парадигму, в рамках которой, по преимуществу, привыкла работать англо-американская философия.

Список литературы

- Борисов, 2024 – Борисов Е.В. Прямое решение проблемы Крипке // Эпистемология и философия науки. 2024. Т. 61. № 2. С. 23–32.
- Крипке, 2005 – Крипке С. Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке. Томск: Изд. Том. ун-та, 2005. 152 с.
- Ладов, 2017 – Ладов В.А. Решение логических парадоксов в семантически замкнутом языке // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 52. № 2. С. 104–119.
- Ладов, 2023а – Ладов В.А. Иллюзия значения: Проблема следования правилу в аналитической философии. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023. 336 с.
- Ладов, 2023б – Ладов В.А. О парадоксах: ответ оппонентам // Эпистемология и философия науки. 2023. Т. 60. № 3. С. 68–76.
- Фреге, 1997 – Фреге Г. Логические исследования. Томск: Водолей, 1997. 127 с.

References

- Borisov, 2024 – Borisov, E.V. “Pryamoe reshenie problemy Kripke” [A Straight Solution to Kripke’s problem], *Epistemology & Philosophy of Science*, 2024, vol. 61, no. 2, pp. 23–32. (In Russian)
- Davidson, 2001 – Davidson, D. *Inquiries into Truth and Interpretation*. Oxford: Clarendon Press, 2001.
- Frege, 1997 – Frege, G. *Logicheskie issledovaniya* [Logical Investigations], trans. by V.A. Surovtsev. Tomsk: Vodoley, 1997. (Trans. into Russian)
- Goodman, 1978 – Goodman, N. *Ways of Worldmaking*, Indianapolis: Hackett, 1978.
- Katz, 1990 – Katz, J. *The Metaphysics of Meaning*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1990.



Katz, 2000 – Katz, J. *Realistic Rationalism*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000.

Kripke, 2005 – Kripke, S. *Vitgenshtein o pravilakh i individual'nom jazyke* [Wittgenstein on Rules and Private Language], trans. by V.A. Ladov and V.A. Surov-tsev. Tomsk: Tomsk University Press, 2005. (Trans. into Russian)

Ladov, 2017 – Ladov, V.A. “Reshenie logicheskikh paradoksov v semanticheski zamknutom yazyke” [Logical Paradoxes Solution in Semantically Closed Language], *Epistemology & Philosophy of Science*, 2017, vol. 52, no. 2, pp. 104–119. (In Russian)

Ladov, 2019 – Ladov, V. “Wittgenstein’s Tractatus Logico-Philosophicus and a Hierarchical Approach to Solving Logical Paradoxes”, *Filosofija. Sociologija*, 2019, vol. 30, no. 1, pp. 36–43.

Ladov, 2023a – Ladov, V.A. *Illyuziya znacheniya: Problema sledovaniya pravilu v analiticheskoy filosofii* [The Illusion of Meaning: The Rule-Following Problem in Analytic Philosophy]. Moscow: Kanon+, 2023. (In Russian)

Ladov, 2023b – Ladov, V.A. “O paradoksakh: otvet opponentam” [On Paradoxes: Reply to Critics], *Epistemology & Philosophy of Science*, 2023, vol. 60, no. 3, pp. 17–30. (In Russian)

Quine, 1960 – Quine, W.V.O. *World and Object*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1964.

Wittgenstein’s Lectures, 1976 – Diamond, C. (ed.) *Wittgenstein’s Lectures on the Foundations of Mathematics, Cambridge, 1939*. Ithaca, New York: Cornell Univvrsity Press, 1976.

Wittgenstein’s Lectures, 1979 – Ambrose, A. (ed.) *Wittgenstein’s Lectures, Cambridge, 1932–35*. Oxford: Basil Blackwell, 1979.

СКЕПТИЦИЗМ, ПРЯМОЕ РЕШЕНИЕ И ЯЗЫКОВЫЕ КАРКАСЫ*

**Суровцев Валерий
Александрович** –

доктор философских наук,
профессор, ведущий
научный сотрудник.
Томский научный центр
Сибирского отделения
Российской академии наук.
Российская Федерация,
634055, г. Томск,
пр. Академический, д. 10/4.
Заведующий кафедрой
истории философии
и логики.
Томский государственный
университет.
Российская Федерация,
634050, г. Томск,
пр. Ленина, д. 25;
e-mail: surovtsev1964@mail.ru

В статье рассматривается предложенное Е.В. Борисовым прямое решение скептической проблемы С. Крипке относительно стабильности языкового значения. Анализируется различие между двумя видами интроспекции, связанными со знанием языкового значения. Рассматривается умеренное решение скептической проблемы как основание прямого решения. Предлагается для уточнения прямого решения использовать концепцию языковых каркасов Р. Карнапа.

Ключевые слова: языковое значение, скептическая проблема, умеренное и прямое решение, языковые каркасы, С. Крипке, Р. Карнап

SKEPTICISM, STRAIGHT SOLUTION AND LINGUISTIC FRAMEWORKS

Valeriy A. Surovtsev –
DSc in Philosophy, Professor,
Leading Research Fellow.
Tomsk Scientific Center
of the Siberian Branch
of the Russian Academy
of Science.
10/4 Akademicheskoy Av.,
Tomsk 634055,
Russian Federation.
Chief of the Department
of History of Philosophy
and Logic.
Tomsk State University.
25 Lenin Av., Tomsk 634050,
Russian Federation;
e-mail: surovtsev1964@mail.ru

The article considers the straight solution of S. Kripke's skeptical problem concerning the stability of linguistic meaning proposed by E.V. Borisov's. The distinction between two kinds of introspection related to the knowledge of linguistic meaning is analyzed. The moderate solution of the skeptical problem as a basis for the straight solution is explored. It is suggested that R. Carnap's conception of linguistic frameworks can be useful for the solution of skeptical problem.

Keywords: linguistic meaning, skeptical problem, moderate and straight solution, linguistic frameworks, S. Kripke, R. Carnap

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00019, <https://rscf.ru/project/23-18-00019/>



В своей статье «Прямое решение проблемы Крипке» [Борисов, 2024] Е.В. Борисов проводит два важных различия, на которых основано предлагаемое им прямое решение скептической проблемы С. Крипке. Первое из них восходит к самому С. Крипке [Крипке, 2010] и связано с различием двух форм скептицизма. Используя известный пример С. Крипке с затруднениями, касающимися определения значений выражений «плюс» и «квус» посредством апелляции к прошлому опыту применения операции сложения и невозможности отличить ее от искусственно сконструированной операции квожения, Е.В. Борисов формулирует тезис ограниченного скептицизма: «Фактов речевого поведения агента в прошлом недостаточно для выявления значения, которым агент наделял в прошлом слово “сложение”» [Борисов, 2014, с. 25].

Сама по себе эта форма скептицизма считается Борисовым неинтересной и представляет собой частный случай тезиса о недоопределенности любой эмпирической теории посредством фактов и невозможности однозначно установить значения терминов, с помощью которых эти теории формулируются. Можно сказать, что аргументация С. Крипке продолжает здесь целый ряд рассуждений, касающихся неполной определенности терминов (например, в случае руководства стимульными значениями при переводе с туземного языка слова «гавагай» [Куайн, 2000], при коллизии с термином «зелубой» при попытке индуктивного определения цвета изумрудов [Гудмен, 2001] или ориентации на химический состав вещества при определении термина «вода» на двойнике Земли [Патнэм, 1999]). Добавим только, что скептический аргумент С. Крипке, использующий пример с «плюс» и «квус», в этом ряду казался наиболее радикальным, поскольку не просто указывал на недоопределенность значений языковых выражений, но и, с апелляцией к Л. Витгенштейну, на невозможность задания каких-либо достоверных правил, кроме санкционированных точкой зрения сообщества, позволяющих это значение стабилизировать [Суровцев, Ладов, 2008].

Более интересной Е.В. Борисов считает форму тотального скептицизма, к которой приводят рассуждения С. Крипке, если их продолжить без ограничений. Действительно, даже если однозначно определить, что понимается под сложением в заданном контексте, всегда остаются вопросы определения других терминов. Кроме того, остаются определения терминов, с помощью которых определены эти последние термины и т.д. до бесконечности. Отсюда вытекает тезис тотального скептицизма: «Для любого агента, любого выражения и любого речевого акта не существует фактов, которые позволяли бы однозначно установить значение, которым данный агент наделяет данное выражение в данном речевом акте» [Борисов, 2024, с. 26]. По мнению Е.В. Борисова, интерес к этой форме скептицизма вызван его фатальным воздействием на возможность языковой практики как таковой, а не только в случае применения отдельных терминов:



«Тотальный скептицизм имеет катастрофическое следствие. Мы – агенты речи – никогда не можем быть уверены относительно значений, которыми мы наделяем свои слова. Это значит, что мы не можем с уверенностью интерпретировать речь других, собственную речь в прошлом и даже собственную речь в настоящем... Таким образом, тотальный скептицизм ставит под вопрос само существование речи» [Борисов, 2024, с. 26].

К счастью, эти катастрофические следствия не оказываются столь уж фатальными как для самой речи, так и для речевого поведения в целом. На это, в частности, указывал В.А. Ладов, предлагая свое решение скептической проблемы, которое он называет «умеренным». Это решение связано с тем, что последовательно и радикально проведенный скептицизм относительно значений языковых выражений сам же и подрывает свои основания. Позиция скептика предполагает речевой акт, в котором она выражена. Но к самому этому речевому акту применимы все те же скептические аргументы относительно используемых при этом терминов. Стало быть, сомнению может быть подвергнута и сама позиция скептика. Как пишет В.А. Ладов: «Наиболее фундаментальное возражение по отношению к скептицизму состояло в том, что подобная позиция не может быть выражена в форме теории вообще... Теория, в которой утверждается, что стабильность и определенность значений языковых выражений является иллюзией, порождаемой практиками употребления, сама иллюзорна, ибо термины, с помощью которых данная теория сформулирована, не имеют определенных значений» [Ладов, 2023, с. 316]. Невозможность тотального скептицизма дает, как он говорит, не прямое и не скептическое, основанное на точке зрения сообщества, но «умеренное» решение скептического парадокса. Умеренное решение В.А. Ладова – это, по сути дела, реализация тезиса о самоопровержимости радикального скептицизма, поскольку, будучи последовательным, он требует сомнения и в себе самом: «Умеренное решение не способно дать окончательный прямой ответ скептику, в котором бы утверждалась возможность ясной фиксации значений каких бы то ни было выражений языка. Тем не менее данное решение позволяет категорично заявить о несостоятельности скептической позиции. Эта несостоятельность демонстрируется не посредством прямого ответа, показывающего ошибочность скептического рассуждения, а, скорее, посредством указания на абсурдность тех следствий, которые должен принять тот, кто разделяет позицию скептика. Скептическое рассуждение изживает само себя» [Там же, с. 315].

В вопросе о невозможности тотального скептицизма относительно языкового значения Е.В. Борисов по существу согласен с В.А. Ладовым: «Тотальный скептицизм ставит под вопрос само существование речи. Однако высказывания скептика на страницах работы Крипке представляют собой речевой акт, что порождает перформативное



противоречие... Указание на это противоречие составляет суть предложенного Ладовым умеренного решения проблемы» [Борисов, 2024, с. 26]. Таким образом, вопреки мнению, высказанному Е.В. Борисовым ранее относительно неинтересности ограниченного скептицизма в пользу тотального скептицизма, последний в силу содержащегося в нем перформативного противоречия оказывается не просто менее интересным, он вообще неинтересен, поскольку приходит к собственному отрицанию. Но поскольку тотальный скептицизм невозможен в силу заключенного в его основании перформативного противоречия, постольку умеренное решение скептического парадокса можно попытаться дополнить прямым решением в рамках ограниченного скептицизма. Причем, что важно отметить, из вышеизложенного, по-видимому, следует, что такое решение будет уже не ограниченным, но полным, поскольку тотальный скептицизм вообще устранен «умеренным» решением, что, собственно, и делает ограниченный скептицизм, вопреки мнению Е.В. Борисова, единственно интересной формой скептицизма. Этим он и занимается, в некотором отношении собственными действиями демонстрируя пример перформативного противоречия относительно интересности неинтересного и неинтересности интересного.

Преодоление любого скептицизма, как правило, ведет к поиску «самого достоверного из всех начал» по типу *cogito* Декарта. А то, что такое начало есть в том числе и в решении скептической проблемы относительно значений языковых выражений, сомнений уже не вызывает, ведь «процесс расширения скепсиса ведет к тотальному скептицизму, который... не допускает внятного выражения, а значит, должен где-то остановиться. Но это значит, что на каком-то этапе дискуссии мы принимаем значения как данность, не сводимую к интерпретации речевого поведения» [Там же, с. 31]. То, что это так и есть на самом деле, обосновывается у Е.В. Борисова двумя моментами: «Речевой акт отличается от производства звуков или букв тем, что агент 1) наделяет свои слова значениями, 2) достоверно знает, какими значениями он наделяет свои слова» [Там же, с. 27]. Это знание значений не является результатом интерпретации речевого поведения, ибо в этом случае оно было бы интерпретацией фактов, но в силу недоопределенности последних его всегда можно было бы подвергнуть сомнению. Это знание должно быть знанием совершенно иного рода.

Вот здесь принципиальную важность получает второе различие, вводимое Е.В. Борисовым. Он считает, что знание значений выражений, используемых в речевом поведении, может быть доступно двумя способами. Во-первых, это знание значений, которое мы пытаемся получить *post factum*, рассматривая речевое поведение свое или других, и, во-вторых, то знание, которое сопровождает речевое поведение и изначально присутствует в каждом речевом акте. Оба знания можно рассматривать как результат интроспекции, но в двух этих



случаях интроспекция носит абсолютно разный характер и необходимо различать «интроспекцию₁» и «интроспекцию₂». Разница здесь заключается в следующем: «Интроспекция₁ – это источник эмпирических данных о собственном сознании; интроспекция₂ – это знание о значениях как составная часть речевого акта» [Борисов, 2024, с. 28]. Знание, полученное посредством интроспекции₁, имеет эмпирический характер и поэтому не имеет достоверного характера. Оно всегда может быть подвержено сомнению скептика, апелляция к ней не имеет никакой важности для возможного прямого решения проблемы относительно стабильности языкового значения. Но вот интроспекция₂ находится вне компетенции крипкевского скептика, поскольку она непосредственно входит в содержание речевого акта, без нее такой акт просто невозможен. Таким образом, «допущение непосредственного и достоверного знания агентом значений, которыми он наделяет собственные слова, соответствует интуитивному пониманию речи и устойчиво к скептической аргументации. Поэтому, это допущение представляет собой прямое решение скептической проблемы» [Там же]. А в целом «в сочетании с ограниченным скептицизмом этот результат показывает, что достоверное знание значений является не результатом интерпретации речевого поведения агента, а составной частью речевого акта. В этом состоит прямое решение проблемы скептицизма относительно значения» [Там же, с. 31].

Оставим в стороне спорный вопрос о том, соответствует ли такое допущение «интуитивному пониманию» того, что такое речь, поскольку ответ на него вновь возвратит нас к исходному скепсису. Обратимся к самому допущению. Главный вопрос здесь заключается в том, как понимать интроспекцию₂. Можно ли относительно нее выказывать какие-то сомнения, задавать вопросы, что-то утверждать? Или эта своеобразная интроспекция находится за рамками применения способности суждения относительно языковых значений, но как раз, наоборот, лежит в основании любого, в том числе скептического, речевого поведения? Если это так, то интроспекция₂ будет чем-то аналогична первоначальной или трансцендентальной апперцепции в смысле И. Канта, той апперцепции, которая изначально сопровождает любой познавательный акт. В этом случае интроспекцию₂ следует понимать как некоторую модификацию «я мыслю», т.е. того акта, который уже присутствует в любом мыслительном акте с любым мыслимым содержанием и отличается от интроспекции, в которой дан сам этот мыслительный акт.

Если это так, то интроспекция₂ изначально (или, если угодно, трансцендентально) сопровождает любой акт речевого поведения, подобно тому, как первоначальная апперцепция сопровождает любой мыслительный акт. Заметим, что, толкуя таким образом интроспекцию₂, мы не претендуем на точную экспликацию того, что имеет



в виду Е.В. Борисов, возможно, подразумевается что-то другое. Однако если принимается такое толкование, то в этом случае интроспекция₂ в форме «я знаю значение выражения x » изначально сопровождает любое речевое поведение, в котором употребляется это выражение, и определяет конститутивные особенности данного поведения. Эти конститутивные особенности могут быть выявлены и зафиксированы *post factum*. Возьмем, например, случай со значением выражения «плюс». Когда высказываются утверждения относительно результатов операции сложения, затрагивающие элементы натурального ряда чисел, например « $68+57=125$ », в самом этом утверждении уже заложено знание значения оператора, т.е. того, что подразумевается под “+”. Собственно утверждение « $68+57=125$ » является эллиптическим и в своем полном выражении должно выглядеть вроде: «Я знаю значение “+” и $68+57=125$ ». Именно первый элемент конъюнкции обеспечивает истинностное значение второго. В языковом отношении можно также сказать, что первый элемент конъюнкции имеет метаязыковой характер, тогда как второй относится к языку-объекту. Но это не мешает существу дела, так как отражает ситуацию с интроспекцией₂. Скептический парадокс возникает тогда, когда используется интроспекция₁, но при этом игнорируется первый элемент конъюнкции, что и приводит к недоумению.

Видимо, к такому недоумению пришли Г. Бейкер и П. Хакер, когда впервые познакомились со скептической аргументацией С. Крипке [Бейкер, Хакер, 2008]. С их точки зрения проблема, поставленная Крипке, вообще не релевантна существу дела. Скептический парадокс касается правил применения языкового выражения, но он имеет смысл только тогда, когда сами эти правила понимаются как нечто внешнее по отношению к речевому поведению и требующее дополнительной санкции на их использование, например, со стороны языкового сообщества, что представляет собой крипкевское скептическое решение. Но с правилами все обстоит совершенно не так, «скептическое решение – это абсурдный ответ на непоследовательный вопрос» [Там же, с. 9]. Правила не существуют до и помимо речевой деятельности. В самом речевом акте реализуются правила применения языкового выражения, которые могут быть потом эксплицированы в явном виде. Мы вначале используем языковое выражение, и только это дает нам право *post factum* эксплицировать правила, реализованные в речевом акте, но не дает нам права спрашивать о том, соответствует ли языковое употребление тем правилам, которые, как мы можем предполагать, должны были быть реализованы в речевом акте. Именно такой способ действия, видимо, предлагает в своей статье Е.В. Борисов, когда после применения операции сложения указывает на правила построения натурального ряда, которые были реализованы в этом применении [Борисов, 2024, с. 29–30].



Представляется, что здесь могла бы, в определенной модификации, сыграть роль теория языковых каркасов Р. Карнапа [Карнап, 1959]. Языковой каркас задается первоначальной совокупностью допустимых к употреблению терминов и может пополняться в той степени, в которой мы стремимся к описанию окружающего нас мира. Каркас подвижен в пределах, которые принимаются для того, чтобы установить истинность утверждений относительно объектов, считающихся существующими. В рамках языкового каркаса стабильность языкового значения определяет совокупность принятых без сомнения высказываний, которые должны служить практическому освоению мира: «Все мы приняли вещный язык еще в детском возрасте как нечто само собой разумеющееся. Тем не менее мы можем считать это вопросом выбора в следующем смысле: мы свободны выбирать, продолжать ли нам пользоваться вещным языком или нет» [Там же, с. 301]. Языковой каркас изначально определяет смысл тех выражений, которые мы используем, даже не сомневаясь в том, существует ли нечто такое, что должно рассматриваться как наполнение окружающего нас мира. Язык, который Р. Карнап называет вещным, есть среда речевого поведения, в которой мы обнаруживаем себя. Расширяя эту среду, мы дополняем вещный язык новыми терминами, не задаваясь вопросом о том, является ли их значение стабильным и определено ли оно каким-либо правилом. Если все же такой вопрос задается, он является внешним вопросом и выходит за рамки обычного речевого поведения. Спросить о том, получим ли мы как результат 125 при сложении 57 и 68, – это внутренний вопрос. И он имеет однозначное решение. Вопрос о том, что я подразумеваю под сложением, когда осуществлял данную операцию, вопрос внешний и не касается существа дела, поскольку не доставит мне нужного решения. На вопросы подобного рода нет и не может быть вразумительного ответа, напротив, «если кто-либо решает принять вещный язык, то нечего возразить против утверждения, что он принял мир вещей... Принять мир вещей значит лишь принять определенную форму языка, другими словами, принять образования предложений и проверки, принятия или опровержения их» [Там же, с. 302].

Что первая, что вторая форма скептицизма стремятся задать внешний вопрос в смысле Р. Карнапа. Скептицизм вообще не релевантен языковым каркасам, поскольку всегда задает только внешние вопросы. По сути дела, он не затрагивает того, что творится внутри каркаса. Сколько бы мы ни задавали вопросов относительно того, что подразумевается под «+» и сложением, математики продолжают складывать. Здесь можно привести случай с ограничительными теоремами К. Гёделя. Многие математики о них даже и не слышали, поскольку результат этих теорем совсем не затрагивает того, чем математики занимаются в рамках своего языкового каркаса. Но тогда нет



никакой скептической проблемы относительно значения. Скептический вопрос можно задать, но он бессмыслен и потому является сугубо философским.

Прямое решение *a la* Е.В. Борисов все равно оставляет открытым один вопрос. Это проблема индивидуального языка, которая также возникает в контексте скептического парадокса С. Крипке. Скептическое решение, по крайней мере, имеет важное позитивное следствие, поскольку оно вводит точку зрения сообщества, тем самым объясняя социальный характер речевой деятельности. Интроспекция₂ у Е.В. Борисова, даже если предположить, что она дает прямое решение, не объясняет, почему для овладения языковым значением важен публичный критерий, в отсутствие которого мы получаем стабильное значение только в рамках индивидуального языка. Проблема интерсубъективной природы значения все еще остается.

Список литературы

Бейкер, Хакер, 2008 – *Бейкер Г., Хакер П.* Скептицизм, правила и язык. М.: Канон+, 2010.

Борисов, 2024 – *Борисов Е.В.* Прямое решение проблемы Крипке // Эпистемология и философия науки. 2024. Т. 61. № 2. С. 23–32.

Гудмен, 2001 – *Гудмен Н.* Факт, фантазия и предсказание. Способы создания миров. М.: Праксис, 2001.

Карнап, 1959 – *Карнап Р.* Эмпиризм, семантика и онтология // *Карнап Р.* Значение и необходимость. М.: Иностранная литература, 1959. С. 298–320.

Крипке, 2010 – *Крипке С.* Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке. М.: Канон+, 2010.

Куайн, 2000 – *Куайн У.* Слово и объект. М.: Праксис, 2000.

Ладов, 2023 – *Ладов В.А.* Иллюзия значения. Проблема следования правилу в аналитической философии. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023.

Патнэм, 1999 – *Патнэм Х.* Значение «Значения» // *Патнэм Х.* Философия сознания. М.: ДИК, 1999. С. 164–234.

Суровцев, Ладов, 2008 – *Суровцев В.А., Ладов В.А.* Витгенштейн и Крипке: следование правилу, скептический аргумент и точка зрения сообщества. Томск: ТГУ, 2008.

References

Baker, G., Hacker, P. *Skepticism, pravila i yazyk* [Skepticism, Rules and Language], trans. by V.A. Ladov and V.A. Surovtsev. Moscow: Kanon+, 2010. (Trans. into Russian)



Borisov, E.V. “Pryamoe reshenie problemy Kripke” [A Straight Solution to Kripke’s problem], *Epistemology & Philosophy of Science*, 2024, vol. 61, no. 1, pp. 23–32. (In Russian)

Goodman, 2001 – Goodman, N. *Fakt, fantaziya i predskazanie. Sposoby sozdaniya mirov* [Fact, Fiction, and Forecast. Ways of Worldmarking], trans. by T.A. Dmitriev. Moscow: Praksis, 2001. (Trans. into Russian)

Carnap, R. “Empirizm, semantika i ontologiya” [Empiricism, Semantics, and Ontology], in Karnap R. *Znachenie i neobhodimost’* [Meaning and Necessity], trans. by N.V. Vorobev. Moscow: Inostrannaya literatura, 1959, pp. 298–320. (Trans. into Russian)

Kripke, S. *Vitgenshtein o pravilakh i individual’nom jazyke* [Wittgenstein on Rules and Private Language], trans. by V.A. Ladov and V.A. Surovtsev. Moscow: Kanon+, 2010, pp. 206–254. (Trans. into Russian)

Ladov, V.A. *Illyuziya znacheniya. Problema sledovaniya pravilu v analiticheskoy filosofii* [Illusion of Meaning. The Problem of Rule Following in Analytical Philosophy]. Moscow: Kanon+ ROOI “Reabilitaciya”, 2023. (In Russian)

Putnam, H. “Znachenie ‘Znacheniya’” [Meaning of “Meaning”], in: Putnam, H. *Filosofiya soznaniya* [Philosophy of Mind], trans. by L.B. Makeeva, O.A. Nazarova, Moscow: DIK, 1999, pp. 164–234. (Trans. into Russian)

Quine, W.V.O. *Slovo i ob’ekt* [Word and Object], trans. by A.Z. Chernyak. Moscow: Praksis, 2000. (Trans. into Russian)

Surovtsev, V.A., Ladov, V.A. *Vitgenshtejn i Kripke: sledovanie pravilu, skepticheskij argument i tochka zreniya soobschestva* [Wittgenstein, Kripke, and Community Point of View]. Tomsk: TGU, 2008. (In Russian)

ЗЛОЙ ДЕМОН КРИПКЕ, КАРТЕЗИАНСКАЯ СЕМАНТИКА И ЭПИСТЕМИЧЕСКАЯ СУПЕРВЕНТНОСТЬ *

Нехаев Андрей Викторович –
доктор философских наук.
Ведущий научный сотрудник.
Томский научный центр
Сибирского отделения
Российской академии наук.
Российская Федерация,
634055, г. Томск,
пр. Академический, д. 10/4;
Профессор.
Тюменский государственный
университет.
Российская Федерация,
625003, г. Тюмень,
ул. Володарского, д. 6.
Омский государственный
технический университет.
Российская Федерация,
644050, г. Омск,
пр. Мира, д. 11;
e-mail: a.v.nekhaev@utmn.ru

В своей статье Евгений Борисов предлагает оригинальное решение скептической проблемы значения Крипке. Его концептуальным ядром является точка зрения участника речевых актов. Он считает, что заявления от первого лица участников речевых актов «Я достоверно знаю, что выражение 'е' используется мной в значении *m*» не могут содержать в себе никаких эпистемических ошибок. В качестве критики я предлагаю обратить внимание на то, что нефактуальные картезианские семантики обладают серьезными эпистемическими изъянами, делающими их уязвимыми к скептическим атакам и обвинениям в *petitio principii*.

Ключевые слова: локальный скептицизм, семантический реализм, следование правилу, всеобъемлющая теория референции, эпистемическая супервентность, создатели знания

KRIPKE'S EVIL DEMON, CARTESIAN SEMANTICS AND EPISTEMIC SUPERVENIENCE

Andrei V. Nekhaev –
DSc in Philosophy.
Leading Research Fellow.
Tomsk Scientific Center
of the Siberian Branch
of the Russian Academy
of Sciences.
10/4 Akademicheskoy Ave,
Tomsk 634055,
Russian Federation.
Professor.
Tyumen State University,
6 Volodarskogo St., Tyumen
625003, Russian Federation;

In his article Evgeny Borisov offers an original solution to Kripke's sceptical problem of meaning. Its conceptual core is the point of view of the participant of speech acts. He believes that first-person statements of speech act participants like "I know for certain that the expression 'e' is used by me in the meaning of *m*" cannot carry any epistemic fallacies. As a criticism, I propose to point out that non-factual Cartesian semantics have serious epistemic flaws that make it vulnerable to sceptical attacks and accusations of *petitio principii*.

Keywords: local skepticism, semantic realism, rule-following, comprehensive theory of reference, epistemic supervenience, knowledge makers

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00019, <https://rscf.ru/project/23-18-00019/>



Omsk State Technical
University.
11 Mira Ave, Omsk 644050,
Russian Federation;
e-mail: a.v.nekhaev@utmn.ru

Если бы меня спросили... действительно ли я принадлежу к числу скептиков, считающих, что все недостоверно и наш рассудок ни к чему не может применять никаких мерил истинности и ложности, то я ответил бы, что вопрос этот совершенно излишен и ни я, ни кто-либо другой никогда не придерживался этого мнения искренне и постоянно.

Дэвид Юм. *Трактат о человеческой природе* (1739 г.)

1. Введение

В данной статье я ставлю перед собой две цели: во-первых, прояснить основания так называемого *тотального скептицизма* (представленного пропозициями вида «внешний мир не существует», «ничего нельзя знать достоверно», «языковые выражения лишены каких бы то ни было значений» и т.д.) и, во-вторых, указать на некоторые концептуальные издержки и проблемы предложенного Борисовым прямого решения скептической головоломки Крипке – Витгенштейна.

2. Правильно ли мы понимаем скептический аргумент Крипке?

Скептические идеи Крипке в отношении значения языковых выражений стали отправной точкой для появления одной из самых дискутируемых головоломок современной философии языка. Заявление о том, что никто (включая Бога) не может знать *достоверно*, имел ли я в виду функцию сложения под ‘+’ в своем арифметическом вычислении $57+68=125$ [Крипке, 2010, с. 30], многим кажется *insulter à goût du public et au bon sens*¹. Естественной реакцией было появление многочисленных реплик и решений, цель которых заключалась в де-

¹ Оскорбление общественного вкуса и здравого смысла (фр.).



монстрации ложности и бесосновательности подобного скептицизма. На деле же большая часть этих реплик и решений была мимо цели, так как основывалась на *неправильной* трактовке скептического аргумента Крипке.

Обычно критики Крипке не считают нужным проводить различие между *локальным* и *тотальным скептицизмом* (нигилизмом) в отношении значения. И именно в этом, как я думаю, заключается серьезная ошибка, блокирующая правильную трактовку скептического аргумента Крипке. Локальный скептик не отрицает, что языковые выражения имеют значения, и признает, что в своих вычислениях с '+' я могу под '+' иметь в виду что-то конкретное (функцию сложения, квожения и т.п.), но утверждает, что знать об этом *достоверно* я бы не мог. Тотальный же скептик считает, что никаких значений (вроде функции сложения, квожения и т.п.) для используемого мною в вычислениях выражения '+' не существует. Когда нет различия между пропозициями «выражения языка L (на котором мы говорим) лишены значений» и «никто достоверно не знает, в каком именно значении в языке L используется выражение ' e '», весьма соблазнительно думать, что Крипке поддерживает нигилистические выводы. Однако это не так.

Скептический аргумент Крипке следует рассматривать как одну из ветвей более обширного семейства аргументов, парадигматическим примером которого служит теоретико-модельный аргумент Патнэма² [Putnam, 1977; Putnam 1980]. Чтобы разговор о значениях имел смысл и можно было утверждать пропозиции вида «выражение ' e ' используется A в языке L в значении t », мы должны иметь адекватную теорию фиксации референции этих выражений. Но такой теории в нашем распоряжении нет. Допустим, что имеется язык L , состоящий из некоторого набора выражений {' $e1$ ', ' $e2$ ', ...}. Теоретико-модельный аргумент устанавливает, что для каждого выражения ' e ' в языке L будет верным следующее³:

[TM] Стандартная интерпретация t референции выражения ' e ' в языке L всегда имеет множество $\{m^*, m^{**}, \dots\}$ изоморфных нестандартных интерпретаций референции ' e ' в L с одной и той же

² На мой взгляд, вероятная причина популярности ошибочных трактовок скептического аргумента Крипке состоит в том, что исследователей, которые открыто заявляют о его структурном сходстве с теоретико-модельным аргументом Патнэма, можно пересчитать по пальцам одной руки [например, см.: Sova, 2017; Kowalenko, 2022]. Самые ранние из известных мне упоминаний об этом можно найти в работе Эрнеста Лепора и Барри Луэвера [Lepore, Loewer, 1988, p. 465–466].

³ Детальная реконструкция и полезный анализ теоретико-модельного аргумента есть в работах Баттона [Button, 2013, p. 14–19], Совы [Sova, 2017] и Коваленко [Kowalenko, 2022].



областью определений S . Иными словами, поскольку интерпретации $\{m, m^*, m^{**}, \dots\}$ референции выражения 'е' изоморфны, они будут делать одно и то же множество предложений S , в которых встречается 'е', истинными или ложными в языке L . И, следовательно, даже если бы мы установили истинность или ложность каждого предложения из множества S , этого было бы недостаточно, чтобы однозначно зафиксировать референцию выражения 'е' в языке L , исключив тем самым все нестандартные интерпретации. Из данного вывода возникает крайне неприятная дилемма, либо референция выражения 'е' в языке L не имеет однозначной фиксации, либо теория фиксации референции не имеет никакого эмпирического содержания.

Крипке пользуется в своем аргументе похожей диалектической схемой:

[K1] Пропозиция «выражение 'е' используется A в языке L в значении m » имеет фактические условия истинности (включающие факты о поведении, диспозициях или ментальных состояниях A).

[K2] Одни и те же фактические условия истинности *всегда* выполняются не только пропозицией «выражение 'е' используется A в языке L в значении m », но и другими несовместимыми с ней пропозициями «выражение 'е' используется A в языке L в значении m^* », «выражение 'е' используется A в языке L в значении m^{**} » и т.д.

[K3] Но $[K2] \rightarrow \neg [K1]$.

[K4] Следовательно, $\neg [K2] \vee \neg [K1]$.

Таким образом, в итоге мы приходим к аналогичной дилемме, либо мы обязаны предоставить решения, блокирующие любые нестандартные интерпретации $\{m^*, m^{**}, \dots\}$ значения выражения 'е' в языке L , либо должны признать, что пропозиция «выражение 'е' используется A в языке L в значении m » лишена фактических условий истинности. Поэтому проблема локального скептика, вроде Крипке, не в том, что в языке L у выражения 'е' *нет* никакого значения, а в том, что у него *слишком много* таких значений.

Для описания ключевых позиций в дискуссиях по проблеме значения языковых выражений я предлагаю выделить базовые элементы, оперируя которыми нам было бы удобно фиксировать различия между разными решениями скептической головоломки Крипке – Витгенштейна⁴.

Фактуализм значений: [FM] Если A имеет в виду что-то под выражением 'е' в языке L , должен существовать возможный факт Φ , который определяет (не)правильное использование 'е' в L для A .

⁴ Предложенная здесь трактовка характера дискуссий по проблеме языковых значений опирается на исследования Уилсона [Wilson, 1994], Миллера [Miller, 2010], Бойда [Boyd, 2017], Шумони [Šumonja, 2021].



Семантический реализм: [SR] Если A имеет в виду t под выражением 'е' в языке L , должен существовать превосходный факт R , который определяет истинность пропозиции вида « A под 'е' имеет в виду t ».

Локальный скептицизм: [LS] Никакого превосходного факта R , который определяет истинность пропозиции вида « A под 'е' имеет в виду t », не существует.

Тотальный скептицизм: [TS] Никто никогда и ничего не имеет в виду под выражением 'е' в языке L .

Синтаксический реализм: [SE] Если существует возможный факт Φ , который определяет (не)правильное использование 'е' в L для A , тогда должен существовать такой не превосходный факт C об L , который составляет Φ как факт, определяющий (не)правильное использование 'е' в L для A .

Теперь нетрудно удостовериться в том, что нигилистические взгляды тотального скептика на значение языковых выражений существенным образом отличаются от позиции, занимаемой локальным скептиком, вроде Крипке.

Нигилистическое решение: [FM], [FM $\equiv$ SR], [LS] $\rightarrow$ [TS].

Вывод тотального скептика [TS] является не целью скептической аргументации Крипке, а скорее, напротив, представляет собой вызов, для ответа на который у нас есть три возможные стратегии:

Прямое решение: $\neg$ [TS], $\neg$ [LS], [FM], [FM $\equiv$ SR] $\rightarrow$ [SR].

Скептическое решение: $\neg$ [TS], [LS], [FM], [FM $\equiv$ SR] $\rightarrow$ $\neg$ [SR].

Умеренное решение: $\neg$ [TS], [LS], [FM], $\neg$ [FM $\equiv$ SR] $\rightarrow$ [SE].

Предложенное Борисовым [Борисов, 2024] опровержение тотального скептицизма не является ни прямым решением семантического реалиста, ни умеренным решением синтаксического реалиста.

Решение Борисова: $\neg$ [TS], [LS], $\neg$ [SR], [FM $\equiv$ SR] $\rightarrow$ $\neg$ [FM].

Отличительной чертой его решения становится «грубое» (не основанное на каких-либо фактах) знание значений языковых выражений, и строится оно в форме вывода от $\neg$ [TS] к $\neg$ [FM].

3. Нефактуальная картезианская семантика Борисова

Если попытаться выразить общий пафос предложенного Борисовым прямого решения, то, вслед за Декартом, он вполне мог бы воскликнуть: «Язык не может быть обманщиком! Я точно знаю, в каком именно значении использую выражение 'е'!».

Структура доказательства, которое Борисов предлагает в качестве решающего опровержения тотального скептицизма, основывается



на идее *точки зрения участника речевых актов*⁵. Его доказательство прямо говорит о том, что тезис о наличии некоторого конкретного фиксированного значения m , в котором в языке L используется выражение 'e', имеет смысл только с точки зрения носителей языка L . После того как агент речи A принял позицию участника речевых актов в языке L , кажется, что он просто не может без противоречия предположить наличие непреодолимого семантического разрыва между его знанием о значении m выражения 'e' в языке L и его собственным актуальным речевым поведением, которое руководствуется данным знанием. Если A действительно является компетентным носителем языка L , нестандартная интерпретация его способности использовать выражение 'e' в значении m не должна ставить под вопрос обоснованность утверждения о том, что A знает, как в языке L следует использовать выражение 'e'. Борисов настаивает на том, что такая нестандартная интерпретация речевых актов в языке L , согласно которой A все время использовал выражение 'e' в значении m^* (вместо значения m), теперь не несет для нас никакой реальной угрозы.

Проще говоря, Борисов утверждает, что есть способ *знать* значение языкового выражения, который *не* является интерпретацией. Осмысленное использование языка L участниками речевых актов – это прежде всего способность (*знание-как*). Следовательно, выявленная Крипке неспособность A указать на факты, устанавливающие то, почему выражение 'e' в языке L имеет значение m , а не m^* , не подрывает способности участников речевых актов делать в языке L осмысленные высказывания с использованием выражения 'e'.

Исходная метафора с Декартом подсказывает и соответствующие слабые места проекта *картезианской* семантики Борисова. Его доказательство способно убедить нас в том, что тотальный скептицизм в отношении значения ложен, но не в том, что *Я* достоверно знаю значение выражения 'e' в языке L . Основываясь на точке зрения участника речевых актов, оно призвано устранить любое скептическое сомнение путем апелляции к *моей* субъективной уверенности в том, что *Я действительно* обладаю достоверным знанием таких пропозиций, например, как «выражение 'e' в языке L имеет значение m ». Но проблема в том, что оно не может служить примером валидного доказательства, с которым *локальный* скептик, вроде Крипке, непременно обязан согласиться. Это нетрудно показать, если разобрать формальную структуру доказательства Борисова. И здесь на помощь приходит еще одна историко-философская аналогия – знаменитое доказательство внешнего мира Мура. Известно, что Мур,

⁵ Стоит отметить, что сама по себе такая идея не может считаться новинкой в арсенале защитников реализма; в том или ином виде она неоднократно применялась для борьбы со скептиком Крипке [например, см.: Boghossian, 1989; Ebbs, 1997].



опираясь на диалектическую схему рассуждений Декарта, пытался предоставить нам неопровержимое свидетельство существования материальных вещей (стульев, камней и пр.), однако столкнулся с обвинением со стороны скептиков в цикличности своего доказательства [см., например: Sinnott-Armstrong, 1999; Wright, 2002]. Я думаю, что Борисов попадает в ту же концептуальную ловушку, что и Мур.

Формальная структура его доказательства кажется предельно простой:

[BS1] Я достоверно знаю, что выражение ‘*e*’ в языке *L* используется *мною* в значении *m*.

[BS2] Если выражение ‘*e*’ в языке *L* используется *мною* в значении *m*, тогда существуют речевые акты, выполняющие оба условия: (1) компетентные носители языка *L* используют выражение ‘*e*’ в значении *m*; (2) компетентные носители языка *L* достоверно знают, что используют выражение ‘*e*’ в значении *m*.

[BS3] Следовательно, существуют речевые акты, выполняющие оба условия (1) и (2).

Получается, что *мой* непосредственный опыт речевых актов, представленный в посылке [BS1], должен дать надежное оправдание для *нашей* веры (например, моей и Крипке), что в языке *L* выражение ‘*e*’ имеет значение *m*, которая представлена в заключении [BS3]. Борисову кажется абсолютно невероятной ситуация, где *Я* мог бы иметь опыт речевых актов, наподобие [BS1], а *мой* вывод [BS3] при этом был бы безосновательным. Он считает, что никто не способен без противоречия поставить под вопрос существование истинных пропозиций вида «выражение ‘*e*’ в языке *L* имеет значение *m*», – это было бы рационально неоправданным убеждением, которое легко опровергается здравым смыслом.

Самые уязвимые для скептических возражений части доказательства Борисова – содержание посылок [BS1] и [BS2], а также проблематичный характер их связи с заключением [BS3]. Доказательство существования речевых актов, выполняющих оба условия (1) и (2), держится *исключительно* на моей вере в то, что у меня самого есть опыт *таких* речевых актов. Однако здесь локальный скептик Крипке мог бы заметить, что в своем доказательстве Борисов не представил никаких независимых от самой этой веры оснований для важнейшей посылки [BS2]. Поэтому мы вправе сомневаться в том, что, ссылаясь на собственный речевой опыт, мы на самом деле предъявляем подлинные примеры речевых актов, выполняющих оба условия (1) и (2).

Данное скептическое возражение имеет вид следующей формальной структуры:



[LS1] Достоверно знать, что выражение 'е' в языке L используется в значении m , а не значении m^* , можно, только если уже есть независимое обоснование для веры в существование речевых актов, выполняющих оба условия (1) и (2).

[LS2] Нет никакого независимого основания (в виде превосходного факта R) для веры в существование речевых актов, выполняющих оба условия (1) и (2).

[LS3] Достоверно знать, что выражение 'е' в языке L используется в значении m , нельзя.

В итоге выходит, что доказательство Борисова требует для себя своеобразного цикличного обоснования: выражение 'е' имеет значение m в речевых актах, если есть такие речевые акты, в которых выражение 'е' имеет значение m , а я достоверно знаю, что они есть, потому что существуют мои речевые акты, в которых выражение 'е' имеет значение m . Но факт существования речевых актов, в которых выражение 'е' имеет значение m , и является целью доказательства Борисова, поэтому его нельзя привлекать в качестве посылки самого этого доказательства. Более того, если бы посылка [BS2] была верной, исчезли бы и всякие разумные основания, позволяющие проводить различие между тем, что мне *кажется* правильным значением выражения 'е', и тем, что *является* правильным значением выражения 'е'. Одно дело утверждать – Я достоверно знаю, что использую в языке L выражение 'е' в значении m ; и совсем другое – показать, что именно такое мое знание и есть то, что наделяет выражение 'е' в языке L значением m .

4. Возможно ли достоверно знать значение выражения 'е'?

Еще одна проблема доказательства Борисова связана с посылкой [BS1]. Именно на нее (подобно рукам Мура) возлагается ответственная роль убедить нас в том, что, делая заявления от первого лица «Я достоверно знаю, что 'е' используется мной в значении m », участники речевых актов не способны ошибаться. Другие участники, разумеется, могут ошибочно интерпретировать мои речевые акты с выражением 'е', но Я сам – никогда. Буквально это предполагает, что моя вера в то, что Я использую выражение 'е' в значении m , а не m^* , эпистемически безупречна и просто не требует никаких независимых от нее оснований (например, в виде возможных фактов Φ о моем речевом поведении и т.д.). Но я так не думаю. Для того чтобы Я использовал выражение 'е' в значении m , необходимо, чтобы у любого агента (подходящего в когнитивном отношении) были достаточные



независимые основания верить, что m является значением 'е'. И посылка [BS1] явно не справляется с возложенной на нее ответственной ролью.

Вывод в его доказательстве строится по следующей эпистемической схеме:

[P] Участники речевых актов знают, что используют выражение 'е' в значении m (иначе это были бы не речевые акты, а не более чем *flatus vocis*).

[$P \rightarrow Q$] Для всех случаев, когда участники речевых актов знают, что используют выражение 'е' в значении m , всегда должно быть верным, что выражение 'е' имеет значение m [$P \rightarrow Q$].

[Q] Выражение 'е' имеет значение m [Q].

Известно, что эпистемический вывод от пропозиции [P] к пропозиции [Q] будет валидным, если одновременно соблюдаются три условия: (i) мы имеем оправдание для веры в [P], (ii) нам известно, что [P] *действительно*⁶ влечет за собой [Q], но также – и это очень важно – (iii) у нас есть *независимое* от [P] оправдание для веры в [Q].

Проблема в том, что доказательство Борисова нарушает требование, выраженное условием (iii). Допустим, у меня есть свидетельство [E]⁷ в поддержку моей веры в [P] «Участники речевых актов знают, что используют выражение 'е' в значении m ». Принимая во внимание требования условий (i)–(iii), Я буду оправдан в своей вере в [Q] «выражение 'е' имеет значение m », отталкиваясь от свидетельства [E] в пользу [P] и основываясь на выводе от [P] к [Q], если и только если у меня *нет* никаких свидетельств, противоречащих основаниям моей веры в [Q]. А теперь на мгновение представьте, что Я встретил локального скептика, вроде Крипке, и он предоставил мне свидетельство [LS], что никто (даже Бог) не может провести *фактическое* различие между речевыми актами, где выражение 'е' используется в значении m , и речевыми актами, в которых оно используется в значении m^* . Борисов считает, что свидетельство [LS] не делает *никакого* эпистемического вклада в мои рассуждения, и Я по-прежнему оправдан в вере в выводы наподобие следующего:

⁶ В интересах аргументации я не буду оспаривать верность утверждения [$P \rightarrow Q$], а только сделаю краткое замечание: существуют случаи (реальные и воображаемые), когда участник речевых актов *не* знает, что использует выражение 'е' в значении m , однако речевые акты, в которых он принимает участие, не становятся от этого простыми *flatus vocis*. Примерами таких ситуаций являются: человек, манипулирующий иероглифами внутри Китайской комнаты, различные нейросети и генераторы речи (Chat GPT).

⁷ Пусть даже таким свидетельством может быть нечто загадочное и принципиально не фактуальное, именуемое *интроспекцией*₂.



[X] Некоторый конкретный речевой акт ϕ с выражением 'e' – это тот случай, где выражение 'e' используется в значении m .

[Y] Следовательно, ϕ – не тот случай, где выражение 'e' используется в значении m^* .

И вот это кажется странным, поскольку скептическое свидетельство [LS] должно (как минимум) делать *мою* веру в [Y] менее оправданной [например, см.: Wright, 2002; Wright, 2003]. Прежнее свидетельство [E], конечно, может *мне* дать оправдание для веры в вывод от [X] к [Y], но только в том случае, если у *меня* есть независимое основание для веры в [Y]. Без него у *меня* нет хорошего основания для веры в [Y] просто потому, что *Я* оправдан в своей вере, что свидетельство [E] поддерживает [X], и зная, что [X] действительно влечет за собой [Y].

5. Заключение

Анализ решения Борисова позволяет сделать ряд итоговых замечаний.

Во-первых, кажется очевидным, что никто и никогда всерьез не поддерживал тотальный скептицизм (например, в виде пропозиции «никто никогда и ничего не имеет в виду под выражением 'e' в языке L »). Настоящей целью прямого решения является опровержение локального скептицизма. Доказательство Борисова данной цели не достигает (более того, его аргументация включает в себя посылку [LS]).

Во-вторых, чтобы мы могли принимать всерьез эпистемические решения скептической проблемы значения Крипке, они должны включать в себя некоторый аналог принципа супервентности наших знаний над фактами. Иметь достоверные знания о каком-либо X , и в частности о значении m языкового выражения 'e', означает предоставить возможный факт (knowledge-maker), успешно выполняющий работу по независимому обоснованию такого знания. Без такого принципа нефактуальная картезианская семантика Борисова, как сказал бы Патнэм, рискует превратиться в магическую теорию, в которой значение языкового выражения становится чем-то вроде *sui generis*.

Список литературы

Борисов, 2024 – Борисов Е.В. Прямое решение проблемы Крипке // Эпистемология и философия науки. 2024. Т. 61. № 2. С. 23–32.

Крипке, 2010 – Крипке С.А. Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке / Пер. с англ. В.А. Ладова, В.А. Суровцева; ред. В.А. Суровцев. М.: Канон+, 2010. 256 с.



References

- Boghossian, 1989 – Boghossian, P.A. “The Rule-Following Considerations”, *Mind*, 1989, vol. 98, no. 392, pp. 507–549.
- Borisov, 2024 – Borisov, E.V. “Pryamoe reshenie problemy Kripke” [A Straight Solution to Kripke’s Problem], *Epistemology & Philosophy of Science*, 2023, vol. 61, no. 2, pp. 23–32. (In Russian).
- Boyd, 2017 – Boyd, D. “Semantic Non-Factualism in Kripke’s Wittgenstein”, *Journal for the History of Analytical Philosophy*, 2017, vol. 5, no. 9, pp. 1–13.
- Button, 2013 – Button, T. *The Limits of Realism*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Ebbs, 1997 – Ebbs, G. *Rule-Following and Realism*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997.
- Lepore, Loewer, 1988 – Lepore, E., Loewer, B. “A Putnam’s Progress”, *Midwest Studies in Philosophy*, 1988, vol. 12, pp. 459–473.
- Kowalenko, 2022 – Kowalenko, R. “The Putnam – Goodman – Kripke Paradox”, *Acta Analytica*, 2022, vol. 37, no. 4, pp. 575–594.
- Kripke, 2010 – Kripke, S. *Vitgenshteyn o pravilakh i individual’nom yazyke* [Wittgenstein on Rules and Private Language], trans. by V.A. Ladov, V.A. Surovtsev. Moscow: Kanon+, 2010. (Trans. into Russian)
- Miller, 2010 – Miller, A. “Kripke’s Wittgenstein, Factualism and Meaning”, in: D. Whiting (ed.) *The Later Wittgenstein on Language*. London: Palgrave Macmillan, 2010, pp. 167–190.
- Putnam, 1977 – Putnam, H. “Realism and Reason”, *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association*, 1977, vol. 50, no. 6, pp. 483–498.
- Putnam, 1980 – Putnam, H. “Models and Reality”, *The Journal of Symbolic Logic*, 1980, vol. 45, no. 3, pp. 464–482.
- Sinnott-Armstrong, 1999 – Sinnott-Armstrong, W. “Begging the Question”, *Australasian Journal of Philosophy*, 1999, vol. 77, no. 2, p. 174–191.
- Šumonja, 2021 – Šumonja, M. “Kripke’s Wittgenstein and Semantic Factualism”, *Journal for the History of Analytical Philosophy*, 2021, vol. 9, no. 3, pp. 1–19.
- Sova, 2017 – Sova, H. “The Dilemma Imposed on the Realist by Putnam’s and Kripkensteinian Argument”, *Studia Philosophica Estonica*, 2017, vol. 10, no. 1, pp. 62–82.
- Wilson, 1994 – Wilson, G.M. “Kripke on Wittgenstein on Normativity”, *Midwest Studies in Philosophy*, 1994, vol. 19, pp. 366–390.
- Wright, 2002 – Wright, C. “(Anti-)Sceptics Simple and Subtle: G.E. Moore and John McDowell”, *Philosophy and Phenomenological Research*, 2002, vol. 65, no. 2, pp. 330–348.
- Wright, 2003 – Wright, C. “Some Reflections on the Acquisition of Warrant by Inference”, in: S. Nuccetelli (ed.) *New Essays on Semantic Externalism and Self-Knowledge*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2003, pp. 57–77.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОДНОСТОРОННЕГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ КРИПКЕ*

Андрушкевич Александр Геннадьевич – младший научный сотрудник. Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук. Российская Федерация, 634055, г. Томск, пр. Академический, д. 10/4. Сибирский государственный медицинский университет. Российская Федерация, 634050, г. Томск, Московский тракт, д. 2; e-mail: andryusha.fsf@gmail.com

Данный текст представляет собой реплику на статью Е.В. Борисова «Прямое решение проблемы Кripкe». В основании предложенного решения проблемы скептицизма относительно значения языкового выражения лежит представление о языке и речевой активности, ограниченное актом употребления. Подобный усеченный и односторонний вариант анализа языка представляет собой картину, где единственным субъектом, способным понимать значения слов, является непосредственно сам агент речи. Хотя данный подход частично позволяет разрешить скептическую проблему, она возникает вновь тогда, когда мы обращаем внимание не на агента речи, а на реципиента, на которого направлена речевая активность.

Ключевые слова: скептицизм относительно значения, речевая коммуникация, Кripкe, значение

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR A ONE-SIDED SOLUTION TO KRIPKE'S PROBLEM

Alexander G. Andrushkevich – Junior Researcher. Tomsk Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Science. 10/4 Akademicheskoy Ave., Tomsk 634055, Russian Federation. Siberian State Medical University. 2 Moskovsky trakt, Tomsk 634050, Russian Federation; e-mail: andryusha.fsf@gmail.com

This text is a replica of the article by E.V. Borisov *A Straight Solution to Kripke's problem*. The proposed solution to the problem of skepticism regarding the meaning of a linguistic expression is based on the idea of language and speech activity, limited to the act of use. Such a truncated and one-sided version of the analysis of language presents a picture where the only subject capable of understanding the meanings of words is the speech agent himself. Although this approach partially allows us to resolve the skeptical problem, it arises again when we pay attention not to the agent of speech, but to the recipient to whom speech activity is directed.

Keywords: meaning skepticism, speech communication, Kripke, meaning

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00019, <https://rscf.ru/project/23-18-00019/>



В современной аналитической философии проблема следования правилу занимает особое место. По всей видимости, дело заключается в том, что различной степени радикальности скептические следствия из той ее формулировки, которая была предложена Крипке, оказываются недопустимыми для большинства сторонников реализма. Если сам Крипке, будучи своего рода «виновником» той затруднительной ситуации, в которой оказались философы, предложил вариант скептического решения, то уже последующие авторы предпринимают попытки расширить, дополнить вариант Крипке или предлагают собственные (подробный анализ существующих подходов приводится в монографии В.А. Ладова [Ладов, 2023]). Е.В. Борисов предпринимает попытку усилить предложенное Ладовым умеренное решение до прямого [Борисов, 2024].

В основе усиления, которое предлагает Е.В. Борисов, лежит позиция, согласно которой «речевой акт отличается от производства звуков или букв тем, что агент 1) наделяет свои слова значениями, 2) достоверно знает, какими значениями он наделяет свои слова» [Там же, с. 27]. Вероятно, именно в подобном определении содержательной специфики речи или речевой активности и заключается несостоятельность предложенного подхода. Дело в том, что, рассматривая речевую активность агента речи в ситуации некоторой изоляции от *других* участников коммуникации, мы, с одной стороны, занимаем удобную с точки зрения аргументации позицию. Но, с другой стороны, нет никаких иных оснований для подобного усечения сферы речевой коммуникации. Безусловно, приведенные Борисовым критерии следует рассматривать как неотъемлемые, но концептуально ограничивающие саму сущность речи и языка вообще. Речевой акт следует рассматривать с позиции его коммуникативной (или прагматической) значимости. Если агент при осуществлении речевого акта непосредственно и достоверно обладает знанием значений тех или иных языковых выражений, которые он использует, то при каких условиях собеседник или реципиент будет находиться в равных с агентом условиях? Якобсон в своей работе «Лингвистика и поэтика», приводя перечень функций речевой коммуникации, указывает также и на коммуникативную функцию [Якобсон, 1975]. Речевой акт, понятный одному лишь говорящему, в определенном смысле абсурден.

Попытка же приложить предложенное Е.В. Борисовым прямое решение на ситуацию реципиента оказывает скорее негативный эффект, так как утверждает скептицизм относительно значений. Более того, дополняя перечень особенностей, отличающих речевой акт от спонтанной акустической или символической активности, критериями, которые касались бы способности *понять* сообщение, Борисов играет на руку тотальному скептицизму. Представим, что определяющим для речевого акта является то, что агент (1) наделяет свои



слова значениями, (2) обладает достоверным знанием этих значений и (3) реципиент в состоянии понять значения, которыми агент наделил свои слова. Однако для реципиента речевая активность агента речи является именно тем самым эмпирическим фактом, и, следовательно, реципиент не имеет никакой возможности проверить, что при $68+57=125$ агент речи подразумевал сложение, а не квожение.

Почему это именно так? Да, по-прежнему деятельность участников речевой коммуникации не следует сводить к тому, что Борисов в своем тексте определяет как интроспекция¹ [Борисов, 2024]. Однако предложенный терминологический аппарат оказывается бесполезен тогда, когда речь идет не о знании значений агентом, а о знании значений реципиента. Джон может достоверно знать то, в каком значении он использует слово «гитара», но может ли *понять* это значение Пол? Вероятно, тут можно дать двоякую интерпретацию.

1. Наиболее очевиден вариант, когда Пол соотносит слово «гитара», употребленное Джоном, с собственным лингвистическим опытом. Однако этот тот случай, при котором скептик Крипке торжествует, ведь нет никаких оснований для утверждения, что предшествующий опыт Пола употребления слова «гитара» осуществлялся в значении гитара. В конечном итоге подобного рода подход перестраивается в порочную ретроспекцию, которая рано или поздно становится точкой зрения сообщества, подробно рассмотренной в монографии Суровцева и Ладова [Суровцев, Ладов, 2008].

2. Тем не менее можно предположить, что Пол соотносит значение слов Джона не с собственным опытом, а с тем значением, которое предполагает Джон (осуществляя интроспекцию²). Однако если для агента речи скрыты намерения других субъектов, то это вынуждает нас ограничиться допущением того, что Пол лишь *догадывается* о том, в каком значении Джон употребляет те или иные языковые выражения. Безусловно, подобного рода догадки можно было бы развеять простым вопросом: «Прошу прощения, в каком значении вы используете данное слово?». Но тогда возникает тот же самый вопрос, только теперь место строящего догадки реципиента занимает Джон, который, соответственно, может предпринять попытку аналогичным образом удостовериться в том, что имеет в виду его собеседник. Подобного рода ситуация продуцирует не менее тотальный скептицизм, чем точка зрения сообщества, и в придачу обрекает любого рода коммуникацию на провал.

Вероятно, здесь можно было бы начать говорить о некоторой экстраспекции как о ситуации, противоположной всему вышесказанному, но апелляции к наблюдению за речевой активностью субъекта должны быть отвергнуты в соответствии с аргументацией Крипке [Kripke, 1982, p. 14].

Если бы в действительности состоялась беседа скептика Крипке и сторонника прямого решения, предлагаемого Борисовым, то,



вполне вероятно, скептик остался бы ею в высшей степени доволен. Задав свои вопросы и выслушав ответы сторонника прямого решения, скептик парировал бы всю аргументацию оппонента тем, что все тезисы касаются ситуации изоляции агента речи от других субъектов (или же ситуации монолога). Каким образом данная аргументация позволяет утверждать возможность понимания в ситуации, когда участником коммуникации являются двое или более субъектов? Безусловно, каждый из них будет обладать знанием значений, которыми он наделяет свои слова. Однако подобный ход мысли наталкивает на другой вопрос: могу ли я достоверно знать то, какими значениями наделяет свои слова мой собеседник? Основываясь на решении, которое предлагает Е.В. Борисов, ответ будет отрицательным. Таким образом мы приближаемся к ситуации коммуникации, в которой ее участники говорят на *индивидуальных языках*, в том смысле, что никто иной не может обладать знанием значений употребляемых слов [Айер, 2007, с. 102–103]. Если обязательным условием осуществления речевого акта является интроспекция₂, принципиально доступная одному лишь агенту речи, его язык с определенной степенью успеха можно определить как индивидуальный. Еще данный подход можно было бы свести к критикуемой Айером позиции протокольных языков Карнапа, где предлагаемую Борисовым интроспекцию₂ можно соотнести с физикалистскими взглядами Карнапа: «Под выражениями “думать”... здесь естественно подразумеваются физические процессы, происходящие в нервной системе S₁» [Карнап, 2006, с. 230].

Прямое решение Борисова оказывается бессильным разрешить ситуацию скептицизма относительно значения языкового выражения, если только нас не устраивает ситуация, при которой единственным, кто в состоянии понять слова агента речи, оказывается он сам. Действительно, нет ничего привлекательного в том, чтобы читать лекцию, предполагая, что в аудитории никто не поймет моих слов, давать обещание или озвучивать просьбу тогда, когда из двух участников коммуникации только говорящий обладает знанием значений употребляемых выражений. Безусловно, Е.В. Борисов прав в том, что «достоверное знание значений является не результатом интерпретации речевого поведения агента, а составной частью речевого акта» [Борисов, 2024, с. 31]. Однако не менее значимой его частью должно быть условие возможности *понимания* реципиентом слов агента. Можно ли определить критерий правильности понимания?

Предполагается, что это потенциально возможно. Так, к примеру, Петит утверждает прямую корреляцию между существующими правилами и склонностями поступать определенным образом, которые вызваны фактом существования данного правила [Petit, 1990, p. 10]. Определенным образом развитие взглядов Петита потенциально может привести к островку безопасности в море скептицизма,



где для ряда актов употребления слов существует объективный маркер, позволяющий удостовериться в значении того или иного языкового выражения¹.

Предложенное Ладовым доказательство существования речи по всем параметрам должно выступить определяющей и отправной точкой к преодолению скептицизма. Если дополнить сформулированное Борисовым расширение решения проблемы Крипке до такого состояния, когда оно будет в силах обосновать факт понимания значения языкового выражения не только самим агентом речи, но и реципиентом, то философское сообщество обретет некоторый ориентир в борьбе со скептицизмом. Мы предполагаем, что упомянутое расширение прямого решения проблемы Крипке, скорее всего, будет содержать указание на некоторый объективный факт, в соответствии с которым при наиболее оптимистичных взглядах появится возможность маркировать следование тем или иным правилам как «верное/неверное» (или хотя бы некоторым правилам, в случае сдержанного оптимизма).

Список литературы

Айер, 2007 – Айер А. Может ли существовать индивидуальный язык? / Пер. Н.А. Тарабанова под ред. В.А. Суровцева // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2007. № 1 (1). С. 102–111.

Андрушкевич, 2023 – Андрушкевич А.Г. Реальное следование конститутивным правилам // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 76. С. 5–10.

Борисов, 2024 – Борисов Е.В. Прямое решение проблемы Крипке // Эпистемология и философия науки. 2024. Т. 61. № 2. С. 23–32.

Карнап, 2006 – Карнап Р. О протокольных предложениях // Эпистемология и философия науки. 2006. Т. 7. № 1. С. 219–231.

Ладов, 2023 – Ладов В.А. Иллюзия значения. Проблема следования правилу в аналитической философии. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023. 336 с.

Суровцев, Ладов, 2008 – Суровцев В.А., Ладов В.А. Витгенштейн и Крипке: следование правилу, скептический аргумент и точка зрения сообщества. Томск: ТГУ, 2008. 134 с.

Якобсон, 1975 – Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против» / Под ред. Е. Я. Басина, М. Я. Полякова. М., 1975. С. 193–230.

¹ Первые соображения на этот счет представлены в [Андрушкевич, 2023].



References

Ayer, 2007 – Ayer A. “Mojet li sushestvovat’ individualniy yazik?” [Can There Be a Private Language?], *Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*, 2007, no. 1 (1), pp. 102–111. (Trans. into Russian)

Andrushkevich, 2023 – Andrushkevich, A.G. “Realnoe sledovanie konstitutivnym pravilam” [Realistic Following Constitutional Rules], *Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*, 2023, no. 76, pp. 5–10. (In Russian)

Borisov, 2024 – Borisov, E.V. “Pryamoe reshenie problemy Kripke” [A Straight Solution to Kripke’s problem], *Epistemology & Philosophy of Science*, 2023, vol. 61, no. 2, pp. 23–32. (In Russian).

Carnap, 2006 – Carnap, R. “O protocol’niys predlozeniyakh” [About Protocol Sentence]. *Epistemology & Philosophy of Science*, 2006, vol. 7, no. 1, pp. 219–231. (Trans. into Russian)

Jakobson, 1975 – Jakobson, R. “Lingvistika i poetika” [Linguistics and Poetics], *Strukturalizm: “za” i “protiv”* [Structuralism: “for” and “against”]. Moscow, 1975, pp. 193–230. (In Russian)

Kripke, 1982 – Kripke, S. *Wittgenstein on Rules and Private Language. An Elementary Exposition*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982.

Ladov, 2023 – Ladov, V.A. *Illyuziya znacheniya* [The Illusion of Meaning]. Moscow: Kanon+, 2023. (In Russian)

Petit, 1990 – Petit, P. “The Reality of Rule-following”, *Mind*, January 1990, Vol. XCIX, no. 393, pp. 1–21.

Surovtsev, V.A., Ladov, V.A. *Vitgenshteyn i Kripke: sledovaniye pravilu. Skepticheskiy argument i tochka zreniya soobshchestva* [Wittgenstein and Kripke: Rule-Following. Skeptical Argument and Community’s Point of View]. Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta, 2008. (In Russian)

ОПЫТ ИНТУИТИВНОГО ПОНИМАНИЯ РЕЧИ КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КРИПКЕ*

**Золотков Григорий
Алексеевич** – кандидат
философских наук,
старший преподаватель.
Финансовый университет
при Правительстве
Российской Федерации.
Российская Федерация,
125167, г. Москва,
Ленинградский пр.,
д. 49/2.
Старший-исследователь.
Национальный
исследовательский
университет
«Высшая школа экономики».
Российская Федерация,
101000, г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 20;
e-mail: [zolotkov_grigory@
mail.ru](mailto:zolotkov_grigory@mail.ru)

В статье рассматривается предложенное Е.В. Борисовым решение скептической проблемы С. Крипке относительно значения. Показывается, что в основу этого решения положена гипотеза о существовании т.н. «интроспекции₂» – интуитивного знания значений, которое составляет неотъемлемую часть речевых актов, непосредственно дано нам, а также не является источником эмпирических фактов. Автор настоящей статьи согласен с тем, что интроспекция₂ может иметь большое значение для разработки проблемы Крипке. Тем не менее утверждается, что, во-первых, существование данного феномена может быть поставлено под сомнение, а во-вторых, будучи доказано, оно свидетельствовало бы о верности не прямого, как полагает Е.В. Борисов, но скептического решения данной проблемы.

Ключевые слова: язык, значение, интроспекция, интуитивное понимание речи, скептицизм относительно значения, проблема Крипке

PHENOMENON OF INTUITIVE UNDERSTANDING OF SPEECH ACTS AS A SOLUTION TO KRIPKE'S PROBLEM

Grigory A. Zolotkov –
PhD in Philosophy,
Senior Lecturer.
Financial University under
the Government
of the Russian Federation.
49/2 Leningradsky Av.,
Moscow 125167,
Russian Federation.
Research Assistant.
HSE University.
20 Myasnitkaya St., Moscow
101000, Russian Federation;
e-mail: [zolotkov_grigory@
mail.ru](mailto:zolotkov_grigory@mail.ru)

The paper discusses a solution to Kripke's skeptical problem proposed by E.V. Borisov. It shows that this solution is based on the idea of "introspection₂", i.e. intuitive knowledge of meaning, which: a) is an essential part of a speech act, b) is given in our immediate experience and c) doesn't form a source of empirical facts. The author of the paper admits the significance of the proposed idea for the discussion of the skeptical problem. Nevertheless, he argues that: 1) as a point of the discussion the idea of introspection₂ needs to be established more extensively; 2) this idea reinforces not a straight solution of the problem, but skeptical.

Keywords: language, meaning, introspection, intuitive understanding of speech acts, meaning skepticism, Kripke's problem

* Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.



В своей статье Е.В. Борисов попытался обосновать достаточно любопытное решение проблемы С. Крипке. Прежде чем мы обратимся к нему, приведем предложенную исследователем формулировку этой проблемы: «...для любого агента, любого выражения и любого речевого акта не существует фактов, которые позволяли бы однозначно установить значение, которым данный агент наделяет данное выражение в данном речевом акте» [Борисов, 2024, с. 26]. Следует отметить, что, хотя на роль отрицаемых здесь фактов могут претендовать самые разные их виды, наиболее подходящими являются лингвистические (т.е. языковые правила) и ментальные (т.е. феномены нашего сознания). При этом отрицание последних является более фундаментальным. Действительно, возьмем постановку скептической проблемы в перспективе следования правилу: «Проблема состоит в том, что мы не способны зафиксировать то правило, которому должны следовать при употреблении языкового выражения» [Ладов, 2023, с. 161]; «проблема... трансформируется в констатацию: все правила недоопределенны» [Борисов, 2010, с. 7]. Несмотря на то, что здесь скептицизм связывается с такими недостатками лингвистических фактов, как нефиксируемость и хроническая недоопределенность, эти недостатки все же не являются чем-то безусловным. В конечном итоге они вызваны отсутствием у нас *«специфического внутреннего опыта»*, соответствующего *«следованию правилу»* (курсив мой. – Г.З.)» [Грязнов, 2009, с. 87]. Иными словами, сумей кто-то доказать, что в нашем сознании есть феномены, сопутствующие наделению знаков значением, возможность лингвистических фактов также получила бы обоснование.

По-видимому, ставя перед собой именно эту задачу, Е.В. Борисов попытался обозначить в нашей внутренней жизни такие ментальные факты, которые бы фиксировали значение. В качестве феномена, позволяющего сделать это, он предложил интуитивное понимание речи, или т.н. «интроспекцию₂». К сожалению, однако, в статье Е.В. Борисова данный феномен получил лишь беглое описание, из-за чего может показаться излишне абстрактным. Попытаемся придать ему большую содержательность и поразмышляем над тем, что конкретно под ним должно пониматься. Так, можно заметить, что в процессе речи нам необязательно следить за тем, чтобы высказывания наделялись значением по правилам. Подобно тому, как при пении, ходьбе или езде на велосипеде мы направляем внимание не на само действие, но, скорее, на его результат, при ведении разговора мы также можем сосредоточиться на своих устремлениях, предоставив труд по конструированию отдельных фраз автоматизму речевых актов. При этом постфактум мы оказываемся способны констатировать, что наделение высказываний значением имело место. Более того, поскольку подобное наделение высказываний значением совершается от первого лица и является спонтанным, то оно оказывается дано



нам непосредственно и не нуждается в опоре на интерпретацию каких-либо эмпирических положений. При этом, хотя в конкретной ситуации фиксируемое значение может оказаться ложным, оно будет дано нам с той же непосредственностью, что и истинное.

Описав интроспекцию₂ подобным образом, перечислим ее основные характеристики, выделяемые Е.В. Борисовым: а) она представляет собой знание о значениях; б) она является неотъемлемой частью речевого акта; в) она не является источником эмпирических фактов, а потому не подвержена интерпретации; г) она не предполагает, что агент наблюдает за процессом наделения своих слов значением [Борисов, 2024]. Взятые вместе, эти характеристики образуют познавательный опыт, крайне интересный для философской рефлексии. Тем не менее сама попытка Е.В. Борисова решить с помощью этого опыта проблему Крипке, на наш взгляд, допускает некоторые возражения.

Прежде всего, интроспекция₂ не вполне легитимна как аргумент. Согласно заявленным характеристикам, она хотя и дана нам непосредственно, в объектив умозрения никогда не попадает. Она всегда остается как бы за кадром, что ставит вопрос о ее наличии. По всей видимости, Е.В. Борисов признаёт гипотетический характер интроспекции₂, когда отмечает, что речь идет о «*допущении* непосредственного и достоверного знания агентом значений (курсив мой. – Г.З.)» [Там же, с. 28]. Действительно ли за допущением данного знания стоит реальная сущность? Справедливо ли трактовать интроспекцию₂ как необходимую часть речевого акта? Главным аргументом, приводимым в пользу утвердительного ответа, является то, что, поскольку предшествующие употреблению высказывания не гарантируют нам знание его значения, эту уверенность нам должен сообщить какой-то другой источник. Тем не менее то, что интроспекция₂ способна выступить этим источником, несложно поставить под сомнение. Уже сам факт возможности говорить о ней только в прошедшем времени является достаточно веским основанием для скепсиса. Кроме того, если данное выше истолкование интроспекции₂ верно, то получается, что наше осмысленное речевое поведение полностью сводится к практике спонтанного наделения знаков значением. Это, однако, представляется контринтуитивным, поскольку, говоря на языке, мы все же достаточно часто сверяемся с предшествующими употреблением и правилами.

Впрочем, ретроспективное восприятие феномена не является исчерпывающим аргументом против его существования, и косвенное обоснование интроспекции₂ представляется вполне вероятным. Если это будет сделано, то данный феномен, скорее всего, сыграет важную роль в решении проблемы Крипке. Тем не менее, на наш взгляд, решения, полученные с его помощью, будут иметь иной, нежели полагает Е.В. Борисов, характер. Так, если скептический



подход стремится зафиксировать принципиальную неоднозначность языка, а прямые решения, будучи реакцией на подобный вызов, призваны продемонстрировать возможность безусловного знания, то феномен интроспекции₂ окажется аргументом в пользу первой и невозможности второй. Образно выражаясь, опыт интуитивного понимания значения свидетельствовал бы в пользу того, что линейки из очень мягкой резины как стандарт точности не уступают твердым [Витгенштейн, 1994, §5], и, напротив, что ошибочно связывать факт производства линеек из дерева и стали с самой природой измерения. Чтобы продемонстрировать это, рассмотрим два следующих размышления.

а) *Возможность мнимых значений в рамках интроспекции₂*. Следует отметить, что одним из принципиальных условий успешности предложенного Е.В. Борисовым решения является способность интроспекции₂ безошибочно констатировать наличие знания значения. Действительно, если интуитивное понимание стабильно и в принципе никогда не обманывает нас, то скептический тезис будет полностью опровергнут. Не останется лазеек, позволяющих скептику высказывать сомнения в возможности как минимум этого типа знания. Напротив, позиция скептика не будет сколько-нибудь поколеблена, если в рамках интроспекции₂ окажется возможна мнимая фиксация значений. В этом случае скептик просто заблокирует ссылки на интуитивное знание, вполне справедливо указав на его способность порождать миражи.

Следует отметить, что мнимые значения не являются чем-то невозможным. Более того, они вполне обыкновенная часть нашей жизни. Действительно, мы часто впадаем в заблуждение относительно содержательности наших мыслей. Например, нам кажется, что нас посетила важная идея. Мы тут же записываем ее в блокнот. Мы перечитываем ее, однако, к своему удивлению, обнаруживаем, что данная идея не только не была важна, но даже не имеет права называться идеей, при внимательном рассмотрении оборачиваясь бессодержательным набором слов. Причиной тому может быть наша непоследовательность, невнимательность, лингвистические путаницы и т.д. В таких случаях значение, только что казавшееся ясным и точным, в действительности оказывается миражом, иллюзией значения. Если описанная ситуация действительно возможна, то интуитивное знание нельзя назвать безукоризненным гарантом значения. Следовательно, указание на опыт интуитивного понимания речи, по сути, лишь дополнит сомнения скептика.

б) *Интроспекция₂ может быть интерпретирована как коллективный феномен*. В своей статье Е.В. Борисов обсуждает речевые акты исключительно в рамках опыта отдельного агента, не рассматривая язык как средство общения между людьми. В результате интроспекция₂ осмысливается им исключительно как факт, ограниченный



рамками сознания отдельного носителя языка. Следует подчеркнуть, однако, что рассмотрение речевого акта как способа общения между людьми способно внести существенные коррективы в истолкование данного феномена. Последний окажется не просто фактом сознания индивида, но составной частью более сложного процесса. Так, представим, что мы анализируем действия футболиста одной из команд при том условии, что видим только его. В данных рамках мы не получим полноценных представлений о том, что именно делает игрок. Чтобы провести удовлетворительный анализ, нам потребовалась бы возможность наблюдать за его взаимодействиями с другими игроками. Это же можно сказать и в отношении интроспекции₂. Рассматривая ее как элемент только лишь внутренней жизни индивида, мы упускаем характерный для интуитивного понимания речи аспект, который можно сравнить с чувством локтя. Действительно, спонтанно наделяя слова значением в рамках речевого акта, мы всегда ведем беседу, даже если это и диалог с самим собой. Таким образом, поскольку интроспекция₂ несводима к содержанию сознания одного носителя языка, ее можно истолковать как коллективный феномен. В этом случае она будет являться аргументом в пользу позиции сообщества.

Подытожим высказанные нами соображения о решении проблемы С. Крипке, предложенном Е.В. Борисовым. Во-первых, интроспекция₂, будучи воспринимаемой ретроспективным образом, ставит под сомнение корректность ссылок на нее. Во-вторых, она является аргументом в пользу скептического, а не прямого решения, поскольку а) допускает возможность ошибочной фиксации значения, а также б) может быть истолкована как процесс, являющийся по своей сути коллективным. Тем самым попытка представить данный феномен как фундамент для наших стандартов мышления приводит нас к скептическим выводам, согласно которым, например, прочность наших линеек оказывается обусловлена не вопросами точности, но распространенной практикой.

Список литературы

- Борисов, 2010 – *Борисов Е.В.* Проблема Крипке и ее прямое решение // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2010. Т. 4. № 12. С. 5–14.
- Борисов, 2024 – *Борисов Е.В.* Прямое решение проблемы Крипке // Эпистемология и философия науки. 2024. Т. 61. № 2. С. 23–32.
- Витгенштейн, 1994 – *Витгенштейн Л.* Заметки по основаниям математики // *Витгенштейн Л.* Философские работы. Ч. II / Пер. с нем. М.С. Козловой, Ю.А. Асеева. М.: Гнозис, 1994. С. 1–206.



Грязнов, 2009 – Грязнов А.Ф. Язык и деятельность: Критический анализ витгенштейнианства. 2-е изд., доп. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 152 с.

Ладов, 2023 – Ладов В.А. Иллюзия значения. Проблема следования правилу в аналитической философии. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023. 336 с.

References

Borisov, 2010 – Borisov, E.V. “Problema Kripke i ejo pryamoe reshenie” [Kripke’s Problem and its Straight Solution]. *Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*, 2010, vol. 4, no. 12, pp. 5–14. (In Russian).

Borisov, 2024 – Borisov, E.V. “Pryamoe reshenie problemy Kripke” [A Straight Solution to Kripke’s problem]. *Epistemology & Philosophy of Science*, 2023, vol. 61, no. 2, pp. 23–32. (In Russian)

Grjaznov, 2009 – Grjaznov, A.F. *Jazyk i dejatel’nost’: Kriticheskij analiz vitgen-shtejniansva* [Language and Activity: A Critical Analysis of Wittgensteinism]. Moscow: Knizhnyy dom LIBROKOM, 2009. (In Russian)

Ladov, 2023 – Ladov, V.A. *Illyuziya znacheniya: Problema sledovaniya pravilu v analiticheskoy filosofii* [The Illusion of Meaning: The Rule-Following Problem in Analytic Philosophy]. Moscow: Kanon+, 2023. (In Russian)

Wittgenstein, 1994 – Wittgenstein, L. “Zametki po osnovanijam matematiki” [Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik], in: Wittgenstein, L. *Filosofskie raboty. Vol. 2* [Philosophical Works. Part 2]. Moscow: Gnozis, 1994, pp. 1–206. (Trans. into Russian)

СПОРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЯМОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ КРИПКЕ

Олейник Полина Ивановна – кандидат философских наук, старший научный сотрудник. Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук. Российская Федерация, 634055, г. Томск, пр. Академический, д. 10/4; e-mail: polina-grigorenko@mail.ru

Рассматривается прямое решение скептической проблемы С. Крипке, предлагаемое Е.В. Борисовым. В качестве главного допущения аргументации прямого решения выступает тезис о возможности знания значений. В статье показана необходимость доопределения используемых в аргументации терминов, в частности понятия интроспекции.

Ключевые слова: значение, интроспекция, прямое решение проблемы Крипке

CONTROVERSIAL ASPECTS OF A STRAIGHT SOLUTION TO KRIPKE'S PROBLEM

Polina I. Oleinik – PhD in Philosophy, Senior Researcher. Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Science. 10/4 Akademicheskoy Ave., Tomsk 634055, Russian Federation; e-mail: polina-grigorenko@mail.ru

A straight solution to S. Kripke's skeptical problem, proposed by E.V. Borisov, is considered. The main assumption of the argumentation of a straight solution is the thesis about the possibility of knowing meanings. The article shows the need to further define the terms used in the argumentation, in particular the concept of introspection.

Keywords: meaning, introspection, straight solution to Kripke's problem

С. Крипке в своей работе «Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке» [Крипке, 2010] представляет специфическую постановку проблемы следования правилу, ставящую под сомнение возможность знания значений. Несмотря на то, что работа также включала скептическое решение, призванное показать, что мы можем жить с этим затруднением, вывод Крипке – Витгенштейна (или Крипкенштейна) многим показался неприемлемым. В силу этого многие философы и исследователи предпринимают попытки найти прямое решение скептического тезиса Крипке, опровергающее скептическую аргументацию, и утверждают, что существует или даже должен существовать аргумент в пользу вывода о возможности определения критериев правильности языкового поведения. Свое предложение о прямом решении выдвигает Е.В. Борисов [Борисов, 2024].



Во многом построение аргументации предлагаемого прямого решения скептицизма относительно значения стало возможным благодаря выдвигаемому В.А. Ладовым «умеренному» решению указанной проблемы [Ладов, 2023]. Блокировка умеренным решением возможности формулирования тотального скептицизма определяет не только потенциальную возможность, но и необходимость ответа на вопрос, как возможно знание значений и каковы пределы этого знания. Борисов предлагает «усилить» умеренное решение Ладова. Вместе с тем, как видится, прямое решение, предлагаемое Борисовым, не продолжает линию умеренного решения, скорее, умеренное решение предоставляет теоретическое подспорье для формулирования прямого решения. Аргументация, выдвигаемая Борисовым, приводит к важным выводам, однако не совсем ясно, как она способна усилить непосредственно следствие формулируемого Ладовым перформативного противоречия, которое является основанием для ограничения тотального скептицизма. Поэтому видится не совсем корректным называть прямое решение усилением умеренного.

Вывод, сделанный в ходе аргументации прямого решения, заключается в том, что «в определенных пределах мы – агенты речи – имеем достоверное знание о значениях, которыми наделяем собственные слова» [Борисов, 2024, с. 31]. Этот вывод кажется полностью соответствующим ограниченному скептицизму и сообразным имплицитному пониманию самой концепции речи большинством ее агентов, вместе с тем возникает ряд вопросов, требующих отдельного рассмотрения.

Так, аргументация прямого решения выстраивается на основании двух допущений о том, что агент речи «1) наделяет свои слова значениями, 2) достоверно знает, какими значениями он наделяет свои слова» [Там же, с. 27]. Второе допущение, несмотря на его очевидную интуитивную привлекательность, кажется достаточно сильным и требует формулирования дополнительных оснований для принятия, которые не приводятся в исследовании. Борисов определяет знание значений через понятие интроспекции. При этом принимаемое понятие интроспекции (в работе Борисова обозначаемое как интроспекция₂) не связано с интерпретацией речевого поведения и не является источником эмпирических фактов, в силу чего не подпадает под критику скептического тезиса Крипке. Вместе с тем само понятие интроспекции кажется недоопределенным. Кроме отрицательных дефиниций, Борисов определяет интроспекцию так: «знание о значениях как составная часть речевого акта» [Там же, с. 28], однако оставляет это определение без других положительных пояснений, ставя акцент на том, что данный вид интроспекции не имеет эмпирического основания. В силу очевидных фактов, в статье не поднимаются все дискуссионные вопросы вокруг проблемы индивидуального языка, вместе с тем они имеют большое значение при



обсуждении данного вопроса. И понятие интроспекции, как видится, требует большего пояснения. Сам Крипке делает следующее замечание по поводу термина: «используя термин “интроспективный”, я не загружаю его философским содержанием. Конечно, многое из того багажа, который сопровождал этот термин, должно вызывать, в частности у Витгенштейна, возражения. Я просто имею в виду, что в своих соображениях он обращается к нашим собственным воспоминаниям и познанию наших “внутренних” переживаний» [Крипке, 2010, с. 21]. Возможно, использование Борисовым этого термина также не предполагает обращение к «сопровождающему его багажу» и достаточно пояснения о том, что в представленной аргументации прямого решения мы исключаем из понятия интроспекции эмпирические данные. Однако философские проблемы интроспекции как метода познания активно обсуждаются в современной аналитической философии сознания, и наличие большого количества определений интроспекции и соответствующие проблемы в связи с принятием того или иного определения, как показывается в работе «Интроспекция: современные подходы и проблемы» [Беседин и др., 2021], определяют необходимость доопределения используемого термина. Возможно, используемое понятие интроспекции перекликается с понятием субрациональности, предлагаемым К. Райтом для объяснения возможностей языковых практик: «Мы приобретаем способность участия в (языковой. – П.О.) практике, и в такое приобретение вносят вклад не только наши рациональные способности, но также и субрациональная природа нашего мышления. Райт рассматривает эту субрациональную природу как определенную естественную склонность человека поддерживать определенные структуры суждения и его реакции на них» [Целищев, 2002, с. 170]. Это требует дополнительного пояснения.

Обратимся к самому тезису о том, что агент «достоверно знает, какими значениями он наделяет свои слова» [Борисов, 2024, с. 27]. Вслед за Крипке Борисов обращается к анализу сложения и т.н. «квожения». В качестве примера берется бинарная операция сложения натуральных чисел 57 и 68 с уточнением, что числа, ранее суммируемые агентом речи, меньше 57, то есть суммирование данной пары отсутствует в прежнем опыте агента речи. Решение проблемы определения сложения и квожения в работе Борисова «Проблема Крипке и ее прямое решение» [Борисов, 2010] опирается на аксиоматику Пеано: «Тезис состоит в том, что эта аксиоматика позволяет дать универсальное и потому не-фактуальное (независимое от эмпирического опыта) определение сложения – описание алгоритма вычисления суммы для любой пары чисел» [Там же, с. 12]. Применение аксиоматики Пеано позволяет получить такое определение операции сложения, которое определяет результат его применения к любой паре чисел. Таким образом, Борисов заключает: «Мое утверждение



“ $68+57=125$ ” вполне обосновано тем значением, которое я придаю знаку “+” и которое мне известно» [Борисов, 2024, с. 29]. В данном примере рассматривается операция сложения натуральных чисел. Обращение к натуральным числам кажется здесь очень уместным и наглядным для демонстрации аргументов о возможности знания агентом значения употребляемых слов. Принцип построения натурального ряда чисел является действительно уникальным примером, с помощью которого возможна демонстрация использования универсального дефиниторного правила. Как отметил Н. Теннант: «Кронекер был неправ! Неверно, что Бог создал целые числа, а все остальное – творение рук человеческих. Бог должен был дать нам только 0. <...> Человек сделает все остальное» [Целищев, 2003, с. 227]. Действительно, операция сложения может быть однозначно определена, если дано множество натуральных чисел, содержащее 0 и построенное посредством функции «следующее за». Пример, используемый Крипке, содержит небольшие числа, однако его анализ Борисовым распространяется и на любые самые большие числа в силу знания (действительно, не всегда эксплицитного) принципа порождения натурального ряда чисел агентом речи. В качестве примера можно привести ученика, владеющего операцией сложения. Встретив пример с десятизначными и даже двадцатизначными числами, он будет знать, как их сложить. Даже не зная названия чисел, он сможет осуществить эту операцию, что соответствует выдвигаемым Борисовым положениям. Интересно рассмотрение более сложного примера. Представим, что этот ученик, перелистнув вперед несколько десятков страниц в учебнике по математике, сталкивается с выражением, содержащим сложение ранее неизвестных ему отрицательных чисел, возьмем для примера $57 + -68 = -11$. Ученик в совершенстве усвоил понимание сложения, однако интересен вопрос, действительно ли он знает, каким значением наделяет слово «плюс» в этом примере, когда, к примеру, обращается к учителю с вопросом, как быть с таким примером. Несомненно, можно указать на то, что в примере Крипке речь идет о сложении натуральных чисел (это уточняет и Борисов), в то время как второй пример содержит сложение целых чисел. И знание правил сложения натуральных чисел не включает в себя знание сложения целых чисел. Однако агент речи из второго примера, ученик, не употребляет сложение как неизвестный термин, имея о нем определенное знание. Вместе с тем его значение недоступно ему в том же смысле, что и в примере $57+68$. При рассмотрении примера Крипке Борисов продемонстрировал, что сложение остается тем же сложением, несмотря на то, что эта операция проводится с числами, с которыми не проводилась ранее данным агентом речи, и это обусловлено не только умением пользоваться операцией сложения, но и особенностями натурального ряда чисел. Предложенное Борисовым прямое решение применительно к значению операции «сложение»



является полностью удовлетворительным. Интерес представляет возможность определения значений в других примерах, лишенных возможностей и преимуществ, предоставляемых уникальными особенностями натурального ряда чисел.

Предложенное Борисовым прямое решение последовательно и представляет большой интерес для дальнейшей разработки указанной проблемы. Принятие в качестве допущения тезиса, согласно которому агент речи имеет знание значений, которыми он наделяет свои слова, как видится, нуждается в более подробном обсуждении. Предложенный Борисовым ход аргументации кажется эксплицитным выражением интуитивного понимания речи любого, не поддерживающего тотальный скептицизм. Как справедливо отмечается в статье, «у скептика Крипке есть ответ на такие аргументы» [Борисов, 2024, с. 30]. Борисов показывает, что этот ответ может быть блокирован предложенным Ладовым умеренным решением, согласно которому тотальный скептицизм не может быть высказан без перформативного противоречия. Однако кажется, что тотальный скептицизм всегда может сделать «еще один ход», поставив под сомнение тот факт, что сторонник решения скептического вопроса смог понять сам тезис скептицизма для того, чтобы высказать решение этого затруднения.

Список литературы

Беседин и др., 2021 – Беседин А.П., Волков Д.Б., Кузнецов А.В., Логинов Е.В., Мерцалов А.В. Интроспекция: современные подходы и проблемы // Эпистемология и философия науки. 2021. Т. 58. № 2. С. 195–215.

Борисов, 2010 – Борисов Е.В. Проблема Крипке и ее прямое решение // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2010. № 4 (12). С. 5–14.

Борисов, 2024 – Борисов Е.В. Прямое решение проблемы Крипке // Эпистемология и философия науки. 2024. Т. 61. № 2. С. 23–32.

Крипке, 2010 – Крипке С. Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке / Пер. В.А. Ладова и В.А. Суровцева под общ. ред. В.А. Суровцева. М.: Канон+, 2010. 151 с.

Ладов, 2023 – Ладов В.А. Иллюзия значения. Проблема следования правилу в аналитической философии. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023. 336 с.

Целищев, 2002 – Целищев В.В. Философия математики. Ч. 1. Новосибирск: Наука, 2002. 212 с.

Целищев, 2003 – Целищев В.В. Онтология математики: объекты и структуры. Новосибирск: Nonparel, 2003. 240 с.



References

Besedin, Volkov, Kuznetsov, Loginov, Mertsalov, 2021 – Besedin, A.P., Volkov, D.V., Kuznetsov, A.V., Loginov, E.V., Mertsalov, A.V. “Introspekciya: sovremennye podhody i problemy” [Introspection: Contemporary Problems and Approaches], *Epistemology & Philosophy of Science*, 2021, vol. 58, no. 2, pp. 195–215.

Borisov, 2010 – Borisov, E.V. “Problema Kripke i ee pryamoe reshenie” [Kripke’s Problem and its Straight Solution], *Tomsk State University Journal Of Philosophy Sociology And Political Science*, 2010, pp. 5–14. (In Russian)

Borisov, 2024 – Borisov, E.V. “Pryamoe reshenie problemy Kripke” [A Straight Solution to Kripke’s Problem], *Epistemology & Philosophy of Science*, 2023, Vol. 61, no. 2, pp. 23–32. (In Russian)

Ladov, 2023 – Ladov, V.A. *Illyuziya znacheniya: Problema sledovaniya pravilu v analiticheskoy filosofii* [The Illusion of Meaning: The Rule-Following Problem in Analytic Philosophy]. Moscow: Kanon+, 2023. (In Russian)

Kripke, 2010 – Kripke, S. *Vitgenshtein o pravilakh i individual’nom jazyke* [Wittgenstein on Rules and Private Language], trans. by V.A. Ladov and V.A. Surovtsev. Moscow: Kanon+, 2010, pp. 206–254. (Trans. into Russian)

Tselishchev, 2002 – Tselishchev, V.V. *Filosofiya matematiki* [Philosophy of Mathematics]. Novosibirsk: Nauka, 2002.

Tselishchev, 2003 – Tselishchev, V.V. *Ontologiya matematiki* [Ontology of mathematics]. Novosibirsk: Nonparel, 2003.

ОТВЕТ ОППОНЕНТАМ*

Борисов Евгений

Васильевич – доктор философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник. Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук. Российская Федерация, 634055, г. Томск, пр. Академический, 10/4. Национальный исследовательский Томский государственный университет. Российская Федерация, 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 36; e-mail: borisov.evgeny@gmail.com

В статье представлено холистическое понятие речевого акта и показана его значимость для прямого решения проблемы Крипке. Кроме того, дан ответ на ряд комментариев и возражений, представленных в репликах участников дискуссии.

Ключевые слова: значение, интерпретация, речевой акт, скептицизм относительно значения, Крипке, интроспекция, прямое решение проблемы Крипке

REPLY TO CRITICS

Evgeny V. Borisov –

DSc in Philosophy, Associate Professor, Leading Researcher. Tomsk Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Science. 10/4 Akademicheskoy Ave., Tomsk 634055, Russian Federation. National Research Tomsk State University. 36 Lenina Ave, Tomsk 634050, Russian Federation; e-mail: borisov.evgeny@gmail.com

The paper presents a holistic notion of speech act and demonstrates its relevance for the straight solution to Kripke's problem. Besides, the author replies to some comments and objections presented by the participants of the discussion.

Keywords: meaning, interpretation, speech act, meaning skepticism, Kripke, introspection, the straight solution to Kripke's problem

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00019, <https://rscf.ru/project/23-18-00019/>



Я признателен всем участникам дискуссии – А.Г. Андрушкевичу, Г.А. Золоткову, В.А. Ладову, А.В. Нехаеву, П.И. Олейник, В.А. Суровцеву и В.В. Целищеву – за стимулирующие комментарии и возражения. Все комментарии заслуживают детального обсуждения, которое в данной реплике невозможно в силу ограничений пространства и времени, но, я надеюсь, состоится в последующих публикациях участников. В данной реплике я дополню обоснование моего главного тезиса (о достоверности знания значений агентом речи) и коротко отвечу на некоторые из высказанных возражений.

Мой главный тезис состоял в том, что достоверное знание агентом речи значений, которыми он наделяет слова, входит в структуру речевого акта. Этот тезис мотивирован холистичной трактовкой речевого акта, которая означает, в частности, что приращение значений языковым выражениям и применение значений следует рассматривать не как разные акты, а как два аспекта одного акта. Например, когда агент изучает аксиоматическую арифметику, он усваивает значение термина «сложение» (и семейства родственных слов и знаков, таких как «сумма», «суммировать», «+» и т.д.) в контексте этой теории; при этом он осуществляет единый речевой акт, который включает в себя 1) освоение рекурсивного определения сложения (включая построение натурального ряда и аксиомы сложения), которое является значением термина «сложение» в данной теории, 2) применение этого определения, позволяющее вычислить сумму любых (с поправкой на ограниченность человеческих возможностей) двух натуральных чисел. Но применение значения предполагает его знание; в примере со сложением, чтобы вычислить сумму двух натуральных чисел, нужно знать метод построения натурального ряда и аксиомы сложения¹. Поэтому знание значения, которым агент наделяет знак, является неотъемлемой частью речевого акта. Это знание я назвал интроспекцией² (возможно, это не самый удачный термин, поскольку интроспекция в стандартном смысле – это вид эмпирического наблюдения, но то, что я называю интроспекцией², таковым не является).

¹ Это говорит также о холистичности значения: определить сложение можно только в контексте арифметической теории, включающей определенную логическую инфраструктуру. Поэтому я согласен с В.А. Суровцевым в том, что значение предполагает нечто вроде языкового каркаса в смысле Карнапа [Суровцев, 2024]. Это объясняет случай, который описывает П.И. Олейник [Олейник, 2024]: когда ученик, освоивший сложение положительных чисел, но не освоивший сложение целых чисел, не понимает равенства $57 + (-68) = -11$. Здесь дело в том, что термин «сложение» является омонимом: в контексте арифметики натуральных чисел и в контексте арифметики целых чисел он имеет разные значения, поскольку определяется на разных множествах и разными аксиомами. Поэтому недоумение ученика относительно приведенного равенства объясняется именно его незнанием значения «сложения» в контексте арифметики целых чисел.



Я согласен с В.А. Ладовым [Ладов, 2024] в том, что решение проблемы Крипке требует смены «концептуальной оптики», т.е. иного (по сравнению с крипкеанским) видения значения. Но что «не так» с оптикой скептика Крипке? На мой взгляд, главный дефект его оптики состоит в том, что он разделяет определение значения и его применение как разные акты. В свете этого разделения оказывается, что, прежде чем применить значение, следует *узнать*, как оно было определено: например, прежде чем вычислить сумму двух чисел, нужно узнать, каким значением мы наделили знак «+». Но узнать об этом можно, по мнению скептика, только посредством интерпретации эмпирических данных, что открывает простор для скептических упражнений в сочинении альтернативных интерпретаций. Если же определение и применение значения суть две составляющие единого речевого акта, нам нет нужды *узнавать*, как мы определили значение, прежде чем его применять: когда мы его применяем, мы его уже *знаем*, поскольку мы же его и определяем. Здесь важно то, что в свете предложенной мною трактовки речевого акта между значением и знанием о нем нет эпистемической дистанции: знание значения возникает вместе с его определением². Итак, если интроспекция₂ существует, то она обеспечивает достоверное знание агентом своих значений. А факт ее существования может быть продемонстрирован перформативно; кстати, сейчас я это и делаю³.

Сказанное позволяет ответить на предположение Ладова, согласно которому предложенное мною решение проблемы является не прямым, а умеренным. Согласно Ладову, чтобы решение было прямым, оно должно содержать ответ на следующие вопросы: «Как происходит

² В.В. Целищев и Г.А. Золотков ставят под сомнение надежность интроспекции₂ как источника знания о значениях [Целищев, 2024; Золотков, 2024]. Целищев обращает внимание на способность агента изменять собственное сознание. На мой взгляд, этот феномен не ставит под сомнение достоверность знания значений, но только указывает на тот факт, что агент может в разное время придавать знаку разные значения. Это совместимо с тезисом, что все эти значения известны агенту непосредственно и достоверно. Золотков обсуждает случай, когда агент делает запись, которую впоследствии находит лишенной значения. На мой взгляд, этот случай не является контрпримером для предложенного мной решения, поскольку это случай, когда речевой акт не состоялся: либо в момент записи агент не придал своим словам значения, либо в момент чтения он эти значения не использует.

³ Здесь я могу ответить на возражение А.В. Нехаева, который полагает, что мое рассуждение содержит порочный круг, поскольку я, по его мнению, пытаюсь доказать существование речевых актов, включающих знание значений, апеллируя к моим речевым актам как данности [Нехаев, 2024]. В самом деле: для меня мои речевые акты, включающие знание значений, – это данность, но именно поэтому я не пытаюсь доказать существование таких актов. Моя цель состоит в том, чтобы показать, что учет этой данности нейтрализует аргументацию скептика Крипке.



схватывание значений? Как осуществляется эта эпистемическая процедура? Если это не эмпирический процесс интерпретации фактов речевого поведения, то что это за опыт? И можно ли вообще познание значений назвать опытом? Как именно решается проблема доступа (the access problem) к объективным значениям, независимым от субъекта?» [Ладов, 2024, с. 48] Я не согласен с тем, что прямое решение должно отвечать на эти вопросы по следующим причинам: 1) Вопрос о «схватывании» значений как эпистемической процедуре не имеет ответа, потому что знание значений не является результатом какой-либо эпистемической процедуры. Эпистемические процедуры опосредуют данность объекта, но мой тезис состоит в том, что значения даны непосредственно. 2) Значения даны нам в речевых актах, в которых мы их определяем и применяем. Можно ли такого рода данность назвать опытом – это вопрос терминологических конвенций. 3) Являются ли значения «объективными» («независимыми от субъекта») – это отдельный вопрос, который зависит от содержания понятия объективности (независимости от субъекта). Если я правильно понимаю, Ладов считает, что прямое решение проблемы Крипке обязывает нас принять платонистическую онтологию значений, т.е. трактовку значений как в некотором смысле объективных сущностей (с этим тезисом солидарен Целищев). Мне этот тезис не кажется очевидным, и вопрос о том, обязывает ли предложенное мною прямое решение к платонизму относительно значений, для меня остается открытым. Как бы то ни было, постановка вопроса о «схватывании», «доступе», «эпистемических процедурах» и т.п. предполагает дистанцию между значением и его применением, поэтому, когда Ладов ставит этот вопрос, он использует крипкеанскую оптику; в этом я вижу непосредственность в его рассуждениях⁴.

В заключение отмечу ограниченность предложенного мной решения: как заметили некоторые участники дискуссии [Андрушкевич, 2024; Золотков, 2024; Суровцев, 2024], оно относится только к речи изолированного индивида и не затрагивает коммуникативный аспект языка. Возможно ли преодоление тотального крипкеанского скептицизма в коммуникативном измерении, т.е. относительно

⁴ В своем ответе [Ладов, 2024] Ладов утверждает, что он предложил прямое решение проблемы Крипке применительно к сложению в [Ладов, 2023, с. 310–312]. Для меня это утверждение прозвучало неожиданно, потому что в своей монографии Ладов представляет возможное возражение скептика [Там же, с. 312–314] и констатирует, что «скептическая аргументация (относительно сложения. – Е.В.) может быть с успехом возобновлена на новом, более радикальном уровне» [Там же, с. 315]. Это значит, что возражение Ладова относится только к локальному скептицизму относительно сложения, но не затрагивает тотального скептицизма, а значит, не является решением проблемы Крипке. Впрочем, если мое прочтение цитированного фрагмента его монографии неверно и Ладов представил именно прямое решение, я рад нашему согласию.



значений в речи другого? Думаю, это зависит от того, существуют ли коллективные речевые акты, включающие коллективное определение значений и, как следствие, коллективное знание о значениях. Для меня это открытый вопрос.

Список литературы

Андрушкевич, 2024 – Андрушкевич А.Г. Проблемы и перспективы одностороннего решения проблемы Крипке // Эпистемология и философия науки. 2024. Т. 61. № 2. С. 71–76.

Золотков, 2024 – Золотков Г.А. Опыт интуитивного понимания речи как решение проблемы Крипке // Эпистемология и философия науки. 2024. Т. 61. № 2. С. 77–82.

Ладов, 2023 – Ладов В.А. Иллюзия значения. Проблема следования правилу в аналитической философии. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023. 336 с.

Ладов, 2024 – Ладов В.А. Значение: реализм vs скептицизм // Эпистемология и философия науки. 2024. Т. 61. № 2. С. 43–50.

Нехаев, 2024 – Нехаев А.В. Злой демон Крипке, картезианская семантика и эпистемическая супервентность // Эпистемология и философия науки. 2024. Т. 61. № 2. С. 60–70.

Олейник, 2024 – Олейник П.И. Спорные аспекты прямого решения проблемы Крипке // Эпистемология и философия науки. 2024. Т. 61. № 2. С. 83–88.

Суровцев, 2024 – Суровцев В.А. Скептицизм, прямое решение и языковые каркасы // Эпистемология и философия науки. 2024. Т. 61. № 2. С. 51–59.

Целищев, 2024 – Целищев В.В. Препятствия на пути прямого решения через прямой доступ к сознанию // Эпистемология и философия науки. 2024. Т. 61. № 2. С. 33–42.

References

Andrushkevich, 2024 – Andrushkevich, A.G. “Problemy i perspektivy odnostonnogo reshenija problemy Kripke” [Problems and Prospects for a One-sided Solution to Kripke’s Problem], *Epistemology & Philosophy of Science*, 2024, vol. 61, no. 2, pp. 71–76. (In Russian)

Ladov, 2023 – Ladov, V.A. *Illyuziya znacheniya: Problema sledovaniya pravilu v analiticheskoy filosofii* [The Illusion of Meaning: The Rule-Following Problem in Analytic Philosophy]. Moscow: Kanon+, 2023, 336 p.

Ladov, 2024 – Ladov, V.A. “Znachenije: realizm vs skeptitsizm” [Meaning: Realism vs Skepticism], *Epistemology & Philosophy of Science*, 2024, vol. 61, no. 2, pp. 43–50. (In Russian)

Nekhaev, 2024 – Nekhaev, A.V. “Zloj demon Kripke, kartezianskaja semantika i epistemicheskaja superventnost’” [Kripke’s Evil Demon, Cartesian Semantics and



Epistemic Supervenience], *Epistemology & Philosophy of Science*, 2024, vol. 61, no. 2, pp. 60–70. (In Russian)

Oleinik, 2024 – Oleinik, P.I. “Spornye aspekty prjamogo reshenija problemy Kripke” [Controversial Aspects of a Straight Solution to Kripke’s problem], *Epistemology & Philosophy of Science*, 2024, vol. 61, no. 2, pp. 83–88. (In Russian)

Surovtsev, 2024 – Surovtsev, V.A. “Skeptitsizm, prjamoe reshenije i jazykovye karkasy” [Skepticism, Straight Solution and Linguistic Frameworks], *Epistemology & Philosophy of Science*, 2024, vol. 61, no. 2, pp. 51–59. (In Russian)

Tselishchev, 2024 – Tselishchev, V.V. “Prepjatstvija na puti prjamogo reshenija cherez prjamoj dostup k soznaniju” [Obstacles to a Direct Solution Through Direct Access to Consciousness], *Epistemology & Philosophy of Science*, 2024, vol. 61, no. 2, pp. 33–42. (In Russian)

Zolotkov, 2024 – Zolotkov, G.A. “Opyt intuitivnogo ponimaniya rechi kak reshenije problemy Kripke” [Phenomenon of Intuitive Understanding of Speech Acts as a Solution to Kripke’s Problem], *Epistemology & Philosophy of Science*, 2024, vol. 61, no. 2, pp. 77–82. (In Russian)

ИСТИНА И АФФЕКТ*

Микиртурмов Иван Борисович – доктор философских наук, заведующий лабораторией критической теории культуры факультета «Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург), Российская Федерация, 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 16; e-mail: imikirtumov@hse.ru



Идею экзистенциального поворота в философии науки, представленную Ильей Касавиным и Владимиром Порусом в их недавней статье, я сопоставляю с проблематикой кризиса рациональности и культуры и с оппозицией профессии и призвания из речи Макса Вебера о политике. Я предлагаю анализ структуры призвания политика и ученого как аффектов особого рода. Для этого я привлекаю анализ Жаком Лаканом истерии. Мои выводы состоят в том, что аффект призвания по своей структуре воспроизводит истерию. Это значит, что ученый стремится показать, что истина существует, стремится принудить других людей признать этот факт и подчиниться науке как единственной адекватной форме мировоззрения. Пока сделать этого не удастся, ученый придает своим отношениям с сообществом характер служения высшей инстанции. При этом он жаждет инверсии этого служения, т.е. перехода к власти через признание. Отсюда следует, что научные исследования никогда не будут ограничены изнутри науки, сколь бы опасными они ни были. Экзистенциальный выбор в науке – это выбор между преследованием истины в естествознании и точных науках и поддержанием устойчивости культуры в социально-гуманитарном знании. Последнее, в разрез с Вебером, всегда переплетено с политикой. Первое, напротив, не политично, но аффективно. Это позволяет по-новому увидеть определение признания к науке, которое дает Касавин. В центре «когнитивно-экзистенциальной настроенности» на поиск истины доминирует аффект, двигателем которого является истерия, а в его базовых установках истина и ученый радикально противопоставлены правдоподобию и профану.

Ключевые слова: наука, истина, истерия, Макс Вебер, Илья Касавин

TRUTH AND AFFECT

Ivan B. Mikirtumov – DS in Philosophy, Chief of the Laboratory of Critical Theory of Culture, St. Petersburg School of Humanities and Arts, HSE University–St. Petersburg, 16 Soya Pechatnikov St., Saint Petersburg 190121, Russian Federation; e-mail: imikirtumov@hse.ru

I connect the idea of an existential turn in philosophical science, presented by Ilya Kasavin and Vladimir Porus in their recent article, with the problem of rationality and culture crisis, as well as the opposition of profession and vocation in Max Weber's famous speech on politics. I offer an analysis of the structure of vocation to politics and to science as affects of a special kind. To do this, I draw on Jacques Lacan's analysis of hysteria. My conclusions are that the structure of a target affect coincides to that of hysteria. This means that scientist tries to show that the truth exists, seeks to force other people to recognize this fact and submit to science as an only acceptable form of worldview. Until this can be done, the scientist gives his relationship to the community the character of service to the highest entity. At the same time, he waits for

* В статье использованы результаты исследований по проекту «Природа в оптике цифровой культуры: парадоксы, гибриды, фантазмы», выполненному в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2024 г.



the inversion of this service, i.e. a transition to power through acknowledgement. It should be noted that scientific research is never limited by the science itself, no matter how dangerous it may be. The existential choice in science is a choice between the pursuit of truth in natural sciences and exact sciences and maintaining the sustainability of culture in social and humanitarian knowledge. The latter, contrary to Weber, is always intertwined with politics. The first is not political, but affective. This allows me to see the definition of the vocation to the science that Kasavin gives in a new way. At the center of the "cognitive-existential mood" in the search for truth, affect dominates, the engine of which is hysteria, and in its basic attitudes truth and the scientist are opposed to the plausible and the profane.

Keywords: science, truth, hysteria, Max Weber, Ilya Kasavin

В статье «Философия науки: экзистенциальный поворот» Илья Касавин и Владимир Порус [Касавин, Порус, 2023] затрагивают одну из центральных тем двадцатилетия, последовавшего после завершения Первой мировой войны, а именно тему кризиса европейского человечества. В связи с наукой тема кризиса сегодня актуализируется тремя тревогами: первая связана с деградацией природной среды, вторая – с влиянием цифровизации на социум, третья – с увеличением доступности мощного оружия. За названными тревогами тенденций и опасений столько же, сколько фактов, но этого достаточно, чтобы заново поставить вопрос о цене и движителях прогресса, о сущности науки и призвании ученого. Размышления Касавина и Поруса движутся отчасти в русле размышлений Макса Вебера в его докладе «Наука как призвание и профессия» (1918)¹ [Вебер, 1990]. Я пойду этим же маршрутом и попытаюсь показать аффективную специфику призвания ученого, которая, на мой взгляд, находится в ядре экзистенциального выбора науки как жизненного пути.

Вебер: апология науки в эпоху кризиса

Доклады Макса Вебера «Наука как призвание и профессия» (1918) и «Политика как призвание и профессия» (1919) [Вебер, 2020] стоят в одном ряду с «Размышлениями аполитичного» Томаса Манна (1919), «Закатом Европы» Освальда Шпенглера (1918, 1922), докладом Эдмунда Гуссерля «Кризис европейского человечества и философия» (1935) и многими другими философскими и литературными, а также газетными и журнальными текстами, театральными постановками,

¹ Напомню, что формулировка «призвание и профессия» – это находка переводчика докладов Вебера “Wissenschaft als Beruf” и “Politik als Beruf” на русский А.Ф. Филиппова.



кинофильмами, образными рядами индустрии моды, архитектуры и дизайна, не только провозглашавшими кризис, но создававшими совершенную эстетику его переживания в меланхолическом аффекте «конца всего». Кризис, конечно, имел место, причем в настоящем смысле этого слова, т.е. не как гибель и катастрофа, а как смена направления и модификация форм жизни. Сдвиг значения слова «кризис» от изменений к катастрофе происходит там, где опасаются утраты влияния или уже его утратили. Это характерно как для умонастроений элит старых режимов, так и для интеллектуалов межвоенного периода, статус которых оказался поставленным под вопрос вместе со всем социальным порядком. Но неужели наука может разделять со старым режимом его старость и ничтожество, разделять с элитой ответственность за ее ошибочные решения? Наше недоумение по этому поводу объясняется тем, что для нас наука является центральным социальным институтом, обеспечивающим гарантированный рост возможностей по управлению жизнью. Наука стоит здесь наравне с ресурсами природы, т.е. составляет необходимое условие современного существования людей, поэтому сегодня можно по тем или иным причинам ликвидировать любые институты, но не науку.

Первая мировая война явилась никогда прежде не виданным публичным разоблачением несостоятельности сложившихся форм общественной жизни. Выглядевшие столь уверенно институты рациональности, моральной и эстетической регуляции не сработали, вместо ведущих к общему благу управленческих решений были совершены фатальные ошибки, мораль была уничтожена разгулом низких аффектов, реальные образы смерти и разрушения лишили цвета и формы созданные искусством образы тонких гармоний и диссонансов. XIX в. в своем интенсивном развитии был в целом временем большого оптимизма и даже удивления скорости, качеству и успеху социальных изменений. Эпизоды реакции и стагнации, неудачных революций и реформ с лихвой компенсировались эпизодами и сериями продвижения вперед. Общее умонастроение рубежа веков состоит в глубоком убеждении в достигнутой развитыми обществами эффективности институтов коллективной рациональности, моральности, эстетической регуляции, так что в моду вошла даже игра в усталость от всего названного, не мешавшая, впрочем, пользоваться благами прогресса. Европейское человечество никогда прежде не жило столь богато и не смотрело вперед столь оптимистично. Это определило и отношение к войне. Среди ее инициаторов страны – лидеры человечества, которые вели долгую и обстоятельную подготовку к столкновению, строили планы, согласно которым воевать предполагали недолго, умно и технологично, а завершить войну столь же умным переделом сфер влияния в третьем мире. Элиты полагали, что война между лидерами прогресса, коль скоро они видят ее целесооб-



разность, есть оправданный момент поступательного исторического развития, а широкие массы воюющих стран были вовлечены в коллективное переживание низких аффектов тщеславия, господства и эксплуатации, легитимирующих право сильного в отношении своих европейских противников и право господина в отношении колониальной периферии. Известно, что Первую мировую начинали практически при всеобщем согласии и воодушевлении, мало кто был против, мало кто говорил о бессмысленности, гибельности, тем более об аморальности предстоящего. Философ Людвиг Витгенштейн и его брат – пианист Пауль идут на войну добровольцами, как и слабый здоровьем поэт Николай Гумилёв. Испытывает военный энтузиазм Макс Вебер [Ростиславлева, 2014], пытается записаться добровольцем даже Вальтер Беньямин, правда, оправдываясь желанием попасть в армию в окружении друзей [Яу, 1999]. Чтобы остаться в стороне от эпидемии империализма, разоблачать и проклинать предстоящую войну, нужно было быть маргиналом. В числе таковых находим толстовцев, малые христианские группы, представителей подавленных империями этносов, откуда, например, происходит Ярослав Гашек, коммунистов, в числе которых Владимир Ленин, Карл Либкнехт и Роза Люксембург, а также немногочисленных убежденных пацифистов и скептиков, сомневающихся в успехах прогресса. Не удивительно, что провал всех планов и прогнозов и постигшие всех европейских участников Первой мировой бедствия вызвали огромное разочарование обществ, прежде всего в Германии, Австрии и России.

Речь Вебера «Наука как призвание и профессия» звучит в ситуации, в которой наука еще не имеет современного статуса важнейшего ресурса жизни, но в первую очередь применительно к социально-гуманитарным дисциплинам, ассоциируется с дискредитировавшими себя старыми элитами, общественным порядком, его идеологией и методами контроля. Вебер задним числом заявляет требование отделить политические повестку и пристрастия от научного исследования и преподавания, вопреки тому, что это отменяет оба немецких университетских проекта XIX в. Без политической программы немыслим ни сентименталистский университет Халле, готовящий просвещенных и компетентных чиновников, способных работать на общее благо, ни романтический гумбольдтовский университет, задача которого – формирование гуманистической элиты, способной усматривать «высшие» цели общественного развития [Рингер, 2008, с. 26–33]. «Фактические связи» вещей [Вебер, 1990, с. 731] выявлялись и становились предметом науки и образования именно в этом контексте, что составляет специфику социально-гуманитарного знания. Здесь деполитизацию можно, конечно, имитировать, если не высказывать идеологические оценки прямо, но их никак нельзя скрыть на уровне мотива исследования, системы дифференциации явлений



и объектов, выстраивания нарратива и аргументации, подбора источников и материалов, наконец, в интерпретации явлений², все это определяется социальными практиками и дискурсами, за всем тут стоит личный живой интерес.

Вебер, на мой взгляд, требует невозможного, поскольку его речь есть апология науки, в которой мотив исследования и перспективы приложения знания противопоставляются методу исследования и его теоретическому содержанию. Наука как метод и теория, которые способны позволить нам «технически овладеть жизнью» [Вебер, 1990, с. 720]³, создать «методы и навыки работы мышления» и, наконец, «приобрести ясность» [Там же, с. 729], как «связь последних установок с их следствиями» [Там же, с. 729–730], должна быть отделена от вопросов о том, что есть счастье и зачем нам технически овладеть жизнью, каковы критерии надежных методов и навыков мышления и какие из «последних установок» верны. Ответ здесь дается ответственным индивидуальным выбором, и это означает выполнить долг «интеллектуальной добросовестности» [Там же, с. 734]. Содержание этого ответа определяется, согласно Веберу, факторами, в равной мере случайными и фатальными: «нужно обратиться к своей работе и соответствовать “требованию дня” – как человечески, так и профессионально. Но это требование станет простым и ясным, если каждый найдет демона, который ткет нить его жизни и будет ему послушен» [Там же, с. 735]⁴.

Демоны, критика и как оно есть «на самом деле»

Что значит эта ссылка на то ли сократовских демонов, то ли парок, ткущих нить жизни, послушание которым приводит меня к выбору философских установок, определяющих жизненную цель, в перспективе которой я буду стремиться к знанию, сформирую мои научные интересы, определяю методы и примусь за работу? Интеллектуальная добросовестность означает лишь ясное осознание названного ряда обстоятельств, она вносит условность во все, включая результат, т.е., чем бы ни закончилось исследование, я должен отдавать себе отчет в его зависимости от моих «последних установок», а их выбор диктуется мне требованием адекватности моменту и голосом «демона». Мы вполне можем согласиться с порядком очерченных

² Здесь я, конечно, расширяю отношения между идеологией и наукой, следуя Мишелю Фуко [Фуко, 2004, с. 341].

³ Это выражение повторяется в речи Вебера несколько раз.

⁴ Перевод слегка изменен.



здесь взаимосвязей и сказать, что так закладывается связь науки с ее особой этикой, но что тогда остается от научной работы как призвания, если даже «демоны» Вебера не устают напоминать своим подопечным о том, что они суть божества не универсальные, а личные и могут поэтому, заблуждаться? Можно ли в столь непростом и неблагодарном деле, как наука, работать под девизом «Совершай экзистенциальный выбор конечной цели, помни о его условности и – будь, что будет!», если ответ на мои исследования дают, говоря словами Бруно Латура, сами вещи [Латур, 2017, с. 157].

Вебер рассуждает исходя из внутренней критической установки и повторяет, что оценочные суждения не могут иметь научной значимости. Его критика вызвана необходимостью выводить науку из-под внешних ударов, и это лишний раз показывает сущностную принадлежность социально-гуманитарного знания к сфере политического. Поэтому Вебер ничего не говорит о силе, движущей ученым, после того как им сделан выбор в пользу интеллектуальной добросовестности и определены «последние основания». Насколько они разнообразны? Каждый ученый-гуманитарий волен обзавестись собственным демоном, у естествоиспытателей конкретной эпохи демон один на всех, а у математиков один на все времена – бог Лейбница, или чистый разум. Если смотреть на вещи с позиций последнего, то любое истинное знание находится вне экзистенциальных вопросов и представляет собой инструмент «овладения жизнью» путем создания науки, позволяющей видеть вещи так, как их видит божественный разум. Такой наукой можно пользоваться безо всяких предпосылок, и, приняв личных демонов, мы вынуждены будем объяснять, почему все они одинаково ратуют за теорему Пифагора. Однако, уже столкнувшись с естествознанием, нельзя будет не заметить контекстную зависимость верификации знания и основанной на нем практики. Где-то рядом с политически ангажированным представителем социально-гуманитарной науки работают, например, биологи и математики, находящиеся в своих изысканиях вне прямого влияния идеологий и политических интересов, а потому уверенные в том, что им открываются истины, не определяемые конкретной жизненной и социокультурной ситуацией. Мы помним, что исторически идеалом знания является наука, порождающая платоновское аподиктически истинное знание, и от такой науки веберовский гуманитарий находится в наибольшем удалении. Приводит ли это его к скромности и умеренности притязаний на истину, которые должны проявиться и в отказе от оценочных суждений? Ничуть ни бывало! Хотя социогуманитарное знание давно уже прояснило само для себя свою условность, мы легко забываем о веберовской «интеллектуальной добросовестности» и заявляем притязания на истину, как если бы были уверены в высокой степени ее



доступности и как если бы наука могла открывать, как обстоят дела «на самом деле»⁵.

Происходит это в силу институциональности науки. Продуцируя в некоторых своих отраслях достоверные знания, наука придает гуманитарии высокий статус, позволяющий предлагать профанам принять некоторую картину мира, идеологию и систему мотивации, в частности такую, для которой истина есть и может быть обретена в любой области познания, если правильно поставить вопросы и применить метод. В центре этой картины мира находится абсолютный свидетель, например божественный разум. Его существование придает выражению «на самом деле» простой и ясный смысл, а его отсутствие делает их метафорой, просто указывающей на место абсолютного свидетеля. Переход от исполненного скепсиса и скромности предположения о том, что истина не может быть обретена, к притязанию на нее как мотиву исследования осуществляется благодаря силе аффекта, который составляет ядро призвания к науке.

Аффект призвания

Речь Вебера «Политика как призвание и профессия» прозвучала годом позже речи о науке. Как можно было бы продолжить серию из этих двух речей, что могло бы последовать за наукой и политикой в антитезе призвания и профессиональной деятельности, подчеркнутой Вебером именно в речи о политике? Военная служба, деятельность священнослужителя, работа судьи, прокурора, адвоката, педагога, врача, полицейского, пожарного, художника, архитектора? Кажутся менее подходящими для призвания роли предпринимателя, купца, банкира, инженера, конторского служащего, рабочего, ремесленника, крестьянина, прислуги, мусорщика. Оба ряда можно продолжить. Очевидно, что в каких-то видах деятельности говорить о призвании нельзя, другие допускают лишь некоторую степень призывности, третьи, напротив, возможны лишь по призванию.

К последним относится функция политика, когда он выступает в качестве представителя группы, общества в целом или же нечеловеческих субъектов – природы, будущих и прошлых поколений, исторической памяти и памятников, судьбы, морального закона, наконец,

⁵ Гуссерль в докладе «Кризис европейского человечества и философия» (1935) настаивает как раз на отделении научной установки и деятельности, предполагающих «объективизм» и «натурализм», от философствования как работы по определению задач самой науки в контексте цели, сущности и смысла человечества, которые обнаруживаются не исследованием, а становятся результатом выбора [Гуссерль, 1986, с. 115–116]. Эта концепция представляет собой преодоление веберовской.



истины. Представительство неизбежно не только в политической, но и в любой другой сфере, в которой присутствует публичная делиберация, постоянное участие в которой всех и каждого и невозможно, и нецелесообразно. Представительство имеет экономическую и аффективную основы. В первом случае специалист представляет те или иные интересы в рамках институтов и на условиях, зафиксированных в формальном договоре с представляемыми. Во втором случае между ними действует аффективный контракт [Микиртумов 2022], который требует от представляемых оказания доверия представителю, а от представителя – служения. И первое, и второе предполагает долг и приводится в действие наборами аффектов. Именно в аффективной сфере получает свое вознаграждение представитель. Оно состоит в переживании возвышающих состояний идентификации с представляемым, в «умножении» своей личности посредством предоставления голосам «других» возможности через нее звучать, в наделении слов, произносимых этими голосами, смыслом и в определении своей воли как воли многих. За аффектами представительского служения стоит стремление создать из представляемого инстанцию, которая дала бы представителю признание и попала бы под его власть. Аскетическое или совестливое выполнение некоего долга перед представляемыми, а эти мотивы присутствуют у Вебера [Schluchter, 1995], – это идеологический конструкт самих представляемых⁶. Долг существует именно в их перспективе, поскольку любое сообщество считает само собой очевидным обязательное служение индивида коллективному интересу, вне зависимости от степени оказываемого ему доверия. Высокая степень последнего реализует господство на основе того или иного вида легитимации, низкая же степень ставит индивида под контроль группы. Иными словами, представитель принимает на себя долг как условие аффективного контракта, хотя его подлинной целью является инверсия долга, а представляемые тем больше этому способствуют, чем больше представителю доверяют.

Аффективная природа отношений между представителем, т.е. политиком по призванию, и представляемыми кажется мне несомненной. Эти отношения не могут фиксироваться ни формальными актами, ни нравственным законом, поскольку интенсивность служения

⁶ Как известно, Роберт Мертон, по стопам Вебера, связал протестантский аскетизм с прогрессом математизированного естествознания [Gilje, 2003]. Здесь нет возможности останавливаться на этом вопросе, но мне кажутся более убедительными аргументы в пользу решающего значения для возникновения этих дисциплин натурфилософского платонизма, герметической магии и каббалистических упражнений Ренессанса, см., например: [Smitt, 1978; Yates, 1967]. Так или иначе, но это не влияет на трактовку представительства ученого и долг истины, которым он наделается.



и доверия изменчива, способы их проявления заранее не известны, а реализация политических отношений происходит в системе институтов, работающих как раз формально. Нарушение условий аффективного контракта возникает в случае рассогласования, например, когда служение оказалось менее интенсивным, нежели предполагалось, т.е. когда представитель в некоторой ситуации не пожертвовал личными интересами, хотя это предполагалось, или доверие оказалось неадекватно ожиданиям представителя, например, когда риторические маневры политика воспринимаются группой как руководство к действию, а прямые призывы к действию – как риторические маневры. Реализация представительства иногда так интенсифицируется, что рационально-легальный лидер превращается в харизматика вопреки собственной воле, или же, наоборот, так ослабевает, что харизматический лидер превращается в чиновника.

Я думаю, что отношения науки, ученого и общества выстроены примерно так же, как и отношения политика – представителя и группы, а именно общество в целом проявляет волю к знанию, которая задает философско-онтологическую сетку объектов, концептов и фактов мира и которая в исторических дискурсах мудрости, учености, натурфилософской магии и науки принимает вид воли к истине. «Воля к знанию» и «воля к истине» – это термины Мишеля Фуко, и последний трактуется как важнейшая «процедура исключения», фильтрации дискурсов, в которой уже присутствуют «желание и власть» и которая кажется поэтому свободной от того и другого [Фуко, 1996, с. 58–59]. Воля к истине как структура отношений переходит из эпохи в эпоху, меняется лишь содержание того, что принимается и исключается как истинное и ложное, а также основания такого принятия и исключения. И точно так же воля к знанию определяет философско-онтологическую сферу разрывывания политического, где в исторических ситуациях группы являют волю к частному и общему благу, понимая первое и второе каждый раз по-новому. Реализация такой воли и образует задачу представителя – политика по призванию, но частное благо группы всегда подается как общее. Фуко видит в воле к истине практику ограничения, «приземляющую» и сковывающую свободное движение дискурсов. Аналогия с волей к благу позволяет увидеть, что и последняя обладает теми же качествами, но в отношении всех без исключения явлений культуры, включая и науку. Разная ценность истинного и ложного аналогична разной ценности благого и бесполезного (вредного), поскольку истинное и благое дают основания для определенных решений и действий по «овладению жизнью» и по «практике жизни», а ложное и бесполезное их не дают. Вопрос здесь не в ошибках, не в том, что мы можем спутать истину и ложь, благое и бесполезное, но в том, что разница между ними известна как формальный принцип, равно как и их связь с решением и действием. И, хотя истина сразу понимается



как объективная, а всякое частное благо лишь пытается предстать общим, в обоих случаях создаются институциональные инструменты максимизации степени объективности и общности, имеющие вид способов коммуникации по научным и политическим вопросам, направленных на достижение консенсуса наиболее активных сил.

Можно ли сказать, что ученый – это тот, кто реализует волю к истине, будучи по своему призванию или профессиональным функциям представителем общества, группы, нечеловеческих субъектов? Предполагает ли и призванность к науке аффективный контракт с обществом, выполнение обязательств по которому может, например, предполагать жертву собой?

Ответы на оба вопроса кажутся мне положительными, хотя аффективный контракт ученого существенно отличается от контракта политика по призванию, так что представительство и жертвенность имеют, как правило, совершенно иной характер. Я вижу здесь четыре отличия.

Во-первых, контракт ученого односторонний, т.е. аффектация ученого долгом истины может не предполагать аффектации общества доверием к науке, когда общество не в состоянии ни осознать, ни выразить своего интереса. Занятия наукой требуют преодоления высокого порога сложности, они трудоемки и неблагодарны, поэтому выбор науки как жизненного пути требует сильной мотивации. Складывается она из собственного интереса, из так называемого любопытства, пытливости, увлеченность материалом, из понимания высокой ценности знания и его потенциала, а также из ожидания признания. Если путь от начала исследования до перехода знания в благо пройден, можно быть уверенным в том, что силой ума и исследовательской находчивостью я превосхожу миллионы людей вокруг и вдобавок что они мною облагодетельствованы. Но вторая половина пути, т.е. использование знания для достижения блага, находится не под контролем ученого и науки, подобно тому, как писатель не контролирует чтение и понимание своих произведений публикой, для которой они написаны. И это – главный риск научной работы, за которую невозможно приняться, если обращать на него внимание. Общество, таким образом, не берет на себя никаких явных обязательств перед ученым, может не замечать его усилий и игнорировать то, как он представляет себе приложение добытого им знания.

Во-вторых, если все же сигнал о доверии приходит, он гораздо менее интенсивен, нежели соотнесенный с доверием долг истины, сообщается он не прямо и не явно, а через посредство институтов, зависит от самых разных привходящих обстоятельств. Достаточно назвать имена Галилео Галилея, Иоганна Кеплера, Исаака Ньютона, Георга Менделя, Антуана Лавуазье, Теодора Моммзена, Ивана Павлова, Михаила Бахтина, Николая Вавилова и Трофима Лысенко,



чтобы увидеть, какими разнообразными и сложными путями оказывается и отнимается доверие, приходит и уходит признание. Сегодня доверие к ученому и его признание также институционализированы, что не мешает соответствующим механизмам выдавать ошибки. Поэтому, если ученый осознаёт долг представительства в обретении истины, то не потому, что он внушен ему непосредственным взаимодействием с представляемыми и обеспечен гарантированным уровнем доверия и признания, что как раз характерно для политики. Этот долг возникает из некоторой исповедуемой им философии науки, которая говорит, что в его руках находятся инструменты открытия истины о мире, которую нужно добыть для достижения общего блага. Когда философия науки говорит этим языком, она обнаруживает свою дискурсивную принадлежность некоторой политической идеологии, т.е. видит представительство в перспективе не только истины, но и блага представляемых.

Во-третьих, научная повестка непонятна не только широким массам, но и непосредственным заказчикам знания в лице государства и бизнеса. Поэтому, когда наука достигает некоторого уровня сложности, коммуникация между ученым и потенциальным заказчиком превращается в особую языковую игру, в онтологии которой присутствуют перспективы блага от применения знания, варианты его расширения, необходимость скрывать знание от конкурентов, оценки материальных ресурсов для исследований и использования знания и много другое, чем истина обростает при своем превращении в информацию как ресурс, а ученый – при своем превращении в производителя этого ресурса. И в этой игре нет ничего про истину, ложь, ошибку, ее исправление, метод и пр., так что ложь, ошибочно воспринятая как истина, в этой коммуникации может пребывать в статусе знания до тех пор, пока в каком-то из аспектов применения знания не накопится достаточное количество негативных сигналов, которые нельзя будет игнорировать, и вместе с тем не появится знание, которое сможет стать альтернативой. Научные исследования и сопряженная с ними практика имеют сегодня столь разветвленный характер, что обнаружить ошибки, отделить истину от лжи и исчерпывающим образом верифицировать и корректировать знание получается не везде, не всегда и не сразу, и в каждый момент в качестве знания циркулирует едва ли не столько же ложного или сомнительного, сколько истинного. Для каждой отрасли знания и практики вырабатываются свои пороговые величины позитивного «ответа» со стороны вещей и неопределенности, общий же позитивный или негативный сигнал об эффективности науки формируется совокупной практикой, в которой, наряду с университетом, научными учреждениями, IT-индустрией, военной и прочей промышленностью, технологической медициной, телекоммуникациями и транспортом, действуют религиозные представления, политические идеологии,



потребительство, традиционный семейный и этнический уклады, предрассудки, мифы и оккультизм. Получить значимую обратную связь ученых, при всей полноте своего призвания, может лишь там, где его всегда очень конкретная и даже прикладная работа востребована влиятельными институтами общества или отвечает актуальным интересам групп, а во всех иных случаях ученый либо получает реакцию неадекватную, либо вообще никакой.

В-четвертых, именно отношения с обществом и государством, с одной стороны, профессионализируют работу в науке, делая призвание не необходимым, с другой же стороны – обеспечивают систематическую обратную связь и признание. В ситуации высокого спроса на научную информацию профессия ученого становится престижной и в науку устремляются честолюбцы, прежде интересовавшиеся лишь политикой и бизнесом. Место призвания занимают формально зафиксированные обязанности, правила, заказы, протоколы, планы и отчеты, с помощью которых научная деятельность и сама истина институционализируются и окончательно герметизируются, так что верификация извне невозможна, и принятие знания как истины основывается на общем доверии общества к институтам⁷. Любопытно, что, хотя призванность на фоне институционализации признания становится излишней, в контексте общего блага оно придает открытию истины ясное политическое значение и наделяет ученого призванием даже в том случае, когда с его стороны нет аффективного обязательства служения. Происходит это в силу того, что обществу хочется получать наиболее значимые для него блага в виде даров, а не покупать их в виде товаров. Это поднимает ценность общества, придает ему больше достоинства, одновременно подчеркивая несвободный характер производителя таких благ, его служение и долг.

Итак, складывается впечатление, что призвание ученого в конечном счете оказывается политическим и состоит в принятии им долга служения обществу и человечеству в деле открытия истины, и призвание это оформляется в виде одностороннего аффективного контракта. Почему же его политический характер не может придать этому контракту формальный характер? И почему ученый идет на его заключение?

⁷ Во время пандемии, вызванной вирусом COVID-19, можно было наблюдать чрезмерные надежды на науку вместе с разочарованием в ней, которые отражали слепое доверие и столь же слепое недоверие к институтам вообще. Социальный инфантилизм в равной мере проявляется в деполитизации общества и расцвете популизма как апелляции к низким аффектам, в утрате критичности по отношению к политической философии и идеологии, когда они начинают восприниматься как литература и игра словами, или же в нападках на медицину и санитарные меры властей. Выразителем этих настроений стал Джорджо Агамбен [2022].



Призвание к истине и истерия

Вспомним, что для эпох, в которых наука и предшествующие ей формы знания были маргинальным видом занятий, шансы на признание ученого оказывались ничтожными. К систематическим научным занятиям мог поэтому подвигать почти исключительно аффект, позволявший концентрировать громадную психическую энергию и получавший разрешение сначала во внутренней уверенности в обретении истины, свидетельствующей об интеллектуальной и исследовательской силе ученого, затем в отношении к некоторой абсолютной инстанции, которое могло эту уверенность онтологизировать, и, уже в последнюю очередь, в признании другими людьми. Подчеркну, что речь здесь идет именно о призвании. С возрастом роли науки и ее институционализацией абсолютная инстанция, как кажется, теряется из виду, а роль признания со стороны общества возрастает.

Но все не так просто. Абсолютная инстанция, носитель и свидетель истины и того, что имеет место «на самом деле», никуда не уходит, она перемещается в некогнитивную сферу и становится ядром аффекта призвания, не будучи в этом качестве осознаваема. В описанной организации сил, установок и ожиданий я вижу черты истерии, как ее описывает Жак Лакан [2008]. Сразу оговорюсь, что я не уверен в том, что описанное у него есть истерия или что она вообще есть, – этот вопрос оставлю в стороне, просто соображения и наблюдения Лакана, прочитанные как феноменология некогнитивных состояний, как мне кажется, удачно воспроизводят характеристики аффекта ученого, переживающего свою призванность к открытию истины⁸.

В его центре находится стремление внушить группе, обществу или человечеству высокую ценность ученого, по меньшей мере там, где создается знание, позволяющее «овладевать жизнью», хотя бы сфера исследования и была для общества совершенно закрыта и не было бы никакой возможности донести до него ее важность⁹. В этом смысле ученый всегда стучался в глухую стену и лишь начиная с середины XVII в. – в дверь, которая постепенно переставала быть совершенно закрытой. При этом ученый претендует на то, что наука должна стать и основой мировоззрения, оттесняя все

⁸ Использование термина «истерия» применительно к социокультурным явлениям и формам нормального поведения человека стало стертой метафорой с момента исключения термина из медицинского словаря, см.: [Edwards, 2009].

⁹ Ср.: [Лакан, 2008, с. 38]. Здесь и далее я не цитирую Лакана, но сопоставляю свое описание аффекта ученого с тем, какие характеристики он дает истерии в связи со знанием. Последнее понимается Лаканом специфическим образом, что в нашем случае несущественно.



инные культурные доминанты. Интеллектуальная добросовестность и честность распространяются на все и всех, невозможно быть ученым по призванию и считать какие-либо альтернативные формы знания равноценными науке. Онтология здесь даже не иерархична, она полярна и знает на одной стороне истину и науку, а на другой – ложь со всеми прочими формами знания.

Уже сама проповедь научности, несомненно, невротизирует и истеризует общество, которое встает перед выбором между слепым доверием науке и слепым же следованием сложившимся практикам¹⁰, не имея для этого выбора понятных оснований. На стороне ученого и науки остается связь «знания» и «истины» с «наслаждением» [Лакан, 2008, с. 40, 82–83]. Ее можно интерпретировать так. Коль скоро наслаждение, в отличие от удовольствия, требует формирования и культивирования соответствующего аффекта, тренировки в его переживании, наслаждение от познания и знания в науке, во-первых, в силу безграничного горизонта научных задач, неисчерпаемо, во-вторых, выделяет науку как замкнутую дискурсивную среду, в которой ученый, даже не будучи надлежащим образом признан, остается сам себе хозяином¹¹, т.е. может обеспечить постоянное возобновление погони за истиной. Еще один важный аспект – это слепота, невежество других, которые делают истину редкой и ценной, а ученому обещают признание за ее открытие. Выше я уже говорил о том, что интерес «для себя» и пресловутое «любопытство» являются не более, чем отговорками, за которыми скрывается стремление к признанию как ступеньки для властвования¹². Наконец, движимый призыванием ученый убедителен в том, что следует долгу вопреки очевидным рискам и издержкам, как если бы этот долг предписывался ему абсолютной инстанцией, хранящей истину. В этом случае ученый, указывающий на постижимые законы природы, на истину, которая есть то, что имеет место «на самом деле», превращает их в симптом своего состояния¹³ и тем самым свидетельствует о них своим состоянием. Такими же симптомами можно считать самоотверженную деятельность политика по призванию, а также страстные стихийные общественные движения, захватывающие миллионы людей. Здесь везде признаком истерического становится знаковость действий, призванных указать на скрытое зло, в частности на незнание и одновременно на возможность блага, в частности истины. Истерия может тогда прочитываться как «странное и невозможное отношение к себе» [Gildersleeve, 2016]. В нем присутствует желание «господина», которым можно было бы «править» и который призна-

¹⁰ Ср.: Лакан, 2008. С. 38.

¹¹ Ср.: Там же. С. 60–61.

¹² Ср.: Там же. С. 43.

¹³ Ср.: Там же. С. 50.



вал бы истерика своей «верховой наградой» [Лакан, 2008, с. 163], т.е. спасителем и вожатым. И сама роль такого господина, в нашем случае – общества, человечества или нечеловеческого субъекта, возможно, создана вместе с ролью их представителя в деле истины¹⁴ еще тогда, когда никакой науки нет, но когда впервые стало понятно, что возможны истина и знание и что доступ к ним доступен мне и недоступен другим и потому может стать для меня путем к признанию и власти.

Иными словами, в логико-методологическом аспекте истина всегда неполна и чаще всего относительна, т.е. в онтологическом отношении она предполагает абсолютную инстанцию, гарантирующую, что нечто имеет место «на самом деле», а в социокультурном – требует, чтобы один стремился обрести ее в перспективе блага для многих и признания для себя. Сочетание этих обстоятельств образует условия формирования и действия аффекта, движущего ученым. Этот аффект, видимо, характерен для любой призванности, будь в ее фокусе политика, наука, искусство, отправление правосудия, педагогика и пр. Но везде по-разному складываются служение и долг, поскольку претерпевающая сторона может не быть включенной в предлагаемые отношения, не знать о них ничего или даже не иметь субъектности. Последним коррелятом служения и долга является, конечно, трансцендентный свидетель истины и блага, т.е. бог, отсутствие которого ничего не меняет в структуре переживания аффекта, поскольку важно само наличие его места¹⁵. Специфика положения ученого состоит в том, что альтернатива между призванием и профессией возникла в науке совсем недавно, а именно в конце XIX в., но не в том смысле, в каком об этом говорит в своей речи Вебер. Стремительный рост знаний, позволяющих «овладевать жизнью», отодвинул на задний план элитарные ученость и образованность, т.е. то, чем университет торговал столетиями, не беспокоясь об истине.

Заключение

Первый и единственный экзистенциальный выбор в науке – это выбор между преследованием истины, знание которой позволяет «овладевать жизнью», и практиками учености и образования, которые по отношению к истине нейтральны, но обеспечивают воспроизводство культуры в целом, а потому политизированы. Призыв Вебера

¹⁴ Ср.: Лакан, 2008. С. 162.

¹⁵ Надежда Касавина говорит в этой связи об «утраченном трансцендентном основании культуры» [Касавина, 2020, с. 283].



разделить науку и политику нереализуем там, где функция университета состоит в обеспечении устойчивости культуры, и не имеет смысла там, где идет речь об истине, сам же он, как неоднократно было замечено, произносит свою речь и с позиции ученого, и с позиции лидера, определяющего политические и моральные ориентиры [Shapin, 2019, p. 301–303]. Социально-гуманитарное знание было, есть и будет политическим по своей интенции, тогда как точные и естественные науки имеют дело с коррелятом, мыслимым в перспективе абсолюта. В первом случае профессия исчерпывает научную деятельность, а призвание, если оно в ней присутствует, является политическим, во втором, напротив, призвание касается истины как таковой. Как я попытался показать выше, испытываемый при этом аффект по своей структуре воспроизводит истерию, т.е. имеет своей задачей показать, что истина имеет место, и заставить сообщество признать этот факт и покориться науке и ученому. Это позволяет нам увидеть на месте абсолюта других людей, служение которым содержит в себе жажду инверсии этого служения, т.е. перехода к власти через признание. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что никакие исследования, способные дать новые средства «овладения жизнью», никогда не будут ограничены или свернуты по воле ученых, с какими бы опасностями они ни были связаны. Еще менее к этому склонны лидеры конкурирующих наций, определяющие политический выбор. Выбор между преследованием истины и работой в пользу устойчивости культуры и общества к этому моменту давно уже сделан, и немногие дезертиры с фронта «овладения жизнью», отказывающиеся от ранее сделанного выбора, не отменяют этого правила. То, что жизнью до сих пор не «овладели» окончательно и бесповоротно, связано с тем, что это едва ли возможно. Мир как объект исследования бесконечен и местами нечеловекообразен, да и доступные истины выпытать у него нелегко. Помогает и изрядная институционализация науки, благодаря которой носителей призвания теснят карьеристы – профессионалы. Мне кажется, что теперь можно лучше понять определение, которое Илья Касавин дает призванию [Касавин, 2020, с. 274]: в «когнитивно-экзистенциальной настроенности» на поиск истины доминирует аффект, двигателем которого является аффект, сходный с истерией, и в фундирующих установках которого представление о полярной онтологии истины и «иного» спаяно с иерархической антропологией ученого и профана.



Список литературы

- Агамбен, 2022 – *Агамбен Д.* Куда мы пришли? Эпидемия как политика / Пер. с ит. В. Данилова. М.: Ноократия, 2022. 144 с.
- Вебер, 1990 – *Вебер М.* Наука как призвание и профессия / Пер. с нем. А.Ф. Филиппова // Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 707–735.
- Вебер, 2020 – *Вебер М.* Политика как призвание и профессия / Пер. с нем. А.Ф. Филиппова. М.: РИПОЛ классик, 2020. 292 с.
- Гуссерль 1986 – *Гуссерль Э.* Кризис европейского человечества и философия / Пер. с нем. А.М. Руткевича // Вопросы философии. 1986. № 3. С. 101–116.
- Касавин, 2020 – *Касавин И.Т.* Наука – гуманистический проект. М.: Весь Мир, 2020.
- Касавин, Порус, 2023 – *Касавин И.Т., Порус В.Н.* Философия науки: экзистенциальный поворот // Эпистемология и философия науки. 2023. Т. 60. № 4. С. 7–21.
- Касавина, 2020 – *Касавина Н.А.* Научное призвание как экзистенциальный выбор // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2020. № 55. С. 279–285.
- Лакан, 2008 – *Лакан Ж.* Изнанка психоанализа. Семинар, Книга XVII (1969–70) / Пер. с фр. А.К. Черноглазова. М.: Гнозис, 2008. 272 с.
- Латур, 2017 – *Латур Б.* Дэвиду Блуру... и не только: ответ на «Анти-Латур» Дэвида Блура // Логос. 2017. Т. 27. № 1. С. 135–162.
- Микиртумов, 2022 – *Микиртумов И.Б.* Моральные обязательства представителя группы в делиберации о повестке // Логико-философские штудии. 2022. Т. 20. № 4. С. 429–446.
- Ростиславлева, 2014 – *Ростиславлева Н.В.* Макс Вебер в годы Первой мировой войны // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2014. № 13 (135). С. 136–145.
- Фуко, 2004 – *Фуко М.* Археология знания / Пер. с фр. М.Б. Раковой и А.Ю. Серебрянниковой. СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия»: Университетская книга, 2004. 416 с.
- Фуко, 1996 – *Фуко М.* Порядок дискурса / Пер. с фр. С. Табачниковой // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996. С. 47–96.

References

- Agamben, D. “Kuda my prishli? Epidemiya kak politika” [Where Have We come? Epidemic as Politics], trans. by V. Danilova. Moscow, 2022. (Trans. into Russian)
- Edwards, 2009 – Edwards, M. “Hysteria”, *Lancet*, 2009, vol. 374, iss. 9702, p. 1669.
- Foucault, M. “Arheologiya znaniya” [Archeology of Knowledge], trans. by M.B. Rakova and A.Y. Serebryannikova. St. Petersburg, 2004. (Trans. into Russian)



Foucault, M. "Poryadok diskursa" [Discourse order], trans. by S. Tabachnikova, in *Volya k istine: po tu storonu znaniya, vlasti i seksual'nosti. Raboty raznykh let* [The Will to Truth: Beyond Knowledge, Power and Sexuality. Works from Different Years]. Moscow, 1996, pp. 47–96. (Trans. into Russian)

Gildersleeve, 2016 – Gildersleeve, M. "Method in the Madness: Hysteria and the Will to Power", *Social Sciences*, 2016, vol. 5 (3), 29.

Gilje, 2003 – Gilje, N. "Die Weber-Merton-Hypothese: Protestantismus und der Durchbruch der modernen Naturwissenschaft", *Theorien und Methoden in den Sozialwissenschaften*. Hrsg. S.U. Larsen, E. Zimmermann. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2003. S. 27–42.

Husserl, E. "Krizis evropejskogo chelovechestva i filosofiya" [The crisis of European humanity and philosophy], trans. by A.M. Rutkevich, *Voprosy filosofii*, 1986, no. 3, pp. 101–116. (Trans. into Russian)

Jay, 1999–2000 – Jay, M. "Walter Benjamin, Remembrance, and the First World War", *Review of Japanese Culture and Society*, 1999–2000, vol. 11/12, pp. 18–31.

Kasavin, I.T. *Nauka – gumanisticheskij proekt* [Science is a Humanistic Project]. Moscow: Ves' Mir, 2020. (In Russian)

Kasavin, I.T., Porus, V.N. "Filosofiya nauki: ekzistencial'nyj povorot" [Philosophy of Science: An Existential Turn], *Epistemology & Philosophy of Science*, 2023, vol. 60, no. 4, pp. 7–21. (In Russian)

Kasavina, N.A. "Nauchnoe prizvanie kak ekzistencial'nyj vybor" [Scientific vocation as an existential choice], *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Bulletin of Tomsk State University. Philosophy. Sociology. Political Science*, 2020, no. 55, pp. 279–285. (In Russian)

Lacan, J. "Iznanka psikhoanaliza". *Seminar, Kniga XVII (1969–70)* [The Wrong Side of Psychoanalysis. Seminar, Book XVIII (1969–70)], trans. by A.K. Chernoglazov. Moscow: Gnozis, 2008. (In Russian)

Latour, B. "Devidu Bluru... i ne tol'ko: otvet na 'Anti-Latur' Devida Blura" [To David Bloor... and more: a response to David Bloor's "Anti-Latour"], *Logos*, 2017, vol. 27, no. 1, pp. 135–162. (In Russian)

Mikirtumov, I.B. "Moral'nye obyazatel'stva predstavatelya gruppy v deliberacii o povestke" [Moral Obligations of a Group Representative in Deliberating an Agenda], *Logiko-filosofskie shtudii – Logical and Philosophical Studies*, 2022, vol. 20, no. 4, pp. 429–446. (In Russian)

Rostislavleva, N.V. "Maks Veber v gody Pervoj mirovoj vojny" [Max Weber during the First World War], *Vestnik RGGU. Seriya: Literaturovedenie. Yazykoznanie. Kul'turologiya – Bulletin of the Russian State University for the Humanities. Series: Literary Studies. Linguistics. Cultural Studies*, 2014, no. 13 (135), pp. 136–145. (In Russian)

Schluchter, 1995 – Schluchter, W. "Handeln und Entsagen. Max Weber über Wissenschaft und Politik als Beruf", in: *Heidelberg im Schnittpunkt intellektueller Kreise. Zur Topographie der "geistigen Geselligkeit" eines "Weltdorfes": 1850–1950*. Hrsg. H. Treiber, K. Sauerland. Wiesbaden, 1995. S. 264–307.

Schmitt, 1978 – Schmitt, C.B. "Hermeticism and the Scientific Revolution", *History of Science*, 1978, vol. 16, no. 3, pp. 200–214.

Shapin, 2019 – Shapin, S. "Weber's Science as a Vocation: A Moment in the History of "Is" and "Ought"", *Journal of Classical Sociology*, 2019, vol. 19, pp. 290–307.



Weber, M. “Nauka kak prizvanie i professiya” [Wissenschaft als Beruf], trans. by A.F. Filippov, in: *Izbrannye proizvedeniya* [Selected Papers]. Moscow, 1990, pp. 707–735. (Trans. into Russian)

Weber, M. “Politika kak prizvanie i professiya” [Politik als Beruf], trans. by A.F. Filippov. Moscow, 2020. (Trans. into Russian)

Yates, 1967 – Yates, F.A. “The Hermetic Tradition in Renaissance Science”, in: Ch.S. Singleton (ed.) *Art, Science, and History in the Renaissance*. Baltimore, London, 1967, pp. 255–274.

Иллюзионистская теория сознания как развитие теории тождества ментального и физического*

Горбачев Максим Дмитриевич – аспирант, стажер-исследователь. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4; e-mail: mgorbachev@hse.ru



Несколько лет назад в философии сознания появилась иллюзионистская теория сознания, которая делает неожиданное утверждение – феноменального сознания на самом деле нет, оно иллюзорно. И иллюзия эта создается в ходе искажения интроспекцией физических процессов в мозге, которые из-за этого представляются нам особенными феноменальными свойствами. Однако не менее сильная форма физикализма в философии сознания уже появлялась более пятидесяти лет назад – теория тождества ментального и физического. Более того, сторонники иллюзионизма и сами признают свою связь с теоретиками тождества. В результате возникает резонный вопрос, не является ли иллюзионизм просто современной адаптацией теории тождества, а не новой самостоятельной теорией. Этому вопросу посвящена настоящая статья. Сначала автор представляет обе теории, фокусируясь на их ключевых положениях, аргументах и преимуществах, описываемых последователями соответствующих теорий. Затем автор проводит сравнение, выделяя общие для подходов места и различия. Среди первых отмечаются следующие: физикалистский дух обеих теорий; отрицание ими существования особых ментальных свойств, метафизически отличных от физических; аргументация в пользу прагматической привлекательности теории; отстаивание своих ключевых тезисов как в первую очередь гипотез, которые могут оказаться верны; схожая стратегия объяснения ошибки, в результате которой мы приходим к выводу о существовании ментального. Однако автор указывает и на ряд серьезных отличий: разное отношение к возможности нейтральной формулировки содержания свойств опыта; различия в видении содержания проблемы соотношения сознания-тела; иллюзионистское отрицание реального референта языка феноменальности; разработка понятия иллюзии, влекущего за собой ряд новых решений и проблем; большая в сравнении с теорией тождества эпистемологическая нагруженность основных аргументов иллюзионизма. В результате автор приходит к выводу, что, несмотря на то, что значительная часть содержания теорий совпадает, иллюзионизм обладает рядом ключевых отличий. Это свидетельствует, с одной стороны, об умелом использовании прошлых достижений физикалистски ориентированной философии сознания, а с другой, о принципиальной новизне и самостоятельности иллюзионизма.

Ключевые слова: философия сознания, физикализм, теория тождества, иллюзионизм, феноменальное сознание, трудная проблема сознания

* Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.



ILLUSIONIST THEORY OF CONSCIOUSNESS AS A DEVELOPMENT OF IDENTITY THEORY OF THE MENTAL AND THE PHYSICAL

Maxim D. Gorbachev –
Graduate Student,
Research Assistant.
HSE University,
21/4 Staraya Basmannaya St.,
Moscow 105066,
Russian Federation;
e-mail: mgorbachev@hse.ru

A few years ago, an illusionist theory of consciousness appeared in the philosophy of consciousness. It makes an unexpected statement – there is actually no phenomenal consciousness, it is illusory. This illusion is created introspective distortion of physical processes in the brain, which seem to us to have special phenomenal properties. However, an equally strong form of physicalism in the philosophy of consciousness has already appeared more than fifty years ago – identity theory of the mental and physical. Moreover, the proponents of illusionism themselves admit their connection with the identity theorists. As a result, it is reasonable to ask whether illusionism is simply a modern adaptation of the identity theory, and not a new independent theory. This article is devoted to this issue. First, the author presents both theories, focusing on their key statements, arguments and advantages described by the followers of the respective approaches. Then the author makes a comparison, highlighting common places and differences for the approaches. Among the former, the following are noted: the physicalist spirit of both theories; their denial of the existence of a special mental properties metaphysically different from physical ones; argumentation in favor of the pragmatic attractiveness of a theory; defending their key theses as primarily hypotheses that may turn out to be true; a similar strategy for explaining the error, as a result of which we come to the conclusion about the existence of the mental. However, the author also points out a number of serious differences: different attitudes to the possibility of neutral notion for properties of experience; differences in the vision of the content of the mind-body problem; illusionist denial of the real referent of the language of phenomenality; the development of the concept of illusion, which entails a number of new solutions and problems; the epistemological significance of the main arguments of illusionism is more influential in comparison with identity theory. As a result, the author comes to the conclusion that, despite the fact that a significant part of the content of the theories coincides, illusionism has a number of key differences. This testifies, on the one hand, to the skillful use of past achievements of the physicalist-oriented philosophy of consciousness, and, on the other, to the fundamental novelty and independence of illusionism.

Keywords: philosophy of mind, physicalism, identity theory, illusionism, phenomenal consciousness, hard problem of consciousness



Введение

В философии достаточно примеров, когда то, что, казалось бы, стало философской классикой и историей, вновь обретало актуальность и получало вторую жизнь. Можно вспомнить знаменитый неокантианский лозунг Отто Либмана «Назад к Канту». А что-то никогда не теряло своей актуальности – не случайно Альфред Уайтхед считал западную философию заметками на полях сочинений Платона. В настоящей статье я обращусь к еще одному примеру, когда хорошо известные идеи способствуют возникновению новых решений, проблем и теорий – истории появления современной иллюзионистской теории сознания на базе теории тождества, согласно которой ментальное тождественно физическому. Однако предстоит проверить, можно ли считать иллюзионизм действительно новой самостоятельной теорией, требующей нового анализа, учитывая то, насколько на него повлияла теория тождества.

В первой части я познакомлю читателя с теорией тождества – обозначу некоторые основные тексты авторов, причастных к ее разработке, и подробнее остановлюсь на ее основных положениях. Затем я представлю иллюзионистскую теорию сознания и также приведу ее ключевые положения. В третьем разделе я остановлюсь на том, почему, с одной стороны, можно считать иллюзионизм во многом вдохновленным теорией тождества, а с другой, он является не просто той же концепцией, представленной в новом виде, а самостоятельным, новым подходом.

Теория тождества

Впервые основная идея теории тождества ментального и физического прозвучала в тексте Морица Шлика, изданном в 1918 г. [Schlick, 1974]. Согласно Шлику, отношением между непосредственно переживаемой реальностью и процессами в мозге является не каузальная зависимость, а простое тождество [Ibid.]. Затем в первой половине XX в. американский психолог Эдвин Боринг предлагает теорию тождества сознания и физических процессов в мозге [Boring, 1933]. Однако тот вид, в котором она станет известна широкому кругу исследователей и в котором она будет поддерживаться физикалистами настроенной частью философов, теория тождества примет позднее, в 50-х гг. Хотя уже у Боринга встречаются и общие, и частные утверждения, которые в конечном счете можно будет встретить и у классических теоретиков тождества. Так, например, Боринг предлагал весьма специфический взгляд на тождество. Он полагал, что идеальной



корреляции достаточно для утверждения тождества [Boring, 1933, p. 16]. Иными словами, два события, которые всегда возникают вместе, в одно и то же время, в одном и том же месте и которые нельзя различить ни пространственно, ни темпорально, на самом деле не два события, а одно [Ibid.]. Конечно, в этом суждении есть сразу несколько спорных моментов, которые бросаются в глаза. Во-первых, сам тезис об идентичности ситуации тождества идеальной корреляции выглядит основанным на прагматических следствиях принятия такой позиции (например, считать превосходно коррелирующие события тождественными просто удобно и экономно), которых недостаточно для сильного онтологического утверждения о тождестве ментального и физического. Во-вторых, сказать, что процессы в мозге происходят в том же месте, что и ментальные события, будет предвосхищением заключения (*begging the question*), поскольку это верно лишь в том случае, если мы соглашаемся с основным тезисом теории тождества Боринга. И, в-третьих, строго говоря, эти два типа событий не совершенно неразличимы темпорально, поскольку существует задержка между возникновением некоего физического процесса в теле и осведомленностью о нем. (Можно вспомнить эксперименты Бенджамина Либета [Libet, 1999] или просто учесть скорость распространения сигнала в нервной системе.)

Однако даже один из самых известных разработчиков теории тождества – Уиллин Плейс – согласился позднее с Борингом [Place, 1990], хотя, по его словам, в первых работах, где представил свою теорию тождества, был, скорее, скептичен по отношению к корреляции как основанию утверждения тождества (есть много примеров корреляции без тождества, как в случае с приливами и положением Луны, считал он [Place, 1956], хотя в работе 1990 г. и признал, что это просто не случай идеальной корреляции Боринга [Place, 1990]), и отдавал предпочтение объяснительному критерию¹. Он отметил при этом, что «идеальная корреляция» Боринга может служить основанием утверждения тождества, если речь идет о корреляции типов событий, так как трудно, если вообще возможно, представить эмпирическое открытие такой корреляции между токеном конкретного нейронного состояния и психическим событием [Ibid., p. 27]. При этом отмечу, что я допускаю возможность трактовать «раннего» Плейса как уже склонного смешивать тождество и корреляцию. Тем не менее эти детали сейчас не столь интересны, ведь то, что сегодня понимается под теорией тождества в философии сознания, хотя и было вдохновлено работами Боринга и Шлика, появляется несколько позже. Как утверждает Плейс (вскоре Джон С্মарт, также

¹ В случае ментального и физического критерий заключался в том, что процессы, наблюдаемые в мозге, должны дать нам объяснение самого факта наличия ментальных событий [Place, 1960].



разрабатывавший теорию тождества, назовет родоначальником этого подхода именно его [Smart, 1959]), Герберт Фейгл первый подхватил идею Боринга [Place, 1990]. В своей статье [Feigl, 1950] он выразил симпатии к теории Боринга, а позже назвал себя ее сторонником [Feigl, 1958]. Тем не менее сейчас принято выделять как минимум два различных проекта теории тождества: австрийский проект Шлика – Фейгла и австралийский вариант Плэйса – Смарты – Армстронга. Оба проекта в своем ядре являются теориями тождества и обладают существенными сходными чертами: они решают проблему соотношения сознания и тела, исходя из физикалистских интуиций, приписывая им контингентное тождество. Однако они обладают и значимыми расхождениями. Так, например, Леопольд Штубенберг указывает, что для австрийского проекта тело является наиболее проблемной для утверждения тождества частью интересующей теоретиков тождества пары, а для австралийского – сознание [Stubenberg, 1997, p. 129]. Кроме того, Фейгл в отличие от разработчиков австралийского варианта теории, как считает Штубенберг, не элиминирует проблемные свойства нашего опыта, а переносит их в область ментального [Ibid., p. 136].

Хотя с теорией Фейгла не все так однозначно, и до сих пор остается проблемой то, как можно совместить, с одной стороны, его стандартные для физикалистской теории тождества утверждения, а с другой – те места, где он приоритизирует ментальную реальность и говорит о существовании сырых ощущений (квалиа) [Crawford, 2013]. Ведь при совмещении подобных утверждений подход рискует либо оказаться непоследовательным, либо, избегая этого, превратиться в вариацию, лишь внешне отличающуюся от австралийской. Однако эту проблему не нужно решать в рамках задач настоящей статьи (да и одной статьи может быть недостаточно), где теория тождества рассматривается как в первую очередь фундамент другой теории – иллюзионизма.

Более того, оба проекта все же рассматриваются как случаи физикалистской теории тождества во многом с общими корнями, с чем согласны и сами представители этих проектов, как было указано выше. Поэтому далее, рассматривая теорию тождества как предвестницу иллюзионизма, я буду концентрироваться именно на таких общих для ее вариаций моментах. А для более детального ознакомления с различиями австрийского и австралийского проектов отсылаю к работам Штубенберга и Шона Кроуфорда, которые вместе прекрасно, на мой взгляд, демонстрируют основания и проблемы выделения двух версий теории тождества.

Итак, последователи теории тождества в прямом смысле утверждали, что то, что мы называем ментальными процессами, событиями или свойствами, на самом деле является физическими процессами в мозге. Иными словами, есть не две различные субстанции,



а одна. В этом теоретики тождества гораздо более категоричны, чем, например, Аристотель или Кант, который, по словам Фейгла, был близок к тому, чтобы сказать, что содержанию нашего опыта соответствуют процессы в мозге [Feigl, 1958]. Однако именно в такой категоричности они видели одну из своих сильных сторон, поскольку их подход не требовал создания некоего нейтрального «третьего» термина – хорошо знакомые физические свойства и процессы выполняли всю работу, для которой противники теории тождества предлагали вторую субстанцию [Ibid.]. В этом плане теория тождества была и остается (пусть и не без новых проблем и вызовов) онтологически экономичной. Интересно еще и то, что, в частности, Плейс считал теорию тождества не противоречащей одной из главных альтернатив XX в. дуалистическому взгляду на сознание – философскому бихевиоризму [Кузнецов, Секацкая, 2018, с. 182].

При этом ее приверженцы понимали, что способ нашего описания физической реальности и того, что сейчас принято называть «феноменальным опытом», серьезно отличаются. Может показаться контринтуитивным утверждение теоретиков тождества, что мои убеждения, желания [Armstrong, 2022] или, например, радость вкусному супу на самом деле является физическим процессом в моем мозге – не соответствует ему (что оставляет возможность для параллелизма двух разных типов свойств), а буквально им является. В качестве прояснения Плейс, например, говорил об облаке: издавек мы описываем его как облако и не можем наблюдать, что оно состоит из множества мелких частиц; но, будучи внутри облака, мы бы наблюдали и описывали его именно как множество этих частиц, потеряв при этом возможность описания его как облака [Place, 1956, p. 47]. Все дело в том, что облако является группой множества частиц и ничем более [Ibid., p. 45]. Именно поэтому одно из указываемых теоретиками тождества преимуществ этого подхода – экономичность – относится скорее к метафизике, а не к концептам, как ожидал Джеквон Ким [Kim, 1966]. Теория тождества предполагает не отказ от разных языков описания, а отказ от расширения метафизики из-за одного из этих языков. Как и в случае с облаком, мы можем описывать физические процессы в мозге на языке феноменальных свойств, но это не значит, что такое описание вызвано свойствами, принципиально отличными от физических. Не исключено – скажут теоретики тождества, – что этот язык навеян нашей перспективой.

В качестве причины того, что центральный тезис сторонников теории тождества ментального и физического кажется контринтуитивным, Плейс указывал на «феноменологическую ошибку» [Place, 1956]. Она заключается в предположении, что, когда мы описываем свой опыт и то, как вещи для нас выглядят, звучат, пахнут, мы буквально описываем свойства объектов и событий, представленных



нам на особом внутреннем экране [Place, 1956]. То есть мы делаем предположение, что, когда «испытуемый сообщает о зеленом остаточном изображении, он утверждает, что внутри него находится объект, который в буквальном смысле является зеленым» [Ibid.]. В результате нам кажется, что содержание нашего опыта не может быть процессом в мозге, потому что эти нейронные процессы не могут быть зелеными, сладкими или страшными.

Еще одна важная особенность теории тождества – отсутствие метафизической необходимости идентичности ментального и физического [Lewis, 1966]. Главный тезис такого подхода основывается на том, что функциональное и психологическое содержание ментальных состояний не исключает возможности того, что они реализованы набором нейрофизиологических систем [Енч, 1983, р. 293]. Поэтому, как считает Берент Энч, любые логические возражения против утверждения «сознание – это процесс в мозге» не лучше, чем такие возражения против тезиса «молния – это движение электрических зарядов» [Ibid.].

Конечно, у теории тождества было немало затруднений. Так, например, можно указать на проблему верифицируемости ее основного положения, в чем она, в том числе, по мнению Вадима Васильева, разделяет проблему дуалистов, чей тезис о существовании отдельной субстанции для сознания также трудно верифицировать [Васильев и др., 2021, с. 8; Васильев, 2021, с. 115]. Однако в настоящем тексте я не буду останавливаться на том, насколько правдоподобен этот подход. Как я указывал в начале, в этой части я попытался лишь представить теорию тождества так, как это могли бы сделать ее сторонники. Теперь же, перед выяснением того, может ли иллюзионизм считаться самостоятельным подходом – пусть и вдохновленным теорией тождества, – перехожу к представлению иллюзионистской теории сознания.

Иллюзионизм

Иллюзионизм в философии сознания имеет долгую историю, и своими корнями он уходит еще в теорию тождества. Во многом вдохновителем иллюзионизма стал Дэниел Деннет; сейчас он является одним из самых влиятельных сторонников этого подхода. Но, строго говоря, иллюзионистская теория сознания была сформулирована Китом Фрэнкишем в 2016 г. в статье «Иллюзионизм как теория сознания» [Frankish, 2016].

Иллюзионисты предлагают альтернативу реалистическому объяснению аномальности феноменального сознания. Под феноменальным сознанием обычно понимают то, что придает нашему опыту качественный характер и благодаря чему испытывать опыт «каково-то». Именно феноменальное сознание, по мнению Дэвида Чалмерса,



ставит перед нами трудную проблему [Chalmers, 1997]. Радикальные реалисты (например, Чалмерс [Ibid.], Гален Стросон [Strawson, 2006], Филип Гофф [Goff, 2017]) следуют по пути радикальных изменений в научной картине мира, вводя особые нефизические феноменальные свойства; консервативные реалисты скажут, что феноменальность реальна, но имеет физическую природу (например, Питер Каррутерс [Carruthers, 2003] или Дэвид Папино [Papineau, 2002]). Однако иллюзионисты считают, что в последнем случае нельзя быть последовательным: вы либо вынуждены совершить переход к радикальному реализму, либо становитесь иллюзионистом и утверждаете, что нам только кажется, что есть особые феноменальные свойства, хотя на самом деле их нет [Frankish, 2016]. Последователи иллюзионистской теории сознания подчеркивают, что их подход нельзя назвать элиминативизмом или ирреализмом [Ibid.]. Во-первых, феноменальное сознание – это не просто теоретическая ошибка, а следствие работы интроспективных механизмов, в силу чего иллюзия феноменальности весьма устойчива. Эти механизмы могут быть, например, результатом эволюции [Humphrey, 2011]. Интроспекция в ходе репрезентации искажает данные, представляя сложные физические процессы как простые феноменальные свойства или «каково-это» опыта. Во-вторых, иллюзия феноменальности в отличие от самой феноменальности реальна и весьма эффективна, поскольку влияет на наши убеждения и поведение. Таким образом, вместо феноменальных свойств или квалиа иллюзионисты предлагают квазифеноменальные свойства, которые лишь кажутся феноменальными, но не являются таковыми на самом деле. А трудную проблему сознания они заменяют проблемой иллюзии, которая заключается в необходимости объяснить, почему возникает иллюзия феноменальности (в силу каких физических процессов) и почему она так устойчива [Frankish, 2016].

Соответственно, одним из центральных тезисов иллюзионистов является гипотеза об искажающей интроспекции. Так, Деннет демонстрирует, что у нас нет особого привилегированного доступа к тому, что называют «квалиа» [Dennett, 1988; Dennett 2005]. На отсутствие непосредственного доступа к ментальным состояниям указывали также Розлин Рей [Rey, 1995] или Дерк Перебум [Pereboom, 2011], который считает, что интроспекция может повсеместно искажать данные опыта так же, как наше восприятие систематически представляет объекты как обладающие цветом. При этом иллюзионисты не утверждают, что наш сознательный опыт иллюзорен или что его нет. Отрицание существования направлено именно на квалиа, имеющие нефизическую природу и, таким образом, требующие расширения метафизики [Frankish, 2022].

Такая экономичность – одно из преимуществ подхода, на которые обычно указывают его сторонники. Если, как считает Чалмерс,



в философии сознания мы вынуждены выбирать между плохими и очень плохими решениями, то, скажут иллюзионисты, любая форма радикального реализма – пример последнего. Главным образом они убеждены в этом потому, что считают важным сохранить предлагаемую наукой картину мира. Если же придерживаться реалистической позиции, то мы сталкиваемся с мистическими свойствами, которые недоступны с перспективы третьего лица – следовательно, и науке. Для иллюзионистов также принципиально важно сохранить возможность науки о сознании. Для реалистов же сознание ставит перед нами трудную проблему именно потому, что мы даже не знаем, в каком направлении нужно двигаться для ее решения (т.е. методы современной науки для этого не подходят).

Эти соображения напрямую связаны с еще одним преимуществом иллюзионизма, о котором часто говорят приверженцы этой теории сознания, – объяснительным потенциалом. Так, в отличие от реализма иллюзионизм предлагает программу исследования сознания. Она направлена на решение упомянутой проблемы иллюзии и включает в себя привлечение нейронаук и гетерофеноменологического метода, предложенного еще Деннетом [Dennett, 2005]. Последний представляет собой коллективную феноменологию, где отчеты испытуемых могут и должны быть проверены и описаны учеными. Такая комбинация основывается как раз на предположении иллюзионистов об отсутствии таких свойств, которые были бы принципиально недоступны внешнему наблюдателю.

Отсюда возникает и знаменитый ответ на не менее знаменитый джексоновский аргумент знания, связанный с мысленным экспериментом о нейроученой Мэри [Jackson, 1986].

«Мэри заперта в черно-белой комнате, получает образование по черно-белым книгам, а лекции транслируются по черно-белому телевидению. Таким образом, она узнает все, что нужно знать о физической природе мира. Она знает все физические факты о нас и нашем окружении в широком смысле слова “физическое”, которое включает в себя все, что есть в завершенной физике, химии и нейрофизиологии, и все, что нужно знать о причинно-следственных связях, вытекающих из всего этого...»² [Ibid.].

Если физикализм верен, то Мэри будет обладать полным знанием в том числе о цвете, но, выйдя из комнаты и увидев мир в цвете, Мэри, по мнению Фрэнка Джексона, получит новое знание, ведь она при всей полноте физической информации не знала до этого, «каково» видеть тот или иной цвет. Значит, знание о физических фактах не исчерпывает все возможное знание, и резонно заключить, что есть свойства, отличные от физических. Однако иллюзионисты ответят, что Джексон просто ошибся – на самом деле Мэри будет знать,

² Перевод мой. – М.Г.



каково видеть цвета. Да, описание того, какво видеть цвет, может быть гораздо больше и сложнее описания пейзажа, но это не значит, что оно невозможно, ведь нам просто сложно представить, что значит обладать всей физической информацией [Dennett, 2005]. Отмечу, что, по словам Фрэнкиша³, иллюзионисты не отрицают, что у Мэри будет новый опыт, которого не было прежде; но она при этом не узнает ничего нового. Выйдя из комнаты и оказавшись в цветном мире, Мэри скажет: «Да, это именно то, что я себе представляла». Так же как мы не удивимся, если нас приведут в комнату, детальное описание которой мы только что прочитали. «Да, именно так я себе ее и представлял», – скажем мы.

С подобным пассажем и объяснительными преимуществами иллюзионизма связан еще один аргумент, используемый его сторонниками – развенчивающий аргумент (англ. *debunking argument*). Он гласит, что, если мы можем объяснить все наши убеждения о феноменальном сознании, не обращаясь к нему, у нас нет оснований считать, что оно существует – так же как нет оснований верить, что существует НЛО, если мы можем объяснить все убеждения на этот счет игрой света, ракурсом и т.д. [Chalmers, 2020]. Хотя реалисты уже придумали простой ответ на него: хотя мы и можем объяснить наши убеждения и данные опыта, не прибегая к феноменальным свойствам, на самом деле именно они ответственны за реализацию сознательных процессов [Ibid.].

Но такие ответы не устраивают иллюзионистов, поскольку основаны на неспособности последних доказать невозможность существования феноменальных свойств. Именно поэтому, кстати говоря, одна из основных целей сторонников иллюзионизма в дискуссии с реалистами – показать, что иллюзионизм может быть верен. В то время как реалисты отрицают саму возможность этого. Но делают это большой ценой, ведь рискуют создать из квалиа некие сущности, эффект и существование которых мы даже не можем проверить [Frankish, 2016].

Конечно, иллюзионизм не лишен и ряда проблем. Так, например, помимо поставленной самими иллюзионистами проблемы иллюзии (в решении которой они пока не продвинулись), стоит обозначить, во-первых, трудности, связанные с верифицируемостью их тезиса о несуществовании нефизического. Да, эта проблема аналогична и для реалистов, которым нужно доказать его существование. Тем не менее последние могут требовать такой верификации от иллюзионистов. Во-вторых, иллюзионистов обвиняют в том, что они сами создают философское пугало квалиа, которое потом разрушают [Nida-Rümelin, 2016], или в том, что, пытаясь отрицать квалиа, они либо вынуждены их постулировать, либо рискуют отрицать

³ В личной беседе.



существование вообще всего [Brown, 2022]. Хотя в первом случае иллюзионисты готовы отрицать любое метафизически нагруженное предложенное им понятие квалиа, а во втором обвинят противников в том, что они ошибочно полагают, что можно предложить метафизически нейтральное понятие квалиа, которое бы описывало лишь очевидность нашего опыта [Frankish, 2012]. Кроме того, важен все еще не решенный вопрос о соотношении роли концептуализации в возникновении иллюзии, ведь от того, насколько она связана с применением теоретических рамок или случайных способов концептуализации, зависит и то, насколько реалистам будет сложно согласиться с возможностью ошибки [Горбачев, 2023, с. 24]. Ведь признать, что мы можем ошибаться из-за неверной интерпретации опыта, гораздо проще, чем признать ошибку, встроенную в сам опыт. И хотя все эти вопросы все еще обсуждаются, одним из главных вызовов для иллюзионизма является метапроблема иллюзии [Kammerer, 2018; Kammerer, 2021] – необходимость объяснения того, почему иллюзионистская теория кажется нам контринтуитивной. Однако стоит учитывать, что отчасти это часть уже упомянутой проблемы иллюзии, которая также заключается в объяснении силы и эффективности иллюзии феноменальности. Кроме того, сам тезис о контринтуитивности все еще требует разработки, ведь часто исследования, направленные на исследования интуиций о феноменальном сознании, дают противоположные результаты (см. [Gregory, Hendrickx & Turner, 2022; Diaz, 2021]).

Итак, я постарался кратко представить иллюзионистскую теорию сознания. Конечно, это можно сделать более подробно, но цель статьи – не обзор теории тождества и иллюзионизма, а демонстрация преимуществ последнего, с одной стороны, и его самостоятельности – с другой.

Новая теория?

Без труда можно было заметить некоторые сходства теории тождества и иллюзионизма. Многие из общих пунктов довольно явно прослеживаются, ведь даже человек, сформулировавший иллюзионистскую теорию сознания, на первых страницах соответствующей книги указывает на теорию тождества как один из подходов, оказавших влияние на его иллюзионизм [Frankish, 2017]. Тем не менее я хотел бы эксплицировать наиболее важные положения, присущие обоим теориям.

Во-первых, оба подхода представляют собой версии физикализма. Кроме того, я убежден, они являются и наиболее последовательными его версиями. Здесь я согласен с иллюзионистами в том, что



нельзя последовательно отстаивать консервативный реализм в отношении феноменального сознания или то, что Фрэнкиш назвал слабым иллюзионизмом [Frankish, 2016], который признает, что некоторые из характеристик квалиа (субъективность, внутренняя присущность, невыразимость, непосредственная данность и безошибочность [Lewis, 1956]) иллюзорны, но сами феноменальные свойства все же реальны. Сторонники таких подходов будут вынуждены либо отойти на позиции радикального реализма, если захотят сохранить реальность феноменального сознания; либо стать сильными иллюзионистами, поскольку феноменальность консервативных реалистов оказывается пустым понятием, недостаточным для того, чтобы считать его более чем иллюзией.

Во-вторых, одним из наиболее базовых положений и для иллюзионизма, и для теории тождества является утверждение тождества ментального и физического в том смысле, что ментальные состояния (для теоретиков тождества) или феноменальный опыт (для иллюзионистов) на самом деле являются физическими процессами в мозге, которые мы в силу ошибки считаем чем-то нефизическим. Хотя уже на этом этапе появляется разница в причине этой ошибки: для иллюзионизма это искажающее действие интроспекции, а для теории тождества – феноменологическая ошибка [Place, 1956, p. 44]. Несмотря на то, что иллюзионисты используют схожий аргумент (они называют его аргументом картезианского театра), они явно продвинулись дальше в отношении объяснения нашей ошибки. На этом я еще остановлюсь далее, когда буду рассматривать те отличия, которые делают иллюзионизм новой самостоятельной теорией.

В-третьих, обе теории во многом аргументируют свою привлекательность с прагматических позиций. К такому можно отнести и упомянутую экономичность – отсутствие необходимости расширять метафизику из-за особых нефизических ментальных/феноменальных состояний/свойств; и более ясные в отличие от нефизикалистских подходов перспективы исследования сознания. Если последние пока даже не знают, как может выглядеть наука о сознании и возможна ли она вообще, то последователи теории тождества и иллюзионизма уже на несколько шагов впереди в этом вопросе. Ведь для них наука о сознании почти ничем не отличается от других отраслей научного знания, занятых физической реальностью. Пожалуй, единственное серьезное отличие заключается в необходимости работы с отчетами людей о своих сознательных состояниях. В конце концов, иллюзионисты не утверждают, что Мэри могла бы знать, каково испытывать какой угодно опыт, если бы она не владела концептуальным аппаратом. Все же по условиям мысленного эксперимента она нейроученый. Таким образом, для обеих теорий свойственно также и указание на возможность изучения сознания с перспективы третьего лица, коллективно.



В-четвертых, как теоретики тождества, так и иллюзионисты не ставят себя в позицию знающих истину о сознании, а лишь предлагают правдоподобную гипотезу. Плэйс более пятидесяти лет назад писал, что тезис «сознание – это процесс в мозге» хотя и не является необходимо истинным, также не является необходимо ложным [Place, 1956, p. 44]. Для него это была в первую очередь обоснованная научная гипотеза, не являющаяся при этом ни противоречивой, ни самоочевидной [Ibid.]. Противники теории тождества, как правило, не пытались проверкой опровергнуть эту гипотезу (хотя здесь уместно вспомнить упомянутые проблемы с ее верификацией), а приводили аргументы, почему она просто не может оказаться верной. Современные иллюзионисты находятся в схожем положении. Критика со стороны реалистов обычно направлена на состоятельность ключевых положений иллюзионистов; они сомневаются, что эти положения в принципе могут быть верны. А иллюзионисты, как и когда-то теоретики тождества, защищают в первую очередь не истинность их тезисов, а возможность их истинности, хотя и осознают, что они могут казаться контринтуитивными из-за силы иллюзии феноменальности.

В-пятых, иллюзионистская теория сознания часто прибегает к схожим с теорией тождества ментального и физического аналогиям в поддержку своих утверждений. Так, сторонники обоих подходов используют образ внутреннего экрана для демонстрации причин ошибки противников [Енс, 1983]. Или проводят аналогии с неточностями и ошибками визуального опыта, который может давать нам искаженную или неполную информацию так же, как мы получаем ее о наших сознательных состояниях. Хотя иллюзионисты пользуются такими аналогиями гораздо чаще. Кроме того, вероятно, и те, и другие схожим образом могут ответить на аргумент зомби – аргумент против физикализма, согласно которому мы можем представить существ с идентичным нашему физическому строению, реакциями, но не обладающих феноменальным сознанием, из-за чего у них «темнота внутри» [Chalmers, 1995]. Хотя он появился позже теории тождества, последняя обладает всеми инструментами, чтобы последовать здесь за иллюзионизмом: на самом деле, поскольку то самое сознание и есть физические процессы, не так-то и просто представить существ, обладающих этими процессами, но не обладающих сознанием. Допускаю, что такой ход возможен даже без утверждения о необходимости психофизического тождества, как предлагает Дмитрий Иванов, рассматривая возможную критику теории в контексте крипкеанского взгляда на необходимость тождества [Иванов, 2011, с. 222]. Да, будет уместно сказать, что это следствие пока не доказанной гипотезы. Но важно, что представимость зомби и не опровергает эту гипотезу.

Как видно, оснований считать иллюзионизм теорией тождества в новой обертке можно найти достаточно. Однако я не стал бы делать



такой вывод, поскольку не меньше можно привести соображений и в пользу принципиальной новизны иллюзионистской теории. Как минимум некоторые из них я обозначу далее. Сразу отмечу, что эти соображения не призваны показать, что теория тождества устарела или менее предпочтительна, чем иллюзионизм. Главная задача – продемонстрировать новизну и самостоятельность иллюзионистского подхода. Да и сказать, что иллюзионизм заменил теорию тождества, также нельзя. Ведь, во-первых, многие физикалисты с опаской относятся к этому подходу. Например, Николас Хамфри, который, оставаясь физикалистом, изменил в угоду привлекательности своей позиции язык ее описания, адаптировав ряд феноменальных понятий и дав название «сюрреализм» [Humphrey, 2016]. Во-вторых, можно без труда найти недавние работы, разрабатывающие или защищающие именно теорию тождества (см. [Jackson, 2012; Gozzano, 2023; Galus, 2023]).

Начну с того, что, как бы тривиально это ни звучало, иллюзионизм – во многом ответ на поставленную Чалмерсом и поддерживаемую другими реалистами трудную проблему сознания. Конечно, мы можем увидеть ее корни в дискуссиях времен появления теории тождества и будем правы. Но с тем же успехом мы можем обратиться и к временам Декарта или еще раньше – к древним грекам. Ведь проблема соотношения сознания и тела – пусть и в иной форме – интересовала многих мыслителей. Такая преемственность несколько не умаляет последующие достижения философии, а наоборот – дает им точку опоры и позволяет не ходить теми же путями, что их предшественники, а искать новые проблемы и решения. Также и в случае дискуссии реалистов и иллюзионистов. Это новая дискуссия, со своими проблемами, понятийным аппаратом и аргументами. В частности, теоретики тождества точно не предлагали заменить трудную проблему проблемой иллюзии. Если они и использовали в текстах указание на нашу ошибку, когда нам кажется, что наши сознательные состояния – это некие непосредственно данные нефизические сущности, они ни в коем случае не говорили о концептуально нагруженном понятии иллюзии. В то время как иллюзия феноменальности – это гораздо более разработанное понятие, чем ошибка в рассуждении или просто кажимость. Это понятие предлагает новую исследовательскую программу. Новая она еще и за счет тех вызовов, на которые ей приходится отвечать, которые за пятьдесят с лишним лет также эволюционировали. Тем не менее рассмотренный довод взывает, скорее, к здравому смыслу, согласно с которым, по моему мнению, нельзя считать иллюзионизм недостаточно самостоятельным хотя бы в силу новых проблем, которые он решает, и, соответственно, новых предлагаемых по этому поводу решений. Теперь же я перейду к более определенным соображениям в пользу этой самостоятельности.



Во-первых (соображения приведены не в порядке значимости), иллюзионисты не приемлют нейтральной трактовки нефизических свойств, которые не тождественны состояниям мозга. Теоретики тождества могут предложить «нейтральные» свойства опыта, вероятно, чтобы избежать контринтуитивности некоторых из своих положений [Enç, 1983]. Иллюзионисты же в духе своего контраргумента против слабого иллюзионизма или консервативного реализма скажут, что если содержания этих нейтральных свойств недостаточно, чтобы считать их проявлением феноменального сознания, то это на самом деле физические свойства, данные нам в искаженном, неполном виде⁴.

Во-вторых, иллюзионисты не только ставят перед собой другую проблему, но и, скорее всего, не согласились бы с формулировкой проблемы соотношения сознания и тела, предложенной одним из главных сторонников теории тождества Фейглом. Для него проблема заключается в интерпретации соотношения между «сырыми чувствами» и нейронными процессами [Feigl, 1958]. При этом стоит сделать оговорку о том, что Фейгл – сторонник именно австрийской версии теории тождества, одной из главных особенностей которой является акцент на квалиа или сырых чувствах. Иллюзионистская теория сознания занимает здесь иную позицию как минимум по двум пунктам. То, что называют «сырыми чувствами», на самом деле уже подвержено интерпретации. Ведь – скажет иллюзионист – мы не видим что-то, а потом на внутреннем экране внутренний наблюдатель думает, что же это – книга или ваза. Мы сразу видим именно книгу. Кроме того, перед иллюзионизмом даже не может стоять проблема соотношения этих «сырых чувств» (не беря в расчет отрицание существования их «сырости») и процессов в мозге, поскольку для них это буквально одно и то же, но в первом случае искаженное в ходе интроспективной репрезентации. Кроме того, как уже упоминалось, любые попытки предложить нейтральное понятие для квалиа иллюзионизм считает заранее обреченными на провал, так как у него не будет содержания, отличного от классического понятия или от иллюзионистского понятия квазифеноменальных свойств, которые лишь предрасполагают нас к феноменальным суждениям.

В-третьих, теория тождества ментального и физического в попытке объяснить наш опыт оставляет возможность назвать именно его референтом языков интроспекции и нейронаук. Однако для иллюзионистов главным и единственным референтом обоих способов описания будут физические процессы в мозге, а то, что мы называем субъективным опытом, хотя и не отрицается ими (разумеется, без онтологически особых свойств), но является вторичным, так как

⁴ Все еще ведется дискуссия относительно соотношения интроспективного искажения и неполноты интроспективного знания.



представляет собой простую репрезентацию этих процессов с помощью специальных физических механизмов. В крайнем случае, иллюзионист может указать на иллюзию феноменальности в качестве референта феноменального языка.

В-четвертых, не могу не обратить внимание отдельно на понятие иллюзии, которое выполняет широкий набор функций в теории. От решения старых проблем до постановки новых. Так, например, одним из возражений против теории тождества было указание на неясность главного тезиса ее сторонников. Что значит, что боль тождественна состоянию мозга [Kim, 1966, p. 231]? И, действительно, теории тождества, отвечая на подобный вопрос, скорее, стали бы объяснять, что значит их тезис. Но проблема не в смысле их утверждения, а в том, что им предполагается. Если мы скажем, например, что Бог тождественен природе, нас попросят объяснить, каков механизм этого тождества. Какие у него следствия и как оно реализовано. И такую роль выполняет понятие иллюзии. Иллюзионист без проблем сможет объяснить свои ключевые тезисы не только семантически, но и те механизмы, которые вовлечены в реализацию того, что этими тезисами подразумевается. Это, пожалуй, один из самых серьезных шагов вперед в сравнении с теорией тождества. Да, иллюзионистам еще предстоит решить проблему иллюзии и метапроблему иллюзии – объяснить, какие физические процессы стоят за возникновением иллюзии феноменальности, почему она столь сильна и устойчива. Но то, что это трудная задача, не значит, что она невыполнима.

И в-пятых, иллюзионистская программа в гораздо большей степени строится на эпистемологически значимых утверждениях. Да, в своей основе обе теории представляют собой проект физикалистской метафизики в отношении сознания. Однако теория тождества менее заинтересована в особенностях эпистемологической ситуации сознания. Она говорит, что расширять метафизику не нужно, потому что сознание можно вписать и в научную картину мира. Отчасти это можно объяснить отсутствием подробной гипотезы о механизмах, в результате работы которых нам кажется, что сознание не вписывается в физическую реальность. Иллюционисты же очень много внимания уделяют доказательству того, что на самом деле эпистемологическая ситуация феноменального сознания лишена некоторых из тех уникальных особенностей, которые убеждают реалистов в ее нефизической природе. Но это в свою очередь объясняется и тем, что иллюзионистская теория во многом реагирует на поставленную Чалмерсом трудную проблему, которая и сама в значительной мере является результатом ряда утверждений именно об аномальности и особенности этой эпистемологической ситуации. Именно на непосредственную данность, приватность, безошибочность направлена во многом критика иллюзионизма.



Заключение

Полагаю, приведенных соображений достаточно, чтобы считать иллюзионизм серьезным развитием идей теории тождества. Он предлагает нам новую дискуссию, новые решения новых и старых проблем философии сознания, а также обладает большей объяснительной силой, чем его предшественница, за счет того, что современной теории сознания нужно большее объяснить. В то же время нельзя закрыть глаза и на многочисленные сходства с теорией тождества, которая, по заявлениям и самих иллюзионистов, стала одним из вдохновителей их подхода, который унаследовал как ряд преимуществ, так и проблем теории тождества. Эта история связи двух теорий, рассмотренная в тексте, говорит о том, что создание нового подхода, нового решения проблемы ничего не теряет, оглядываясь на прошлые достижения. Если бы современные иллюзионисты не воспользовались уже пройденным теоретиками тождества путем, то, возможно, им не хватило бы сил на то, чтобы пойти дальше.

Список литературы

Васильев и др., 2021 – *Васильев В.В., Столджар Д., Макгинн К., Франкиш К., Деннет Д., Олсон Э.* Дискуссия. Локальная естественная супервентность и причинность // *Финиковый Компот.* 2021. № 16. С. 2–27.

Васильев, 2021 – *Васильев В.В.* Человеческое сознание и его носители: можем ли мы превратить себя в роботов? // *Вопросы философии.* 2021. № 9. С. 105–117.

Горбачев, 2023 – *Горбачев М.Д.* Иллюзионизм и квалиа // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология.* 2023. № 76. С. 18–26.

Иванов, 2011 – *Иванов Д.В.* Модальная метафизика и психофизическая проблема // *Именование, необходимость и современная философия* / Под ред. В.В. Горбатова. СПб.: Алетейя, 2011. С. 211–223.

Кузнецов, Секацкая, 2018 – *Кузнецов А.В., Секацкая М.А.* Философия Уллина Плейса: от мистицизма к материализму // *Философия. Журнал Высшей школы экономики.* 2018. Т. 2. № 4. С. 181–192.

References

Armstrong, 2022 – *Armstrong, D. A Materialist Theory of the Mind.* Taylor & Francis, 2022.

Boring, 1933 – *Boring, E.G. The Physical Dimensions of Consciousness.* The Century Co, 1933.



Brown, 2022 – Brown, C.D. “Why Illusionism about Consciousness is Unbelievable”, *Ratio*, 2022, vol. 35, no. 1, pp. 16–24.

Carruthers, 2003 – Carruthers, P. *Phenomenal Consciousness: A Naturalistic Theory*. Cambridge University Press, 2003.

Chalmers, 2020 – Chalmers, D. “Debunking Arguments for Illusionism about Consciousness”, *Journal of Consciousness Studies*, 2020, vol. 27, no. 5–6, pp. 258–281.

Chalmers, 1995 – Chalmers, D.J. “Facing up to the Problem of Consciousness”, *Journal of Consciousness Studies*, 1995, vol. 2, no. 3, pp. 200–219.

Chalmers, 1997 – Chalmers, D.J. *The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory*. Oxford Paperbacks, 1997.

Crawford, 2013 – Crawford, S. “The Myth of Logical Behaviourism and the Origins of the Identity Theory”, in: M. Beaney (ed.), *The Oxford Handbook of The History of Analytic Philosophy*. Oxford University Press, 2013, pp. 621–655. 2013.

Dennett, 1988 – Dennett, D.C. “Quining Qualia”, *Consciousness in Contemporary Science*, 1988, pp. 42–77.

Dennett, 2005 – Dennett, D.C. *Sweet Dreams: Philosophical Obstacles to a Science of Consciousness*. MIT press, 2005.

Díaz, 2021 – Díaz, R. “Do People Think Consciousness Poses a Hard Problem?: Empirical Evidence on the Meta-Problem of Consciousness”, *Journal of Consciousness Studies*, 2021, vol. 28, no. 3–4, pp. 55–75.

Enç, 1983 – Enç, B. “In Defense of the Identity Theory”, *The Journal of Philosophy*, 1983, vol. 80, no. 5, pp. 279–298.

Feigl, 1958 – Feigl, H. “The ‘Mental’ and the ‘Physical’”, *Minnesota Studies in the Philosophy of Science*, 1958, vol. 2, no. 2, pp. 370–497.

Feigl, 1950 – Feigl, H. “The Mind-Body Problem in the Development of Logical Empiricism”, *Revue internationale de Philosophie*, 1950, pp. 64–83.

Frankish, 2012 – Frankish, K. “Quining Diet Qualia”, *Consciousness and Cognition*, 2012, vol. 21, no. 2, pp. 667–676.

Frankish, 2016 – Frankish, K. “Illusionism as a Theory of Consciousness”, *Journal of Consciousness Studies*, 2016, vol. 23, no. 11–12, pp. 11–39.

Frankish, 2022 – Frankish, K. “Illusionism is no Trick”, *Human Affairs*, 2022, vol. 32, no. 3, pp. 321–327.

Frankish, 2017 – Frankish, K. *Illusionism: as a Theory of Consciousness*. Andrews UK Limited, 2017.

Galus, 2023 – Galus, W. “Mind – Brain Identity Theory Confirmed?”, *Cognitive Neurodynamics*, 2023, pp. 1–21.

Goff, 2017 – Goff, P. *Consciousness and Fundamental Reality*. Oxford University Press, 2017.

Gorbachev, 2023 – Gorbachev, M.D. “Illuzionizm i kvalia” [Illusionism and Qualia], *Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*, 2023, no. 76, pp. 18–26. (In Russian)

Gozzano, 2023 – Gozzano, S. “Blocking Kripke’s Argument Against the Type-Identity Theory of Mind”, *Acta Analytica*, 2023, vol. 38, no. 3, pp. 371–391.

Gregory, Hendrickx, Turner, 2022 – Gregory, D., Hendrickx, M., Turner, C. “Who Knows What Mary Knew? An Experimental Study”, *Philosophical Psychology*, 2022, vol. 35, no. 4, pp. 522–545.



Humphrey, 2016 – Humphrey, N. “Redder than Red: Illusionism or Phenomenal Surrealism?”, *Journal of Consciousness Studies*, 2016, vol. 23, no. 11–12, pp. 116–123.

Humphrey, 2011 – Humphrey, N. *Soul Dust: The Magic of Consciousness*. Princeton University Press, 2011.

Ivanov, D.V. “Modal’naya metafizika i psikhofizicheskaya problema” [Modal Metaphysics and the Psychophysical Problem], in: V.V. Gorbatov (ed.) *Imenovanie, neobkhodimost’ i sovremennaya filosofiya* [Naming, Necessity and Modern Philosophy]. SPb.: Aleteiya Publ., 2011, pp. 211–223. (In Russian)

Jackson, 2012 – Jackson, F. et al. “In Defence of the Identity Theory Mark I”, *New Perspectives on Type Identity: The Mental and the Physical*, 2012, pp. 150–166.

Jackson, 1986 – Jackson, F. “What Mary Didn’t Know”, *The Journal of Philosophy*, 1986, vol. 83, no. 5, pp. 291–295.

Kammerer, 2018 – Kammerer, F. “Can you Believe It? Illusionism and the Illusion Meta-Problem”, *Philosophical Psychology*, 2018, vol. 31, no. 1, pp. 44–67.

Kammerer, 2021 – Kammerer, F. “The Illusion of Conscious Experience”, *Synthese*, 2021, vol. 198, no. 1, pp. 845–866.

Kim, 1966 – Kim, J. “On the Psycho-Physical Identity Theory”, *American Philosophical Quarterly*, 1966, vol. 3, no. 3, pp. 227–235.

Kuznetsov, Sekatskaya, 2018 – Kuznetsov, A.V., and M.A. Sekatskaya. “Filosofiya Ullina Pleysa: ot mistitsizma k materializmu” [The Philosophy of Ullin Place: From Mysticism to Materialism], *Philosophy. Journal of the Higher School of Economics*, 2018, vol. 2, no. 4, pp. 181–192. (In Russian)

Lewis, 1956 – Lewis, C.I. *Mind and the World-Order: Outline of a Theory of Knowledge*. Courier Corporation, 1956.

Lewis, 1966 – Lewis, D.K. “An Argument for the Identity Theory”, *The Journal of Philosophy*, 1966, vol. 63, no. 1, pp. 17–25.

Libet, 1999 – Libet, B. “Do we Have Free Will?”, *Journal of Consciousness Studies*, 1999, vol. 6, no. 8–9, pp. 47–57.

Nida-Rümelin, 2016 – Nida-Rümelin, M. “The Illusion of Illusionism”, *Journal of Consciousness Studies*, 2016, vol. 23, no. 11–12, pp. 160–171.

Papineau, 2002 – Papineau, D. *Thinking about Consciousness*. Clarendon Press, 2002.

Pereboom, 2011 – Pereboom, D. *Consciousness and the Prospects of Physicalism*. Oxford University Press, USA, 2011.

Place, 1960 – Place, U.T. “Materialism as a Scientific Hypothesis”, *The Philosophical Review*, vol. 69, no. 1, pp. 101–104.

Place, 1990 – Place, U.T. “EG Boring and the Mind-Brain Identity Theory”, *The British Psychological Society, History and Philosophy of Psychology Newsletter*, 1990, vol. 11, pp. 20–31.

Place, 1956 – Place, U.T. “Is Consciousness a Brain Process?”, *British Journal of Psychology*, 1956, vol. 47, no. 1, pp. 44–50.

Rey, 1995 – Rey, R. *The History of Pain*. Harvard University Press, 1995.

Schlick, 1974 – Schlick, M. *General Theory of Knowledge*. Springer Science & Business Media, 1974, vol. 11.

Smart, 1959 – Smart, J.J.C. “Sensations and Brain Processes”, *The Philosophical Review*, 1959, vol. 68, no. 2, pp. 141–156.



Strawson, 2006 – Strawson, G. “Panpsychism?: Reply to Commentators with a Celebration of Descartes”, *Journal of Consciousness Studies*, 2006, vol. 13, no. 10–11, pp. 184–280.

Stubenberg, 1997 – Stubenberg, L. “Austria vs. Australia: Two Versions of the Identity Theory”, *Austrian Philosophy Past and Present: Essays in Honor of Rudolf Haller*. Dordrecht: Springer Netherlands, 1997, pp. 125–146.

Vasilyev, V.V. “Chelovecheskoe soznanie i ego nositeli: mozhem li my prevratit’ sebya v robotov?” [Human Mind and Its Carriers: Is It Possible to Transform Ourselves into Robots?], *Voprosi Filosofii*, 2021, no. 9, pp. 105–117. (In Russian)

Vasilyev, V., Olson, E., Stoljar, D., McGinn, C., Frankish, K., Dennett, D. “Diskussiya. Lokal’naya estestvennaya superventnost’ i prichinnost’” [Discussion. Local Natural Supervenience and Causation], *Date Palm Compote*, 2021, no. 6, pp. 2–27. (In Russian)

Философия общения и искусственный интеллект: опыт сравнительного анализа дискуссий в отечественной и зарубежной литературе

Резаев Андрей

Владимирович – доктор философских наук, профессор, руководитель международной исследовательской лаборатории ТАНДЕМ. Санкт-Петербургский государственный университет. Российская Федерация, 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, 9-й подъезд;
e-mail: rezaev@hotmail.com

Трегубова Наталья

Дамировна – кандидат социологических наук, доцент. Санкт-Петербургский государственный университет. Российская Федерация, 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, 9-й подъезд;
e-mail: n.tregubova@spbu.ru

Статья посвящена сравнительному анализу трех дискуссий о проекте искусственного интеллекта, проходивших по обе стороны «железного занавеса», начиная с 1960-х гг.: 1) Э.В. Ильенков – Д.И. Дубровский (СССР), 2) Х. Дрейфус – представители компьютерных наук (США), 3) Х. Дрейфус – Г. Коллинз (США – Великобритания). В качестве основания для сравнительного анализа дискуссий выступает типология парадигм общения, предполагающая существование трех принципиально разных взглядов на человека как на социальное существо. Эти взгляды могут быть перенесены на представления о человеке в рамках различных направлений теории и критики искусственного интеллекта. Информационно-инструментальная парадигма ставит проблему общения в терминах взаимосвязи – взаимодействия и обмена образованиями материального и духовного порядка (Д.И. Дубровский, представители компьютерных наук). Социально-институциональная парадигма рассматривает общение как персонификацию, актуализацию и реализацию структурной характеристики общества – общественных отношений (Э.В. Ильенков). Экзистенциально-феноменологическая парадигма характеризует общение как реализацию внутренней потенции самосознающего индивида (Х. Дрейфус). Выделяются «два с половиной этажа» в исследованиях проблем, связанных с вхождением технологий искусственного интеллекта в жизнь общества, для каждого из которых характерна особая парадигмальная структура и особый способ постановки исследовательских проблем: 1) философия, компьютерные и когнитивные науки; 2) социальные науки; 3) междисциплинарные исследования. В завершение выделены «новые старые вопросы», которыми сегодня структурируется поле социальной аналитики искусственного интеллекта и искусственной социальности.

Ключевые слова: искусственный интеллект, искусственная социальность, Э.В. Ильенков, Д.И. Дубровский, Х. Дрейфус, Г. Коллинз, парадигмы общения





PHILOSOPHY OF SOCIAL INTERCOURSE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: A COMPARATIVE ANALYSIS

Andrey V. Rezaev –
DSc in Philosophy, Head
of International Research
Laboratory TANDEM.
Saint Petersburg State
University.
1/3-9 Smolnogo St.,
Saint Petersburg 191124,
Russian Federation;
e-mail: rezaev@hotmail.com

Natalia D. Tregubova –
PhD in Sociology, Associate
Professor of Comparative
Sociology Chair.
Saint Petersburg State
University.
1/3-9 Smolnogo St.,
Saint Petersburg 191124,
Russian Federation;
e-mail: n.tregubova@spbu.ru

The paper aims to analyze three discussions pertaining to the artificial intelligence project that took place on both sides of the "Iron Curtain" since the 1960s: 1) E.V. Ilyenkov – D.I. Dubrovsky (USSR), 2) H. Dreyfus – computer scientists (USA), 3) H. Dreyfus – H. Collins (USA – UK). The authors observe the originality of the arguments of Soviet philosophers in comparison with the discussions in the US and UK. The basis for a comparative analysis of these discussions is the typology of social intercourse paradigms, which assumes the existence of three fundamentally different views of humans as social beings: the information-instrumental, the existential-phenomenological, and the social-institutional paradigms. These views correlate with the ideas about humans within different theoretical structures examining artificial intelligence. The information-instrumental paradigm poses the problem of social intercourse regarding communication, material, and informational exchange (D.I. Dubrovsky, computer scientists). The social-institutional paradigm considers social intercourse as personification, actualization, and implementation of the structural characteristics of social relations (E.V. Ilyenkov). The existential-phenomenological paradigm characterizes social intercourse as the realization of the internal potency of a self-conscious individual (H. Dreyfus). The paper exposes that the theoretical and methodological foundations of the discussions under consideration are similar to the paradigmatic foundations of the analysis of social intercourse in social philosophy and social sciences. There are "two and a half floors" in the research of problems associated with the entry of artificial intelligence technologies into the everyday life of society: 1) philosophy, computer and cognitive sciences; 2) social sciences; 3) interdisciplinary research. A particular paradigmatic structure and a unique research problem characterize each of them. In conclusion, "new old questions" are highlighted that structure the field of contemporary social analytics for studying artificial intelligence and artificial sociality.

Keywords: artificial intelligence, artificial sociality, E.V. Ilyenkov, D.I. Dubrovsky, H. Dreyfus, H. Collins, social intercourse paradigms

Постановка проблемы

Едва ли можно сомневаться в том, что время, которое мы переживаем сегодня, властно и решительно требует новых подходов к осмыслению взаимодействий человека с «умными» машинами и алгоритмами. Однако даже беглый взгляд на содержание современных дискуссий об искусственном интеллекте (ИИ) позволяет заметить, что вопросы, в них обсуждаемые, формулировались еще пятьдесят-семь-



десять лет назад. Причем особенностью современных выступлений и дискуссий об инструментах и технологиях ИИ является тот факт, что их участники занимают не просто противоположные, но несоизмеримые позиции. Нам представляется логичным и необходимым проанализировать «старые» дебаты об ИИ, характерные для второй половины прошлого столетия, обращая внимание на их значимость для развития сегодняшнего и завтрашнего взглядов на искусственный интеллект и искусственную социальность (ИС)¹.

Нашей целью в данной работе является анализ дискуссии об «умных машинах», имевшей место в СССР, в сравнении с дискуссиями, проходившими параллельно в США. На основании предпринятого анализа будет определена и обоснована их актуальность для современной социальной аналитики. В рамках настоящей статьи мы обратим особое внимание на три дискуссии: 1) Э.В. Ильенков – Д.И. Дубровский, 2) Х. Дрейфус – С. Пайперт, Дж. Маккарти и другие представители компьютерных наук, 3) Х. Дрейфус – Г. Коллинз.

Каковы причины, определившие выбор именно этих трех дискуссий? Во-первых, выбранные нами дискуссии являются *междисциплинарными* – они проходят между представителями разных дисциплин и исследовательских традиций. Их участники основываются на разных допущениях об искусственном и о естественном интеллекте, которые в процессе взаимной критики становятся очевидны. Во-вторых, в отличие от некоторых других дебатов², в трех дискуссиях, к которым мы обращаемся, участники не могут договориться о самих основаниях спора, поскольку занимают принципиально разные позиции по поводу того, что есть человек – не сознание, не интеллект, не разум, а именно человек. Сам проект ИИ изначально был адисциплинарным: разработчики стремились воспроизвести человека в целом, и здесь им не могла помочь никакая конкретная научная дисциплина³. Нас же интересуют *адисциплинарные* дискуссии о проблеме ИИ, поскольку именно они позволяют увидеть в наибо-

¹ Под искусственной социальностью здесь и далее понимается система взаимодействий с участием человека и искусственного интеллекта, в которых ИИ может выступать как посредником во взаимодействии между людьми, так и самостоятельным участником [Резаев, Трегубова, 2019].

² Например, вокруг мысленного эксперимента с «китайской комнатой» Дж. Сёрля и дискуссии вокруг работ Р. Пенроуза.

³ Сегодня «искусственный интеллект» – это субдисциплина внутри компьютерных наук, которая занимается решением технических задач. Вместе с тем изначально проект ИИ – проект воспроизведения человека – остается адисциплинарным предприятием. Представляется, что и проблемы вхождения технологий ИИ в жизнь общества (проблемы искусственной социальности) в конечном счете могут быть решены только при выходе за существующие дисциплинарные границы. Вместе с тем сегодня эти проблемы, как мы увидим, разрабатываются в рамках конкретных дисциплин и междисциплинарных направлений.



лее чистом виде структуру разногласий о данной проблеме, о самой ее постановке.

Теоретико-методологическим основанием для сопоставления и анализа различных позиций и положений о проблемах ИИ и ИС в рамках настоящего рассуждения выступает концепция *парадигм общения*, сформулированная одним из авторов настоящей статьи [Резаев, 1993]⁴. Функционируя на различных уровнях социальной реальности, феномен общения предполагает принципиально разную постановку исследовательских проблем. Парадигмы общения относятся, в широком смысле, к способам исследования этих проблем в социальной философии:

1) *Информационно-инструментальная парадигма* ставит проблеме общения в терминах взаимосвязи – взаимодействия и обмена образованиями материального и духовного порядка – способностями, деятельностью, информацией, мыслями, чувствами.

2) *Социально-институциональная, или марксистская, парадигма* (ее теоретико-методологические основания оформились в рамках историко-материалистической традиции) рассматривает общение как персонификацию, актуализацию и реализацию структурной характеристики общества – общественных отношений.

3) *Экзистенциально-феноменологическая парадигма* характеризует общение как реализацию внутренней потенции самосознающего индивида.

Три парадигмы общения в социальной философии – это три принципиально разных ответа на вопрос, что такое человек как социальное, общающееся существо. Причем эти ответы вовсе не обязательно предполагают некоторое эмпирическое измерение, проверку (так, экзистенциально-феноменологическая парадигма отвергает саму возможность такой «проверки»).

В отличие от философского, социологический анализ общения структурируется не парадигмами, а дилеммами (вопросами), которые характеризуют разные решения при построении теоретических моделей [Резаев, Трегубова, 2017]. Различные социологические теории включают элементы разных парадигм общения; тем не менее не возникает универсальной социологической теории общения. Разные теоретики предлагают разные термины и концептуальные модели для характеристики различных сторон общения. Эти модели харак-

⁴ Как отмечал Ю.В. Перов, один из признанных лидеров ленинградской-петербургской школы в отечественной философии, концепция парадигм общения «стала наиболее основательным из отечественных исследований социально-философских теорий общения... и поныне сохранила это свое значение, несмотря на то, что за прошедшее время появилось немало отечественных публикаций, существенно расширяющих и углубляющих представления о разработке проблематики общения в зарубежной философии» [Перов, 2004, с. 10].



теризуются выбором разных сторон в дилеммах – взаимоисключающих ответах на вопросы об общении. В результате возникают эклектичные (с точки зрения социальной философии), но гораздо более привязанные к эмпирическому анализу теории и концепции.

Данная структура знания – с одной стороны, парадигмы философского анализа, с другой – вопросы, характеризующие концепции в эмпирических науках, – будет далее наложена на дискуссии об ИИ и ИС.

Приведем два принципиальных аргумента, обуславливающих соотнесение парадигмальной структуры феноменов общения с логикой развития ИИ.

Во-первых, различные парадигмы общения характеризуют разные взгляды на человека как общающееся существо. От понимания человека, как мы надеемся показать, зависит и взгляд на ИИ как на проект воспроизведения человеческих способностей.

Во-вторых, концепция парадигм общения помогает в социальной аналитике взаимозависимости «человек-алгоритм», которая становится все более актуальной и насущной задачей [Резаев, Трегубова, 2023]. Здесь возникают принципиальные затруднения: не ясно, что принимать за базовые элементы взаимозависимости, по каким основаниям выделять ее факторы и механизмы. Соответственно, логично для начала сформулировать более простую задачу – анализ взаимодействия между человеком и ИИ. Следующий шаг, который часто предлагают, – рассмотреть эти взаимодействия как последовательность коммуникаций (информационных и материальных обменов). Однако здесь и кроется проблема: взаимодействия между человеком и ИИ по их социальному, психологическому, этическому последствиям принципиально несводимы к коммуникациям. Именно здесь возникает эвристическая ценность типологии парадигм общения, которая позволяет зафиксировать разные перспективы на процесс общения людей и по аналогии на процесс взаимодействия человека с ИИ.

Проблема ИИ в советской философии

Каким образом проблематика «искусственного интеллекта» актуализировалась в советской философской и научной мысли? В СССР то, что на английском языке получило название *artificial intelligence* и стало отдельным исследовательским направлением, развивалось под именем «кибернетики» [Kirtchik, 2023]. Проект ИИ изначально вдохновлялся стремлением воссоздать и превзойти человеческий разум, в то же время в Советском Союзе был альтернативный проект – построения коммунизма и воспитания нового советского человека. Поэтому для советских философов проблема «умных



машин»⁵ возникала в связи с вопросом о том, что такое человек и какую роль ИИ может играть в жизни людей при капитализме и коммунизме.

В рамках настоящего рассуждения мы обратимся к анализу одной, наиболее яркой дискуссии (точнее, серии дискуссий) – между Э.В. Ильенковым и Д.И. Дубровским. Предметом дебатов между этими авторами становились разные вопросы: что определяет возникновение и развитие психики человека, что есть норма, патология и гениальность, что есть идеальное как философская категория. Отдельно следует выделить споры по поводу результатов Загорского эксперимента по обучению слепоглухонемых детей. Здесь нас будет интересовать не анализ самих дискуссий (тем более что эта задача уже предпринималась, и неоднократно), а то, какое место в аргументации каждого из авторов занимает проблематика «умных машин», что они имеют сказать о проблемах ИИ.

Проблематика ИИ в аргументах Э.В. Ильенкова и Д.И. Дубровского возникает как побочная: сравнение человека с «умной машиной» позволяет лучше высветить специфику самого человека и его место в этом мире. При этом Д.И. Дубровского, как мы увидим, следует отнести к информационно-инструментальной парадигме общения, Э.В. Ильенкова – к марксистской (социально-институциональной): оба автора мало пишут собственно об общении, однако они разделяют базовые предпосылки соответствующих парадигм о человеке. Отметим также: собственно об ИИ Ильенков и Дубровский не дискутируют, хотя они занимают разные позиции по поводу его принципиальной возможности. И различие это связано именно с разным представлением о человеке – а об этом авторы как раз спорят.

Как в аргументации каждого из авторов актуализируется проблематика ИИ?

Э.В. Ильенков – одна из наиболее ярких фигур в советской философии, оригинальный марксистский философ, полемизировавший с официальным марксизмом, человек, оказавший значительное влияние на своих современников. Проблематика ИИ была для него побочной, однако и в ней он сумел сформулировать тезисы, которые представляют интерес и сегодня. В своих работах, затрагивающих проблематику ИИ [Арсеньев и др., 1966; Ильенков, 1968]⁶,

⁵ Следует отметить, что терминология советскими авторами используется разная – искусственный интеллект, машина, компьютер и др.

⁶ В 1966 г. Э.В. Ильенков в соавторстве со своими коллегами-психологами А.С. Арсеньевым и В.В. Давыдовым публикует статью, основные положения которой затем раскрываются в его монографии 1968 г. «Об идолах и идеалах». Соавторы статьи разделяли взгляд на человека в рамках теории деятельности, который определяет их интерес к отличиям между человеком и машиной. Ильенков, как представляется, формулирует собственно философские аргументы, на которых



Э.В. Ильенков полемизирует с тем взглядом на проект ИИ, который был характерен для его основателей в США⁷. Взгляд этот (распространенный и сегодня) состоит в том, что люди могут/должны стремиться создать машину, которая будет умнее, эффективнее, работоспособнее их, которая воспроизведет и превзойдет человеческие способности. Ильенков критикует данное положение по двум основаниям: а) это невозможно, человек и машина принципиально отличны; б) современное распространение машин, восхищение и страх перед ними связаны с эксплуатацией человека человеком при капитализме.

Прежде всего Ильенков с соавторами проводят различие между мозгом и мышлением: «Мечтая о мыслящей машине, столь же, а может быть, и еще более совершенной, чем человек, многие кибернетики исходят из представлений, будто мыслит мозг. Поэтому им кажется, что достаточно построить модель мозга, чтобы получить и искусственное мышление. Увы, нет. Ибо мыслит не мозг, а человек с помощью мозга» [Арсеньев и др., 1966, с. 265]⁸. При этом «человек» понимается именно как социальное существо: «...для того, чтобы мозг отдельного индивида обрел способность мыслить, его обладатель должен быть с детства включен в систему общественно-человеческих отношений и развит в согласии с ее требованиями и нормами» [Ильенков, 1968, с. 304]. Поэтому, чтобы промоделировать мышление человека в машине, нужно, гипотетически, создать общество (цивилизацию) машин. А если машину включить в человеческое общество, придется сделать ее аналогичной человеку, иначе она будет ущербной, не будет способна использовать все достижения человеческой цивилизации.

Но чем именно компьютер отличается от человека? На данный вопрос можно предлагать разные ответы; ответ Ильенкова – логикой: у компьютера она формальная, у человека – диалектическая. Компьютер не переносит противоречий, поскольку основан на формальной логике, а для человека они – двигатель мышления: «...диалектическая логика... есть логика живого человеческого мышления, то есть способности отражать противоречия объективной реальности, выдерживать “напряжение противоречия”, находить им реальное, конкретно-содержательное разрешение... Машина же, построенная

мы и остановимся ниже, в то время как его коллеги-психологи обеспечивали для этих аргументов эмпирическую базу.

⁷ Именно с таким пониманием ИИ полемизировал Х. Дрейфус в США, как мы увидим далее. В СССР подобное понимание ИИ не было доминирующим, но в каком-то виде существовало. Критика Ильенкова – это и критика западных реалий, и критика возможного их переноса на советскую почву.

⁸ Следует заметить, что это положение разделялось многими советскими философами и психологами – однако далеко не всеми, как показывает дискуссия с Д.И. Дубровским.



по схеме математической логики, противоречий не любит, не выносит. Они разрушают схему ее работы» [Ильенков, 1968, с. 288–289]. Для Ильенкова способность осмыслять и разрешать противоречия и включенность человека в общественные отношения – это две стороны человеческой природы, понимаемой в категориях материалистической философии К. Маркса и Ф. Энгельса. Человек, мыслящий диалектически, вместе с себе подобными создает человеческое общество; как следствие, человек универсален. Машина же выполняет частные, специализированные функции.

Итак, машина и человек принципиально различны. Почему в современном обществе возникает стремление создать машины «умнее человека» и страх перед такими машинами? Аргумент Ильенкова состоит в том, что при капитализме человек уже превратился в раба машины – машины капитализма. При капитализме разделение труда приводит к такой специализации, что машины действительно в состоянии заменить многих людей. Поэтому страхи и энтузиазм вокруг проекта ИИ – не что иное, как кривое зеркало, в котором отражается капиталистическая действительность, маскирующее ее проблемы. Решение их, согласно Ильенкову, состоит в том, что сегодня именуют «человеко-ориентированным искусственным интеллектом» (human-centered AI): «...острейшая современная проблема, необходимость решения которой непосредственно чувствует каждый живой человек на земле, заключается вовсе не в том, чтобы поскорее сотворить еще одну машину “умнее и сильнее человека”, а в том, чтобы живого человека поскорее сделать умнее, сильнее и предусмотрительнее, нежели вышедшая из-под его контроля машинерия, современная громада производительных сил капиталистической индустрии» [Там же, с. 312]. Причем благо человека здесь понимается как полное развитие его (отдельного человека и всех людей) способностей при коммунизме.

Перед тем, как пойти далее, хотелось бы высказать несколько комментариев по поводу данной концепции.

Во-первых, она оригинальна. Многие философы и ученые, критикуя проект ИИ, выделяли различия между человеком и компьютером. Однако, насколько нам известно, именно Ильенков сформулировал его как противопоставление диалектической и формальной логики. Данное противопоставление имеет некоторое сходство с суждением о том, что человек, в отличие от компьютера, действует ситуативно, которое формулировалось в философии [Дрейфус, 1978] и в социальных науках [Wolfe, 1993; Сачмен, 2019]. Однако там данное суждение было сформулировано на основании других – экзистенциальных и феноменологических концепций человека. Для Ильенкова же, основывавшегося на марксистской философии, свойства мышления человека определяются тем, что он существо социальное, причем не столько в смысле использования языка, сколько в смысле совместной трудовой



деятельности. Что касается рассуждений Ильенкова о машинах при капитализме, сходные идеи были высказаны Н. Винером [1983], однако Ильенков развивает их более систематично.

Во-вторых, Ильенков в своей критике капитализма ставит проблему взаимозависимости «человек-машина». Он показывает: место, которое компьютеры и роботы занимают в нашей жизни, зависит от того, как организовано общество, – а организация общества, в свою очередь, зависит от той или иной реализации возможностей, возникающих вместе с научно-техническим развитием. Вместе с тем Ильенков не видит, что инструменты ИИ могут внести нечто принципиально новое в «машину капитализма», – он не рассматривает их как агентов, меняющих общественные отношения, превращающих их во что-то иное.

В-третьих, можно говорить о намеренном антропоцентризме Ильенкова: он отмечает, что кибернетика видит в человеке только сходное с машиной и потому не может правильно поставить вопрос о взаимоотношениях машины и человека. Вместе с тем антропоцентризм не мешает автору видеть цепочки взаимосвязей между людьми и вещами: мышление для него есть функция от системы людей и вещей, связанных общественными отношениями.

Наконец, человек для Ильенкова, как и для Маркса, – это родовой человек: каждый получает свое существование от совокупности отношений с другими людьми. Такое представление предполагает, что при коммунизме возможна полная реализация человеческих способностей, и религия/идеология как «кривое зеркало» реальности будет просто не нужна. Однако человек зачастую склонен одушевлять, а затем обожествлять/демонизировать, превращать в идола нечто просто потому, что он человек. Если это так, то проблема одушевления ИИ [Turkle, 2005] и склонность видеть в нем сакральный объект [Alexander, 1990] не являются только следствием развития «ложного сознания» при капитализме.

Переходя к анализу позиции Д.И. Дубровского, следует отметить, что он был одним из первых в Советском Союзе, кто начал заниматься анализом психофизиологической проблемы – проблемы взаимосвязи между мозгом/телом и сознанием/психикой человека. Д.И. Дубровский – автор информационной теории сознания, которая формулируется им в многочисленных статьях и монографиях, начиная с 1960-х гг. Его дискуссии с Э.В. Ильенковым касались фундаментального вопроса: каковы условия и механизмы мышления человека? Мышление – индивидуально или социально? Биологически или культурно детерминировано? И если Ильенков отвечает на этот вопрос, исходя из Марксова представления о человеке как ансамбле общественных отношений, то для Дубровского ответ заключается в понимании работы индивидуального мозга. И здесь автор использует категорию информации, чтобы объяснить, как физические процессы,



происходящие в мозге, соотносятся с существованием психики, субъективной реальности (СР), как возможны сознание и свободная воля.

Для Дубровского проблематика ИИ возникает прежде всего в связи с исследованием психофизиологической проблемы. Автор замечает: «У компьютера нет субъективной реальности. Информационный процесс, лишенный качества СР, отличается по своей организации, по своим структурным, оперативным и целевым характеристикам от того информационного процесса, который специфичен для эго-системы головного мозга» [Дубровский, 2007]. Проблема ИИ предстает для него как проблема воспроизведения информационных процессов, характерных именно для человека. Возможно ли это? Согласно Дубровскому, теоретически да, но вовсе не обязательно теми методами развития вычислительной техники, которые используются сейчас.

Одним из направлений критики технологий ИИ с этих позиций является проблема важности физического воплощения для формирования мышления. Эта проблема – в связи с человеком – обсуждалась в полемике Ильенкова и Дубровского, в частности в критике вторым интерпретации результатов Загорского эксперимента. Вопрос состоит в том, возможно ли сформировать человека «с чистого листа», включив его в общественные отношения (позиция Ильенкова), или в формировании психики в целом и отдельных способностей человека в частности существенную роль играют биологические характеристики (позиция Дубровского). В отношении ИИ подобный вопрос связан с тем, возможно ли создать ИИ, включив его в социальные связи (обучив языку, например), или необходимо телесное воплощение, сходное с человеческим⁹. И здесь позиция Дубровского и его последователей состоит в том, что телесное воплощение имеет решающее значение: чтобы создать ИИ, который может то же, что и человек, нужно дать такому ИИ возможность действовать в физическом пространстве [Ефимов и др., 2023].

Позиция Д.И. Дубровского в основных ее положениях соотносится с тем, что пишут об ИИ его коллеги-когнитивисты (см., например, [Boden, 2016]): проблема рассматривается в категориях информационных процессов, принципиальная возможность ИИ не отрицается, для решения проблемы ИИ предлагается проводить больше когнитивных исследований.

Мы представили читателю суждения двух выдающихся советских философов относительно проблемы ИИ. Их позиции – противоречат или дополняют друг друга? На наш взгляд, они несоизмеримы, так как основаны на принципиально разных положениях о природе человека. Вместе с тем оба философа критикуют возможность

⁹ Дискуссию в очень похожих терминах, как мы увидим, вели Х. Дрейфус и Г. Коллинз.



создания ИИ современными методами, только за счет моделирования мозга человека: без тела (Дубровский) и без «тела культуры» (Ильенков).

Если Э.В. Ильенков и Д.И. Дубровский представляют две из трех парадигм общения, возникает вопрос: были ли в советской философии представители экзистенциально-феноменологической парадигмы, которые писали об «умных машинах»? Насколько известно авторам настоящей статьи, в СССР не было философа-экзистенциалиста, который бы специально интересовался проблемами ИИ – в отличие от США, где такой фигурой является Х. Дрейфус. Вместе с тем можно обратиться к идеям Г.С. Батищева, ученика Э.В. Ильенкова. Г.С. Батищев начинал анализ проблем вхождения машин в жизнь людей с тех же позиций, что и его учитель: основное различие между человеком и компьютером он видел в том, что первый мыслит, осмысляя и разрешая противоречия, второй же противоречия не переносит [Батищев, 1963]. В более поздних работах философ анализирует экзистенциальное измерение жизни человека, и его анализ проясняет некоторые моменты вхождения технологий ИИ в жизнь общества.

Батищев дополняет аргумент Ильенкова о том, что при капитализме человек становится «винтиком» общественной машины, следующими рассуждениями: «Из процесса опредмечивания выходят наружу в качестве массовой конечной продукции вещи мертвые, бесплодные и холодные, такие, в которых *никто* не стремился дать себе самому живое продолжение и в которые *никто* не вложил себя самого, свою адресованную всем другим общительную сущность, свою щедрую душу, свою неугасимую смысловую энергию. Так труд-средство порождает колоссальные нагромождения бездушно и бездуховно выполненных *вещей-результатов*, каждая из которых хотя и вполне *социальна*, ибо произведена по правилам общественного производства, но тем не менее в глубоком смысле *бессубъектна*» [Батищев, 1987, с. 127]. Эти рассуждения помогают ответить на вопрос: почему ИИ сегодня во многих случаях может заменить человека-работника? Дело в том, что сегодня человек стал подобен машине не только из-за узкой специализации, но и из-за того, что ценностные ориентации людей предполагают особое отношение к труду. Машина становится творцом (или со-творцом) произведения, потому что сам смысл творчества в конкретном разделении труда таков, что это допускает.

Еще одно положение Батищева помогает осмыслить характер взаимозависимости, возникающей между человеком и ИИ. Он выделяет три уровня проблем, стоящих перед человеком: проблемы с достаточной логикой (нам известно, как их решить), с недостаточной логикой (нужны творческие усилия, чтобы понять или придумать решение), с недостаточным субъектом (для того, чтобы их решить,



наших усилий – как мы есть сейчас – недостаточно) [Батищев, 2015]. Применяя данную типологию к работе ИИ, можно сказать, что первые проблемы ИИ решить может, в случае вторых ИИ будет инструментом в их решении человеком. Третьи же – в принципе не в компетенции ИИ. Проблема того, как использовать ИИ во благо человека и человечества, – это не проблема первого уровня: для ее решения нужны как минимум творческие усилия. Получается, что ИИ не может решить проблемы, которые сам порождает, – хотя, добавим, сами разработчики будут стремиться именно к такому решению.

По результатам рассмотренных положений можно сделать предварительные обобщения о том, как в рамках каждой из парадигм общения рассматривается проблема ИИ.

В рамках информационно-инструментальной парадигмы мозг человека – это устройство по обработке информации. Вопрос о том, рядоположен ли естественный и искусственный интеллект, решается исходя из того, какого именно представления о мозге как информационной машине придерживаются представители парадигмы. Принципиально, что здесь нет заранее предполагаемых (постулируемых) различий между мозгом и ИИ.

В рамках социально-институциональной парадигмы инструменты ИИ понимаются как новый вид машин, а машины (техника) – как продукт развития человеческого общества. Предполагается, что человек изначально является социальным существом, способным к производству и воспроизводству. Место машин в обществе – это их место в общественном разделении труда. И здесь возникают две проблемы: а) как «вписать» машины в человеческое общество (проблема согласования ценностей – value alignment problem), б) до какой степени можно имитировать человеческую социальность с помощью технологий ИИ.

В рамках экзистенциально-феноменологической парадигмы отличие ИИ от человека представляется самоочевидным: человек живой; человек смертен и знает об этом; человеку всегда чего-то не хватает; существование человека нельзя полностью зафиксировать и измерить методами эмпирических наук. То, что мы можем сказать об ИИ с позиций данной парадигмы, характеризуется двойной ущербностью: 1) ИИ ущербен в сравнении с человеком как неизмеримо более сложным существом; 2) в обществе, где ИИ может заменить человека во многих сферах, сам человек ведет ущербное существование.



Дискуссии о проекте ИИ по другую сторону «железного занавеса»

Обратимся теперь к двум англоязычным дискуссиям о проекте ИИ. Одна из них касается полемики Хьюберта Дрейфуса с представителями компьютерных наук, которую он вел, начиная с 1960-х гг. [Дрейфус, 1978; Dreyfus, 1965; Papert, 1968; McCarthy, 1996; Dreyfus, 1992; Dreyfus, 1996; Dreyfus, 2012; см. также Астахов, 2020]. Другая – это дебаты между Хьюбертом Дрейфусом и Гарри Коллинзом – одним из немногих представителей STS, кто всерьез рассматривает проблему ИИ [Dreyfus, 1996; Collins, 1996; Selinger et al., 2007; Collins, 2018].

В обеих дискуссиях одной из сторон выступает Хьюберт Дрейфус – значимая фигура в философской критике проекта ИИ. Будучи академическим философом, Дрейфус столкнулся с проектом ИИ в самом начале его реализации и обнаружил, что создатели ИИ основывались, часто сами того не сознавая, на вполне определенном наборе идей о человеке и человеческом разуме (идеи Гоббса, Декарта, Канта, Фреге, Рассела) [Дрейфус, 1978; Dreyfus, 2012]. В своем анализе технологий ИИ Дрейфус основывается на философии Хайдеггера, Мерло-Понти и Витгенштейна. С философских позиций, которые развивал и защищал сам Дрейфус, идеи разработчиков ИИ о том, как мыслит и существует человек, выглядели нереалистичными упрощениями.

Содержание первой дискуссии – между Дрейфусом и его оппонентами из сферы компьютерных наук – сводится к критике философом невозможности воспроизвести целый ряд человеческих способностей с помощью компьютерных технологий. Его оппоненты обычно указывали, что искомые способности (выиграть в шахматы у гроссмейстера, перевести с одного языка на другой и т.д.) воспроизвести удалось или вскоре удастся. Однако для Дрейфуса важна не принципиальная неспособность достичь с помощью ИИ некоторых задач – важна *неспособность их решить так, как это делает человек*. Важно различие между универсальными алгоритмами, основанными на математике, и свойствами мышления и переживания человека, существующего в конкретном месте в конкретное время. Мозг не сводится к вычислительной машине, а использование языка – к манипуляции символами, и телесное воплощение является необходимым условием разума, подобного человеческому.

Сравнивая дискуссии, проходившие по разные стороны «железного занавеса», можно видеть, что критика Дрейфусом проекта ИИ в США находит явную параллель в полемике Ильенкова против кибернетиков в СССР. Оба философа критикуют не развитие компьютерных технологий как таковое, а необоснованные – с их точки



зрения – претензии на воспроизведение человеческого разума. Однако необоснованность претензий обосновывается ими по-разному: Дрейфус за точку отсчета принимает положение в мире отдельного человека, Ильенков – существование человеческого общества. Оба философа осуществляют критику представления о человеке как машине по переработке информации, основываясь один – на экзистенциально-феноменологической, другой – на социально-институциональной парадигме. При этом у каждой позиции есть свои ограничения. Ильенков, в пределе, обезличивает человека, не видит экзистенциального измерения индивидуального (уникального) существования. Дрейфус, в свою очередь, не видит общественных отношений, в которые включаются машины, – для него важна лишь разница между человеком и вычислительной машиной.

Вторая дискуссия связана именно со «слепотой» Дрейфуса в отношении социальных взаимодействий, в которые встраивается ИИ. Его оппонент Гарри Коллинз формулирует следующий тезис: чтобы создать ИИ, аналогичный человеческому, нужно не его телесное воплощение, а встраивание ИИ в систему социальных (речевых) взаимодействий: *embedded, not embodied AI*. Позиция Коллинза предполагает, что если ИИ, аналогичный человеческому, в принципе возможен, то он может быть создан на основе включения ИИ в разговоры. В языке запечатлен опыт человеческого существования, поэтому обучение использованию языка в разных ситуациях, согласно Коллинзу, равносильно обучению тому, как жить в мире людей. Ответ Дрейфуса на критику Коллинза состоит в том, что телесное воплощение как важнейшая характеристика существования человека является условием формирования человеческого разума, включая способность к речевому взаимодействию.

Особый интерес в рамках данной дискуссии для нас представляет обсуждение случая Мадлены – слепой женщины, страдавшей церебральным параличом. Данный случай был описан психологом Оливером Саксом [2010]. Мадлена уже в пожилом возрасте обрела способность действовать руками. Когда ей давали предметы, которых она не могла видеть и ранее не имела возможности ощупать, она была способна догадаться по форме предмета, как этот предмет называется. Данный случай стал предметом дебатов между Г. Коллинзом, с одной стороны, и Х. Дрейфусом и Э. Сэлинджером, с другой [Selinger et al., 2007]. Коллинз рассматривает случай Мадлены как подтверждение тезиса о том, что использование языка может стать заменой телесному опыту: Мадлена не могла видеть или осязать предметы, но участвовала в беседах с членами семьи и слушала книги. Значит, и ИИ может получать знания об окружающем мире, включаясь в разговоры людей. Контрагументом философов стало указание на то, что телесный опыт Мадлены, хотя и весьма ограниченный, – это опыт человека: у нее



несоизмеримо больше общего с любым другим человеком, чем с любым агентом ИИ.

Дискуссию о случае Мадлены можно сопоставить с обсуждением результатов Загорского эксперимента. В обоих случаях речь идет об анализе условий существования людей с ограниченными способностями и проведении аналогий с функционированием ИИ. Для Коллинза, как и для Ильенкова, возможность таких людей встроиться в общество демонстрирует социальную обусловленность человеческого мышления. Однако социальная обусловленность понимается Коллинзом не с позиций марксистской философии, а как включенность в конкретные ситуации взаимодействия. Интересно, что Коллинз, как и Ильенков, рассуждает о возможном обществе/цивилизации машин. Однако для Ильенкова человек как социальное существо радикальным образом отличается от машины, поэтому советский философ не предлагает встраивать машины в человеческое общество. Коллинз, напротив, не находит принципиальных аргументов против того, чтобы машина могла стать социальной. Вместе с тем он настаивает, что нынешние технологии ИИ имитируют человеческую социальность весьма несовершенным образом.

На другой стороне обеих дискуссий, Дубровский и Дрейфус утверждают, что телесное воплощение людей играет существенную роль в том, как они мыслят. Однако, опять-таки, на разных основаниях: Дубровский, опираясь на когнитивные исследования, подчеркивает разницу в человеческом восприятии; Дрейфус, приводя философские аргументы, указывает на предельное сходство в опыте всех людей. Как следствие, для Дубровского рассмотрение Загорского эксперимента демонстрирует лишь ограниченность современных подходов к созданию ИИ. Для Дрейфуса же случай Мадлены иллюстрирует невозможность создания ИИ, подобного человеку.

Разница в позициях и аргументах Дрейфуса и Дубровского – это различия между представителями экзистенциально-феноменологической и информационно-инструментальной парадигм. Различия между Ильенковым и Коллинзом, однако, определяются более сложным образом. Гарри Коллинза оказывается трудно отнести к одной парадигме. С социально-институциональной парадигмой его сближает интерес к социальным взаимодействиям как способу реализации общественных отношений, с экзистенциально-феноменологической – интерес к возможности человека уникальным образом действовать в конкретных ситуациях, с информационно-инструментальной – допущение о том, что проект ИИ в принципе может быть реализован. В целом же в работах Коллинза нет «большой» теории: большее внимание автор уделяет тому, как работают конкретные технологии ИИ в конкретных ситуациях и в чем эти технологии пока «не дотягивают» до человека. Таким образом, отличие Коллинза от Ильенкова – это отличие социального ученого,



сочетающего элементы разных парадигм, от философа, рассуждающего о проблеме ИИ на основании принятых им парадигмальных оснований.

Два с половиной этажа в здании социальной аналитики ИИ и искусственной социальности

Итак, в первом приближении, для компьютерных и когнитивных наук характерна информационно-инструментальная парадигма как основание для понимания человека. Именно она стала основой для проекта ИИ. Некоторые философы также разделяют ее положения. Вместе с тем философские критики проекта ИИ выступают с позиций других парадигм: для них человек принципиально отличен от вычислительной машины. Для социальных ученых характерна иная структура теоретизирования: с одной стороны, интерес к более конкретным (частным) проблемам вхождения ИИ в жизнь общества, с другой – сочетание идей подходов из разных парадигм.

Рассмотрим положения отдельных теорий, которые позволят дополнить данную картину.

В рамках *информационно-инструментальной парадигмы* возможны разные суждения о проекте ИИ. Если мышление – информационный процесс, это еще не значит, что мышление – процесс вычислительный [Дубровский, 2017]. Если мозг и является машиной для вычислений, то вовсе не обязательно, что мы сумеем ее воспроизвести [Boden, 2016]. Вместе с тем экспоненциальное развитие современных технологий позволяет на это надеяться [Kurzweil, 2005]. В социальных науках в рамках данной парадигмы особый интерес представляет концепция максимизации эмоциональной энергии Р. Коллинза: предлагается научить ИИ максимизировать эмоциональную энергию [Коллинз, 2004] и включаться в социальные взаимодействия по принципам «эмоционального утилитаризма» [Резаев, Трегубова, 2022]. Вместе с тем эта социологическая концепция синтезирует отдельные положения трех парадигм общения (детальный анализ см. в [Резаев, Трегубова, 2017]).

Социально-институциональную парадигму в чистом виде представляет Э.В. Ильенков. В социологии в рамках концепции искусственной коммуникации Е. Эспозито [Esposito, 2017; Esposito, 2022], опираясь на теорию коммуникации Н. Лумана, анализирует, как агенты ИИ становятся социальными агентами, приобретая способность создавать осмысленную (с точки зрения людей) информацию. Концепция Эспозито, как и теория Лумана, сочетает элементы всех трех парадигм: интерес к информации, опору на феноменологический анализ проблемы смысла, взгляд на общество как на систему,



состоящую из коммуникаций. Отчасти сходную позицию занимает Г. Коллинз, для которого, как мы отмечали, телесное воплощение не является обязательным – достаточно быть способным включиться в разговоры. Также следует упомянуть концепцию надзорного капитализма Ш. Зубофф [2022], в которой предлагается анализ новых отношений эксплуатации с помощью компьютерных алгоритмов.

Наконец, в развитии положений *экзистенциально-феноменологической* парадигмы также могут быть выделены несколько направлений. В рамках постмодернистской философии предпринимаются попытки переосмыслить сами границы человеческого существования, упразднить различия между человеком и машиной [Haraway, 2006]. В рамках собственно социальных наук вхождение технологий ИИ в жизнь общества, задействуя элементы экзистенциальной или феноменологической философии, осмысляют Ш. Теркл [Turkle, 2005], Л. Сачмен [Сачмен, 2019], Дж. Александер [Alexander, 1990].

Рассматривая картину исследований в целом, можно выделить два с половиной «этажа» (уровня) в исследованиях проблем ИИ:

- На первом этаже находится так называемая «большая тройка»: философия, компьютерные науки, когнитивные науки. Эти дисциплины с самого начала проекта ИИ – с середины XX в. – интересовались данной проблематикой. Здесь, соотнося естественный и искусственный интеллект, исследователи основываются на представлениях о человеке, соответствующих одной из парадигм общения.
- На втором этаже располагаются социальные науки, где в рамках отдельных теорий исследователи сочетают положения разных парадигм. Если на первом уровне происходит преимущественно анализ проекта ИИ, то на втором уровне – стремятся ответить на вопрос: что происходит, когда технологии ИИ входят в повседневную жизнь общества?
- Наконец, в «мансарде» располагаются исследования в рамках STS и communication studies. В них авторы не рассматривают искусственный интеллект как нечто, принципиально отличное от технологий, существовавших до него. Здесь проследить связь с парадигмами общения наиболее проблематично.

Таким образом, представители философии, компьютерных и когнитивных наук осмысляют проект ИИ как таковой. Социальные науки рассматривают реализацию данного проекта и ее следствие – формирование искусственной социальности. Междисциплинарные направления STS и communication studies исследуют те же проблемы, но за отдельными примерами технологий ИИ они не видят целого – единого проекта воспроизводства и превосходства человеческих способностей с помощью вычислительных машин.



Проведенный анализ позволяет сформулировать *гипотезу*: хорошая теория искусственной социальности является: 1) эклектичной (сочетает элементы разных парадигм), 2) конкретной 3) и при этом принимает во внимание специфику технологий ИИ в сравнении с другими технологиями.

Вместо заключения: новые старые вопросы об искусственном интеллекте

В завершение настоящего рассуждения сформулируем вопросы, которыми структурируется дискуссия о проблемах ИИ. Эти вопросы в явном или неявном виде были сформулированы еще на первом этапе обсуждения проекта ИИ. Однако сегодня они вновь и вновь встают в научных и популярных дискуссиях о том, какую роль технологии ИИ будут/могут/должны играть в жизни людей.

«Новые старые вопросы» подразделяются на вопросы об ИИ и вопросы об искусственной социальности. Вопросы об ИИ также можно назвать «парадигмальными», поскольку они определяют общий взгляд на возможность и характер реализации проекта ИИ. Ниже мы сформулируем их и приведем некоторые примеры ответов из числа тех теорий и концепций, которые обсуждались в настоящей статье.

Вопросы об искусственном интеллекте (парадигмальные вопросы):

1. *Кто мыслит: мозг или человек или общество?* Для Д.И. Дубровского и М. Боден – мозг. Для Х. Дрейфуса и Ш. Теркл – человек. Для Э.В. Ильенкова и Е. Эспозито – в некотором, причем разном, смысле – общество. Некоторые авторы в принципе не ставят этот вопрос.
2. *Рядоположен ли интеллект человека компьютерным вычислениям?* Данный вопрос делит авторов на противников и сторонников гипотезы о мозге как вычислительной машине (computational mind hypothesis). Наиболее яркий пример – полемика Х. Дрейфуса и Э.В. Ильенкова против представителей компьютерных наук.
3. *Рассматривается ли искусственный интеллект как отдельный феномен, представляющий особый интерес для исследователей?* Для почти всех упомянутых в данной статье авторов – да, для многих исследователей из STS – нет.
4. *Принципиально ли телесное воплощение людей для понимания искусственного интеллекта?* Для Е. Эспозито



и Г. Коллинза – а также, добавим, для А. Тьюринга (вспомним «тест Тьюринга») – нет, для Х. Дрейфуса и Д.И. Дубровского – да.

Вопросы об искусственной социальности:

5. *Существует ли проблема вхождения новых агентов ИИ в жизнь общества?* Для Е. Эспозито – да, для Э.В. Ильенкова – нет.
6. *Общество или индивид в фокусе внимания теории?* Для Е. Эспозито и Ш. Зубофф – общество, для Ш. Теркл и Р. Коллинза – индивид.
7. *ИИ – субъект, или псевдосубъект, или орудие человека?* Для Д. Харрауэй – субъект, для Ш. Теркл – псевдосубъект, для Э.В. Ильенкова – орудие.
8. *Почему мы склонны обожествлять/демонизировать машины?* Они действительно превосходят нас (Р. Курцвейл). Мы и так их рабы при капитализме (Э.В. Ильенков). Человек просто творит себе кумира из очередного объекта (Дж. Александер).

Список литературы

Арсеньев и др., 1966 – Арсеньев А.С., Ильенков Э.В., Давыдов В.В. Машина и человек, кибернетика и философия // Ленинская теория отражения и современная наука / Под ред. К.Ф. Константинова. М.: Наука, 1966. С. 265–284.

Астахов 2020 – Астахов С. Феноменология против символического искусственного интеллекта: философия научения Хьюберта Дрейфуса // Логос. 2020. Т. 30. № 2. С. 157–193.

Батищев 1963 – Батищев Г.С. Противоречие как категория диалектической логики. М.: Высшая школа, 1963. 120 с.

Батищев, 1987 – Батищев Г.С. Социальные связи человека в культуре // Культура, человек и картина мира / Под ред. А.И. Арнольдова, В.А. Кругликова. М.: Наука, 1987. С. 90–135.

Батищев, 2015 – Батищев Г.С. Самопознание человека как культурно-созидательного существа: три уровня сложности задач // Батищев Г.С. Избранные произведения / Под общ. ред. З.К. Шаукуновой. Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КНМОН РК, 2015. С. 453–474.

Винер, 1983 – Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. 2-е изд. М.: Наука, 1983. 344 с.

Дрейфус, 1978 – Дрейфус Х. Чего не могут вычислительные машины: критика искусственного разума. М.: Прогресс, 1978. 334 с.

Дубровский, 2007 – Дубровский Д.И. Сознание, мозг, искусственный интеллект. М.: Стратегия-центр, 2007. 249 с.

Ефимов, Дубровский, Матвеев, 2023 – Ефимов А.Р., Дубровский Д.И., Матвеев Ф.М. Что мешает нам создать Общий искусственный интеллект?



Одна старая стена и один старый спор // Вопросы философии. 2023. № 5. С. 39–49.

Зубофф, 2022 – *Зубофф Ш.* Эпоха надзорного капитализма. Битва за человеческое будущее на новых рубежах власти. М.: Издательство Института Гайдара, 2022. 784 с.

Ильенков, 1968 – *Ильенков Э.В.* Об идолах и идеалах. М.: Политиздат, 1968. 319 с.

Коллинз, 2004 – *Коллинз Р.* Может ли социология создать искусственный разум? // *Бергер П., Бергер Б., Коллинз Р.* Личностно-ориентированная социология. М.: Академический проект, 2004. С. 566–598.

Перов, 2004 – *Перов Ю.В.* Стратегии философского осмысления социального общения // *Коммуникация и образование* / Под ред. С.И. Дудника. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2004. С. 9–32.

Резаев, 1993 – *Резаев А.В.* Парадигмы общения. Взгляд с позиций социальной философии. СПб.: Изд-во СПбГУ; Иваново: Полиформ, 1993. 212 с.

Резаев, Трегубова, 2017 – *Резаев А.В., Трегубова Н.Д.* Мир общения в социологическом измерении. М.: Университетская книга, 2017. 152 с.

Резаев, Трегубова, 2019 – *Резаев А.В., Трегубова Н.Д.* «Искусственный интеллект», «онлайн-культура», «искусственная социальность»: определение понятий // *Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены.* 2019. № 6. С. 35–47.

Резаев, Трегубова, 2022 – *Резаев А.В., Трегубова Н.Д.* «Эмоциональный утилитаризм» и пределы развития искусственного интеллекта // *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены.* 2022. № 2. С. 4–23.

Резаев, Трегубова, 2023 – *Резаев А.В., Трегубова Н.Д.* Взаимозависимость «человек-машина» за пределами искусственного интеллекта: случай биткойна // *Социологическое обозрение.* 2023. Т. 22. № 3. С. 263–286.

Сакс, 2010 – *Сакс О.* Человек, который принял жену за шляпу, и другие истории из врачебной практики. М.: АСТ, 2010. 318 с.

Сачмен, 2019 – *Сачмен Л.* Реконфигурации отношений человек-машина. М.: Элементарные формы, 2019. 488 с.

References

Alexander, 1990 – Alexander, J. “The Sacred and Profane Information Machine: Discourse about the Computer as Ideology”, *Archives de sciences sociales des religions*, 1990, no. 69, pp. 161–171.

Arsen'ev, A., Il'enkov, E. & Davydov, V. “Mashina i chelovek, kibernetika i filosofiya” [Machine and Human: Cybernetics and Philosophy], in: F. Konstantinov (ed.) *Leninskaya teoriya otrazheniya i sovremennaya nauka* [Lenin's Theory of Reflection and Contemporary Science], Moscow: Nauka, 1966, pp. 265–283. (In Russian)

Astakhov, S. “Fenomenologiya protiv simvolicheskogo iskusstvennogo intellekta: filosofiya naucheniya Kh'yuberta Dreifusa” [Phenomenology versus Symbolic



Artificial Intelligence: The Philosophy of Learning of Hubert Dreyfus], *Logos*, 2020, vol. 30, no. 2, pp. 157–193. (In Russian)

Batishchev, G.S. “Sotsial’nye svyazi cheloveka v kul’ture” [Human Social Connections in Culture], in: A.I. Arnol’dov, V.A. Kruglikov (ed.) *Kul’tura, chelovek i kartina mira* [Culture, People and the Picture of the World], Moscow: Nauka, 1987, pp. 90–135. (In Russian)

Batishchev, G.S. “Samopoznanie cheloveka kak kul’turo-sozdatel’nogo sushchestva: tri urovnya slozhnosti zadach” [Self-knowledge of Human as a Culture-Creative Being: Three Levels of Task Complexity], in: Batishchev, G.S. *Selected works*. Almaty: Institut filosofii, politologii i religiovedeniya KNMON RK, 2015, pp. 453–474. (In Russian)

Batishchev, G.S. *Protivorechie kak kategoriya dialekticheskoi logiki* [Contradiction as a Category of Dialectical Logic]. Moscow: Vysshaya shkola, 1963. (In Russian)

Boden, 2016 – Boden, M. *AI: Its Nature and Future*. Oxford: Oxford University Press, 2016.

Collins, 1996 – Collins, H. “Embedded or Embodied? A Review of Hubert Dreyfus’ What Computers Still Can’t Do”, *Artificial Intelligence*, 1996, vol. 80, no. 1, pp. 99–117.

Collins, 2018 – Collins, H. *Artificial Intelligence: Against Humanity’s Surrender to Computers*. Madford, MA: Polity Press.

Collins, R. “Mozhet li sotsiologiya sozdat’ iskusstvennyi razum?” [Can Sociology Create an Artificial Intelligence?], in: Berger, P., Berger, B., Collins, R. *Lichnostno-orientirovannaya sotsiologiya* [Person-Oriented Sociology], trans. by V.F. Anurin. Moscow: Akademicheskii proekt, 2004, pp. 566–598. (In Russian)

Dreyfus, 1965 – Dreyfus, H.L. *Alchemy and Artificial Intelligence*. Rand Corp., Report No. P-3244, 1965.

Dreyfus, 1992 – Dreyfus, H. *What Computers Still Can’t Do: A Critique of Artificial Reason*. Cambridge, MA: MIT Press, 1992.

Dreyfus, 1996 – Dreyfus, H. “Response to My Critics”, *Artificial Intelligence*, 1996, vol. 80, no. 1, pp. 171–191.

Dreyfus, 2012 – Dreyfus, H. “A History of First Step Fallacies”, *Minds & Machines*, 2012, no. 22, pp. 87–99.

Dreyfus, H. *Chego ne mogut vychislitel’nye mashiny: kritika iskusstvennogo razuma* [What Computers Can’t Do: A Critique of Artificial Reason], trans. by N. Rodma. Moscow: Progress, 1978. (Trans. into Russian)

Dubrovskii, D.I. *Soznanie, mozg, iskusstvennyi intellekt* [Consciousness, Brain, Artificial Intelligence]. Moscow: Strategia-Tsentr, 2007. (In Russian)

Efimov, A.R., Dubrovskii, D.I., & Matveev, F. “Chto meshaet nam sozdat’ obshchii iskusstvennyi intellekt? Odnaya staraya stena i odin staryi spor” [What Prevents Us from Creating Artificial General Intelligence? One Old Wall and One Old Dispute], *Voprosy Filosofii*, 2023, no. 5, pp. 39–49. (In Russian)

Esposito, 2017 – Esposito, E. “Artificial Communication? The Production of Contingency by Algorithms”, *Zeitschrift für Soziologie*, 2017, vol. 46, no. 4, pp. 249–265.

Esposito, 2022 – Esposito, E. *Artificial Communication: How Algorithms Produce Social Intelligence*. The MIT Press, 2022.



Haraway, 2006 – Haraway, D. “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late 20th Century”, in: Weiss, J., Nolan, J., Hunsinger, J., Trifonas, P. (eds.) *The International Handbook of Virtual Learning Environments*. Dordrecht: Springer, pp. 117–158.

Il'entkov, E.V. *Ob idolakh i idealakh* [On the Idols and the Ideals]. Moscow: Politizdat, 1968. (In Russian)

Kirtchik, 2023 – Kirtchik, O. “The Soviet Scientific Programme on AI: If a Machine Cannot ‘Think’, Can It ‘Control’?”, *BJHS Themes*, 2023, no. 8, pp. 111–125.

Kurzweil, 2005 – Kurzweil, R. *The Singularity is Near: When Human Transcends Biology*. Viking, 2005.

McCarthy, 1996 – McCarthy, J. “Hubert Dreyfus, What Computers Still Can't Do”, *Artificial Intelligence*, 1996, vol. 80, no. 1, pp. 143–150.

Papert, 1968 – Papert, S. *The Artificial Intelligence of Hubert L. Dreyfus: A Budget of Fallacies*. MIT AI Memo, No. 154, 1968.

Perov, Yu.V. “Strategii filosofskogo osmysleniya sotsial'nogo obshcheniya” [Strategies for philosophical comprehension of social communication], in: S.I. Dudnik (ed.) *Kommunikatsiya i obrazovanie* [Communication and Education]. St. Petersburg: Sankt-Peterburgskoe filosofskoe obshchestvo, 2004, pp. 9–32. (In Russian)

Rezaev, A.V., Tregubova, N.D. “Vzaimozavisimost' “chelovek-mashina” za predelami iskusstvennogo intellekta: sluchai bitkoina” [Human-machine Interdependence Beyond AI Development: The Case of Bitcoin], *Russian Sociological Review*, 2023, vol. 22, no. 3, pp. 263–286. (In Russian)

Rezaev, A.V., Tregubova, N.D. “‘Emotsional’nyi utilitarizm’ i predely razvitiya iskusstvennogo intellekta” [“Emotional Utilitarianism” and the Frontiers of Artificial Intelligence Evolvement], *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*, 2022, no. 2, pp. 4–23. (In Russian)

Rezaev, A.V., Tregubova, N.D. ““Iskusstvennyi intellekt”, “onlain-kul'tura”, “iskusstvennaya sotsial'nost'”: opredelenie ponyatii” [Artificial Intelligence, On-line Culture, Artificial Sociality: Definition of the Terms], *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*, 2019, no. 6, pp. 35–47. (In Russian)

Rezaev, A.V., Tregubova, N.D. *Mir obshcheniya v sotsiologicheskoy izmerenii* [The World of Social Intercourse Through Sociological Lenses]. Moscow: Universitetskaya kniga, 2017, 152 pp. (In Russian)

Rezaev, A.V. *Paradigmy obshcheniya. Vzglyad s pozitsii sotsial'noi filosofii* [Social Intercourse Paradigms. Looking from Social Philosophy's Positions]. St. Petersburg: Izd-vo SPbGU; Ivanovo: Polinform, 1993, 212 pp. (In Russian)

Sacks, O. *Chelovek, kotoryi prinyal zhenu za shlyapu, i drugie istorii iz vrachebnoi praktiki* [The Man Who Mistook His Wife for a Hat, and Other Clinical Tales], trans. by G. Khasin, Yu. Chislenko. Moscow: AST, 2010. (Trans. into Russian)

Selinger, Dreyfus & Collins, 2007 – Selinger, E., Dreyfus, H. & Collins, H. “Interactional expertise and embodiment”, *Studies in History and Philosophy of Science*, 2007, no. 38, pp. 722–740.

Suchman, L. *Rekonfiguratsii otnoshenii chelovek-mashina* [Human – Machine Reconfigurations], trans. by A.S. Maksimova. Moscow: Elementarnye formy, 2019, 488 c. (Trans. into Russian)

Turkle, 2005 – Turkle, S. *The Second Self: Computers and the Human Spirit* (20th anniversary ed.). Cambridge, MA: MIT Press.



Wiener, N. *Kibernetika, ili upravlenie i svyaz' v zhivotnom i mashine* [Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine], trans. by I.V. Solov'ev G.N. Povarov. Moscow: Nauka; Glavnaya redaktsiya izdaniy dlya zarubezhnykh stran, 1983. (Trans. into Russian)

Wolfe, 1993 – Wolfe, A. *The Human Difference: Animals, Computers, and the Necessity of Social Science*. Berkley: University of California Press, 1993.

Zuboff, Sh. *Epokha nadzornogo kapitalizma. Bitva za chelovecheskoe budushchee na novykh rubezhakh vlasti* [The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power], trans. by A.F. Vasil'ev. Moscow: Izdatel'stvo Instituta Gaidara, 2022, 784 pp. (Trans. into Russian)

О РОЛИ НАУЧНЫХ ДАННЫХ В НОРМАТИВНОЙ ЭТИКЕ (НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА РАЗОБЛАЧЕНИЯ ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ)

**Прокофьев Андрей
Вячеславович** – доктор
философских наук, главный
научный сотрудник.
Институт философии РАН.
Российская Федерация,
109240, г. Москва,
ул. Гончарная, д. 12, стр. 1;
e-mail: avprok2006@mail.ru



Статья посвящена анализу вопросов о том, возможна ли натурализация этической теории, а при наличии такой возможности – насколько радикальной она может быть. Ответ на эти вопросы во многом зависит от используемых теоретиками научных объяснений процесса вынесения моральных оценок. Автор статьи сосредоточивает свое внимание на умеренном варианте натурализации, который предполагает всего лишь коррекцию выводов нормативной этики на основе апелляции к научным данным. В качестве примера умеренной натурализации выступает проект разоблачения деонтологических моральных принципов, реализованный Дж. Грином. С точки зрения Дж. Грина, важнейший из таких принципов («недопустимо причинять вред другим людям *в качестве средства* достижения утилитаристски обоснованной цели, но допустимо причинять такой вред *в качестве побочного следствия* ее достижения») отражает функционирование тревожной эмоциональной сигнализации, которая обеспечивала на ранних этапах развития человека защиту малых групп от внутреннего насилия, использующего контактные средства причинения вреда. Средства причинения вреда с тех пор расширились, а негибкая эмоциональная подсистема психики до сих пор диктует границы допустимого в тех случаях, когда с помощью причинения меньшего вреда можно предотвратить больший. Этот диктат не имеет разумных оснований, а указанный принцип не может претендовать на объективность и универсальность. Автор статьи показывает, что данные, использованные Дж. Грином для разоблачения, расходятся с результатами исследований Ю.И. Александрова и К.Р. Арутюновой, посвященных воздействию алкогольного опьянения на вынесение деонтологических и утилитаристских моральных оценок. Эти результаты указывают на то, что эмоциональная подсистема психики связана с использованием как деонтологических, так и утилитаристских принципов. Соответственно, этик, занимающийся обоснованием принципов морали, вынужден выбирать в качестве научной основы своего исследования какие-то из противостоящих друг другу научных моделей, объясняющих процесс вынесения моральных оценок. Некоторые из этих моделей соответствуют проекту умеренной натурализации, другие – нет. И выбор между моделями зависит исключительно от уже имеющихся у этика метаэтических и нормативных предпочтений.

Ключевые слова: мораль, натурализация этики, моральные принципы, деонтология, утилитаризм, эволюционное разоблачение, задача с вагонеткой, Дж. Грин



ON THE ROLE OF SCIENTIFIC EVIDENCE IN NORMATIVE ETHICS (THE CASE OF THE DEBUNKING OF DEONTOLOGICAL PRINCIPLES)

Andrei V. Prokofiev –
DSc in Philosophy,
Chief Research Fellow.
Institute of Philosophy,
Russian Academy of Sciences.
12/1 Goncharnaya St.,
Moscow 109240,
Russian Federation;
e-mail: avprok2006@mail.ru

The paper deals with the questions of whether naturalization of ethical theory is possible and how radical it should be. The answer to these questions depends largely on the scientific explanations of the process of moral evaluation. The author concentrates on a moderate version of naturalization, which involves merely correcting the conclusions of normative ethics by appealing to scientific evidence. A good example of moderate naturalization is the project of debunking deontological moral principles of J. Green. From J. Green's point of view, the most important of such principles ("it is impermissible to harm other people as a means of achieving a utilitarian goal, but it is permissible to cause such harm as a side-effect of its achievement") reflects the functioning of the emotional alarm system, which in the early ages of human history protected small groups from internal violence using contact means of harm. The means of harm have since expanded, but the inflexible emotional part of our psyche still dictates the limits of permissibility. This dictate has no reasonable grounds, and the abovementioned principle cannot claim to be objective and universal. The author shows that the data used by J. Green is different from the results of studies by Yu.I. Aleksandrov and K.R. Arutyunova on the impact of alcohol intoxication on making deontological and utilitarian moral evaluations. These results indicate that both the deontological and the utilitarian principles are partly based on the emotional subsystem. Accordingly, a normative ethicist is forced to choose as the scientific basis of his or her research some of the opposing scientific models that explain the process of making moral evaluations. Some of the models are consistent with the moderate naturalization project, others are not. The choice between models depends exclusively on already taken metaethical and normative preferences.

Keywords: morality, naturalization of ethics, moral principles, deontology, utilitarianism, evolutionary debunking, trolley problem, J. Greene

Введение

В современной эпистемологической мысли ведутся интенсивные дискуссии о необходимости, а в случае необходимости – об оптимальной глубине натурализации эпистемологии. В своей радикальной форме натурализация снимает проблему выявления критериев, позволяющих приписывать каким-то высказываниям статус истинного знания, и, соответственно, дополнительную проблему – проблему обоснования конкретных высказываний в качестве истинных. Тем



самым традиционная эпистемология, включающая в себя априорную и нормативную составляющую, заменяется на психологическое описание перехода от чувственных данных к их теоретическим интерпретациям [Quine, 1969]. В своей умеренной форме натурализация эпистемологии предполагает психологическое исследование эволюционных корней и социального контекста познавательной деятельности, а также его более тесное взаимодействие с теоретической работой по обоснованию знания. Вместо замены философского исследования психологическим предполагается взаимная коррекция методов и результатов.

В этической мысли происходят параллельные процессы. Я оставляю в стороне обсуждение тезисов о том, что дисциплина, именуемая нормативной этикой, лишь по случайности не называется нормативной эпистемологией [Kim, 1988] и что такая нормативная (или моральная) эпистемология подвергается той же самой натурализации, что и общая, но с определенной спецификой [Campbell, Hunter, 2000]. Однако даже если эти тезисы неверны, параллелизм очевиден. В этике мы видим похожее соотношение радикализма и умеренности при решении вопроса о том, как должны соотноситься между собой априорный теоретический анализ и научное исследование генезиса и механизмов функционирования морального сознания. Итак, при радикальном подходе моральные принципы могут рассматриваться исключительно в перспективе породивших их природных и социокультурных факторов, а потребность в обосновании какого-то набора принципов в качестве универсально и объективно значимого может считаться результатом фундаментальной иллюзии. Сторонники этого подхода не отрицают тот факт, что моральные оценки содержат претензию на общезначимость и объективность. Они видят, что этот факт веками заставлял теоретиков рассуждать о критериях, согласно которым некоторые моральные принципы являются истинными, то есть обладают нормативной силой в отношении всех людей. Однако в оптике радикальной натурализации такие рассуждения не только заведомо бесполезны, но и подменяют собой анализ закономерных процессов, которые привели к появлению оценок с претензией на общезначимость и объективность. Умеренная позиция всего лишь допускает, что в ходе выявления универсальных и объективных принципов научные данные, проясняющие их возникновение и причины использования людьми, могут скорректировать выводы специалиста по нормативной этике. В данной статье я попытаюсь установить, в какой мере оправдан умеренный подход на примере проекта эволюционно-психологического разоблачения моральных принципов деонтологического типа, реализованного американским философом и психофизиологом Дж. Грином (в русскоязычной философской литературе анализу проекта Дж. Грина посвящены следующие работы: [Бельский, 2020] и отчасти [Бажанов, Шабалкина, 2017]).



Деонтологические моральные принципы ориентируют морального агента на такие характеристики действия, которые можно выявить без анализа его последствий и широкого ситуативного контекста. Деонтологические принципы либо полностью заменяют логику, связанную с суммированием интересов затронутых действием лиц, либо создают внешние ограничения для использования такой логики (ее принято называть утилитаристской). Ограничения могут оформляться в виде системы индивидуальных прав или в виде системы запретов. Среди важнейших деонтологических запретов присутствуют те два, с которыми преимущественно работал Дж. Грин. Первый принцип: «недопустимо причинять вред другим людям *в качестве средства* достижения утилитаристски обоснованной цели, однако причинение вреда *в качестве побочного следствия* ее достижения допустимо». Первый способ причинения вреда может пониматься как его намеренное причинение, второй – как ненамеренное, и тогда принцип выглядит следующим образом: «нельзя причинять вред *намеренно*, но *ненамеренное* его причинение допустимо, если оно оправдано целью действия». Второй принцип: «недопустимо *причинять вред* другим людям для достижения утилитаристки обоснованной цели, однако ради достижения той же цели допустимо *отказаться от предотвращения вреда* несмотря на то, что агент имеет такую возможность».

Нормативно-этический проект Дж. Грина

В своих попытках на научной основе показать, что деонтологические моральные принципы не могут рассматриваться в качестве универсальных и объективных (истинных), Дж. Грин опирался на так называемую дуальную или двухпроцессную модель человеческой психики. Он предположил, что мы оцениваем действия различных агентов в моральной перспективе на основе либо когнитивных, либо эмоциональных реакций. Первые предполагают, что оценке предшествует такое описание ситуации, которое является поведенчески нейтральным. Когнитивная реакция сама по себе не дает ответа на вопросы «как относиться к происходящему?» или «что делать в складывающихся условиях?». Она призвана прояснить вопросы: «что происходит?». или «к чему ведет происходящее в ближайшей или длительной перспективе?» Переход от когнитивной реакции к выбору оптимального в данной ситуации действия осуществляется на основе наложения на нейтральное описание происходящего тех оценочных критериев, которые существуют независимо от этого описания. Подобная процедура является дискурсивной, в ее ходе нормативные



установки соотносятся с фактическими утверждениями, и в силу этого оценка требует времени и усилий.

Эмоциональные реакции, в отличие от когнитивных, определяют поведение на ничем не опосредованной автоматической основе. Эмоциональная репрезентация ситуации обладает, пользуясь терминами Дж. Грина, «поведенческой валентностью». Она включает в себя стимулы к совершению определенного действия или к воздержанию от него. Например, констатация «Это животное – змея» в этом случае тождественна требованию «Не подходи к змее!». В процессе когнитивного реагирования такого тождества быть не может, поскольку конкретная ситуация, в которой находится агент, может предполагать, что а) это змея, но не ядовитая, б) это ядовитая змея, но агент защищен от ее укусов, в) существует риск быть укушенным ядовитой змеей, но его компенсируют преимущества от приближения к ней и т.д. и т.п. Во всех трех указанных случаях констатация присутствия змеи не влечет автоматически попытку от нее удалиться. Однако для человека, который просто подвержен сильному инстинктивному страху змей, удаление от объекта, идентифицированного в качестве змеи, является императивным вне зависимости от специфики конкретной ситуации. Эмоциональные реакции в эволюционной истории человека сформировались как способ принятия решений в тех случаях, когда у агента нет времени на обдумывание действий, имеется лишь ограниченная информация о положении дел и требуется мгновенный поведенческий отклик на потенциальную опасность (шире – на практическую проблему) [Green, 2008b, p. 40–41].

В центре внимания Грина находится разоблачение первого из двух охарактеризованных выше деонтологических принципов. Классической иллюстрацией его применения считается реакция среднестатистического респондента на модификации «задачи с вагонеткой», известные как «Стрелка» и «Пешеходный мост» (другое устойчивое название «Толстяк»). В «Стрелке» руководствующийся моральными мотивами агент перенаправляет потерявшую управление вагонетку с пути, где находятся пять человек, на путь, где находится один. В «Пешеходном мосте» такой же агент в условиях, когда нет возможности пожертвовать собой, сталкивается на рельсы с проходящего над ними пешеходного моста другого человека для того, чтобы вагонетка, натолкнувшись на его тело, не могла продолжить свой путь в сторону пятерых потенциальных жертв инцидента (см. подробнее: [Эдмондс, 2016]). Подавляющее большинство респондентов рассматривает перенаправление вагонетки на стрелке в качестве допустимого, хотя и не обязательного действия. Точно так же подавляющее большинство рассматривает сбрасывание человека на рельсы в качестве действия недопустимого (оба тезиса подтверждены многочисленными исследованиями,



см. для примера сравнительные данные Т. Тоншо по США, России и Китаю [Tannsjo, 2015, p. 58, 63]).

Таким образом, наиболее распространенным способом принятия морально значимых решений в ситуациях, где вред другим людям может быть минимизирован, оказывается утилитаристское суммирование спасенных и потерянных жизней, ограниченное абсолютным запретом на *некоторые* способы причинения вреда (здесь – причинения смерти другому человеку). Для респондентов, не имеющих специального философского образования или опыта систематической нормативной рефлексии, основания этого запрета в большинстве случаев неочевидны, хотя он и признается ими в качестве абсолютного. А с точки зрения этиков деонтологического направления, за моральными суждениями большинства стоит именно то, что респонденты придают разный моральный статус причинению вреда как побочного следствия спасения большого количества людей («Стрелка») и вреда как средства такого спасения («Пешеходный мост»). На следующем уровне нормативных обобщений этики-деонтологи обнаруживают ряд отправных позиций этого разграничения. Так, в случае «Пешеходный мост» гибнущий человек используется в качестве только средства, а не цели; тот, кто толкает его на рельсы, пренебрегает его человеческим достоинством, нарушает его право на жизнь, нарушает принцип согласия в его разных версиях (сам Дж. Грин упоминает Дж. Томсон и Ф. Кэмм [Green, 2008b, p. 68]. И напротив, ряд этиков-деонтологов обсуждают проблему вагонетки и разницу между вредом-средством и вредом – побочным следствием именно в этом ключе гораздо шире; см. для примера в хронологическом порядке: [Thomson, 1985; Quinn, 1989; Kamm, 1996, p. 143–171; Kerstein, 2013, p. 121–139; Kleingeld, 2020]).

Разоблачение обсуждаемого принципа опирается у Грина на экспериментальные данные, позволяющие провести довольно строгую корреляцию между суждениями, которые отражают запрет на причинение вреда в качестве средства достижения утилитаристски обоснованной цели, и активностью эмоционального полюса дуальной (двухпроцессной) модели психики. Опираясь на информацию о скорости протекания психических процессов и зон мозга, задействованных в ходе принятия решений, Дж. Грин предположил, что в кейсе «Пешеходный мост» несогласие большинства испытуемых с тем, чтобы лишить жизни одного человека ради спасения пятерых, основано на эмоциональных психических механизмах [Green, 2008b, p. 41–46; Green, 2013, p. 117–131]. В то же время оценка кейса «Стрелка» (то есть их готовность лишить жизни одного человека, чтобы спасти пятерых) предполагает борьбу эмоционального и когнитивного полюсов дуальной (двухпроцессной) модели. Когнитивный полюс продвигает утилитаристское решение проблемы, эмоциональный – деонтологическое, и по каким-то причинам борьба заканчивается победой когнитивного.



Можно было бы предположить, что «истинные» моральные принципы и психологическая реальность, описанная Дж. Грином, находятся в состоянии своего рода предустановленной гармонии. Процесс эволюции спонтанно привел к формированию такой нормативной системы, которая подтверждается на основе использования традиционного (априорного) инструментария моральной философии. Однако Дж. Грин не принимает тезис о предустановленной гармонии и выражает недоверие деонтологической нормативной этике. Основой такого недоверия являются полученные им ответы на два вопроса: какую роль эмоциональные реакции играют в ходе принятия морально значимых решений и как эти реакции сформировались в ходе эволюции? Эмоциональные реакции в моральной сфере, по мнению Дж. Грина, представляют собой очень быстро, но грубо и приблизительно действующую тревожную сигнализацию в отношении внутригруппового насилия. Эмоциональное «нельзя!» в отношении такого насилия позволяло первобытным группам быть более устойчивыми и конкурентоспособными. Оно было так же полезно, как страх змей и насекомых или как отвращение к протухшему мясу. Но касалось оно лишь тех способов причинения вреда другому человеку, которые находились в распоряжении древних людей, то есть причинения вреда в ходе непосредственного физического контакта. Иные способы причинить вред, например с помощью выстрела из кольта, запуска баллистической ракеты или перенаправления вагонетки на стрелке, не фиксируются (или очень слабо фиксируются) этой сигнализационной системой. Именно поэтому на первом плане оказывается соотношение потерянных и спасенных жизней, как в кейсе «Стрелка». Данное обстоятельство, по замечанию Дж. Грина, не имеет отношения к «моральной истине», то есть к набору объективных и универсальных разграничений между допустимым и недопустимым поведением [Green, 2008b, p. 70]. Этики-деонтологи пытаются провести апологию моральной интуиции и показать, что обращение с погибающим человеком в «Пешеходном мосте» отличается от обращения с его аналогом в «Стрелке» по своему моральному качеству. Однако Грин считает, что предъявление данных нейropsихологии и эволюционной теории легко разоблачает деонтологические принципы в качестве *моральных рационализаций морально безразличного положения дел* [Ibid., p. 67–72].

Позднее под воздействием критики Дж. Грин частично скорректировал свою позицию (критику и первоначальную реакцию на нее см.: [Mikhail, 2008; Green, 2008a]). Дж. Грин принял во внимание, что кейс «Пешеходный мост» легко трансформировать в случай дистанцированного причинения вреда, и, несмотря на это, негативная оценка действий «спасителя» большинством испытуемых не исчезает. Имеется в виду такая модификация кейса, в которой человек не сбрасывается с пешеходного моста, а проваливается в дистанционно



управляемый люк, на который ему по стечению обстоятельств не повезло наступить. Если так, то причинение вреда *в результате* действий по спасению (перевод стрелки) и причинение вреда *в самом процессе* спасения (сбрасывание человека с пешеходного моста) представляют собой самостоятельное разграничение, несводимое к проблеме контактности или дистанционности воздействия. Признание этого факта не заставило Дж. Грина отказаться от разоблачения деонтологической этики. Однако он вынужден был дополнить свое понимание эмоциональной тревожной сигнализации. Такая сигнализация, по мнению Дж. Грина, реагирует не только на персональное и контактное лишение другого человека жизни, но и на лишение жизни в порядке легко различимой первичной причинно-следственной цепочки. Более сложные вторичные цепочки эмоциональными механизмами моральной оценки не фиксируются. В случае «Стрелка» первичная цепочка ведет от действия к спасению пятерых человек. Она не включает в себя тревожный сигнал причинения вреда другому человеку. То, что вред все же причиняется, фиксирует лишь когнитивная система, но она предполагает взвешивание альтернатив, и этот вред в итоге воспринимается как меньший. В случае «Пешеходный мост» первичная цепочка ведет от действия к гибели одного человека на рельсах. Причинение вреда оказывается в «поле зрения» тревожной сигнализации и порождает острый эмоциональный отклик. Однако подобная каузальная миопия эмоциональной оценки не является достаточным основанием для того, чтобы считать кейсы «Стрелка» и «Пешеходный мост» различными в моральном отношении [Green, 2013, p. 211–240].

Второму деонтологическому принципу из числа двух, указанных во введении к статье, Грин уделит меньше внимания, но и этот принцип также был подвергнут им разоблачению, общая логика которого такова. В случае непредотвращения вреда перед человеческим мозгом стоит непростая задача анализа огромного количества сценариев, ведущих от бездействия к страданиям, увечью или смерти других людей, тогда как в случае причинения вреда количество таких сценариев ограничено. Однако когнитивные ограничения не являются однозначным свидетельством того, что причинение вреда (например, убийство) по существу хуже, чем его непредотвращение (например, оставление умирать) [Green, 2013, p. 240–245]. Следует также учитывать, что другие теоретики попытались использовать гриновскую методику для разоблачения второй формулировки принципа, касающегося причинения вреда как средства и причинения вреда как побочного следствия. Имеется в виду его оформление в категориях намеренного/ненамеренного поведения [Levy, 2011]. Основой разоблачения стали эксперименты Дж. Ноуба [Knobe, 2003].

В итоге Дж. Грин избегает радикальной натурализации этической теории и сохраняет пространство для нормативной этики, хотя



логика разоблачения деонтологических принципов вполне могла бы перейти в логику разоблачения морали как таковой, морали как совокупности любых принципов, претендующих на объективность и универсальность [Прокофьев, 2022, с. 29–32]. Результатом же умеренной натурализации оказывается такая ценностно-нормативная система Дж. Грина, из которой изъят абсолютистский деонтологический компонент, а утилитаристский компонент освобожден от некоторых нереализуемых притязаний. Грин полагает, что ценностно-нормативное содержание морали вполне адекватно выражают предельно общие утилитаристские установки, освобожденные от претензий на точный расчет суммированного благополучия всех затронутых сторон. Грин обозначает их с помощью понятий «метамораль» и «глубокий [моральный] прагматизм» ([Green, 2013, p. 289–291].

Неопределенность научной основы разоблачения деонтологических принципов

Важнейшим затруднением для умеренной натурализации этики является то довольно простое обстоятельство, что ее научная основа (эмпирические данные и их теоретическое осмысление) является недостаточно определенной, изменчивой и противоречивой в том смысле, что разные исследователи по-разному видят психологические механизмы и эволюционные истоки моральной оценки. Если взять за точку отсчета социальный интуитивизм Дж. Хайдта, не признающий дуалистического (двухпроцессного) характера моральной оценки, то натурализация этической теории может быть только радикальной, а для нормативной этики, обосновывающей те или иные принципы в качестве объективных и универсальных, просто не остается места. Как известно, для Дж. Хайдта рационально-дискурсивная составляющая морального опыта (у Дж. Грина она именовалась когнитивной) является бессильным всадником на слоне эмоционально-интуитивных оценок (см. подробнее: [Haidt, 2001; Haidt, 2013]). Соответственно, деонтологические моральные принципы и любые формулы утилитаристского расчета будут поверхностной рационализацией таких оценок.

Однако и внутри дуального понимания психики есть концепции, с которыми гриновский проект разоблачения также несовместим. Моя статья в оставшейся ее части будет посвящена анализу проблем, предъявляемых гриновскому проекту одной из таких концепций. Я имею в виду недавний труд российских психофизиологов Ю.И. Александрова и К.Р. Арутюновой «Мораль и субъективный опыт» (2019).



Ключевой компонент их представлений о работе человеческой психики – взаимодействие онто- и филогенетически ранних, низкодифференцированных систем психического опыта с поздними и высокодифференцированными. В сфере моральных оценок высокодифференцированным системам соответствует дискурсивная составляющая, а низкодифференцированным – интуитивная. При этом интуитивная оценка предполагает максимальное вовлечение эмоций, а дискурсивная – когнитивных способностей и рациональности. Эти тезисы вполне согласуются с картиной психологических механизмов моральной оценки, нарисованной Дж. Грином. Если предположить, что высокодифференцированные системы психики дают более надежные (в познавательном и ценностном отношениях) результаты, то на горизонте возникает перспектива разоблачения тех нормативных принципов, которые тесно связаны с низкодифференцированными системами. В качестве психофизиологов авторы книги не проявляют интереса к обсуждению проблем моральной философии и нормативной этики, но проекция их подхода в эту область могла бы привести именно к таким выводам.

В итоге Ю.И. Александров и К.Р. Арутюнова создают такую концепцию субъективного морального опыта, которая гораздо менее благоприятна для проекта разоблачения деонтологии, чем концепция Дж. Грина. Для начала возьмем следующее их методологическое утверждение: «Мы исходили из предположения о том, что в ситуациях, когда причинение вреда одному человеку является условием достижения блага для большего числа людей, утилитарные решения характеризуются рассогласованием между интуитивной и рациональной составляющими оценки действия... [а] в случае неутилитарных решений... медленная рациональная оценка согласуется с быстрой интуитивной оценкой» [Александров, Арутюнова, 2019, с. 97]. Это означает, что в области высокодифференцированного психического опыта есть место не только для утилитаристской, но и для деонтологической оценки поведения. У Дж. Грина когнитивный и эмоциональный механизмы моральной оценки рассогласованы между собой, а подобие согласования возникает лишь тогда, когда эмоциональная, интуитивная система не противостоит своей *vis-a-vis* (то есть молчит и не подает тревожного сигнала в отношении ее оценок и рекомендаций). С точки зрения российских авторов, возможно и настоящее согласование обеих систем, поскольку моральное рассуждение бывает не только утилитаристским, но и неутилитаристским, и такое неутилитаристское рассуждение в каких-то случаях дополнительно подтверждает интуитивную оценку. Важно, что при этом оно не является всего лишь бессильной в практическом отношении вторичной рационализацией интуитивных реакций, как у Дж. Хайдта. То рассуждение, которое совпадает с интуитивной оценкой и осуществляется по формуле: «причинение вреда – это плохо, потому что...», возникает в незавершенном процессе принятия



решения и является своего рода «вторым ключом» (ср.: [Александров, Арутюнова, 2019, с. 98]). *Таково первое существенное расхождение с Дж. Грином.*

Концепция Ю.И. Александрова и К.Р. Арутюновой не является спекулятивной. В ее пользу свидетельствуют эмпирические данные, которых не имел в своем распоряжении Дж. Грин. Эти данные были получены на основе исследования последствий воздействия на моральную оценку такого универсального и мощного «дедифференциатора» и «дерационализатора», как алкоголь. Результаты воздействия алкоголя, ослабляющего рациональные (дискурсивные, когнитивные) механизмы психики, явно не подтверждают те ожидания, которые отталкиваются от концепции Дж. Грина. Каковы эти ожидания?

Существует два возможных понимания того, что предложил Дж. Грин: во-первых, быстрая тревожная сигнализация просто не фиксирует бесконтактный вред или вред, причиняемый в порядке вторичных причинно-следственных связей, во-вторых, быстрая тревожная сигнализация фиксирует такой вред, но гораздо слабее реагирует на него. В пользу первого вывода могут свидетельствовать результаты измерения Дж. Грином времени реакции испытуемых на предложенные им ситуации. Те испытуемые, которые в случае «Пешеходный мост» принимают решение, соответствующее утилитаристскому подходу, то есть считают допустимым столкнуть толстяка, тратят на свой ответ больше времени, чем те, кто, опираясь на деонтологические принципы, считают это действие недопустимым. Для Дж. Грина это признак того, что имеет место преодоление эмоционального отклика. В то же время ответ на случай «Стрелка» занимает одинаковое время у тех, кто готов, и у тех, кто не готов перенаправить угрозу. Это подводит к выводу, что эмоциональная система не реагирует, хотя Дж. Грин в работе «Тайная шутка Кантовой души» высказывается не столь определенно. Он утверждает, что здесь «нет эмоционального отклика или он гораздо слабее» [Green, 2008b, p. 44]. Однако в более поздней работе «Моральные племена», где эксперименты с замерах времени не упоминаются, Дж. Грин оставляет лишь один из двух вариантов: «вредоносное действие в случае “Стрелка” не вызывает значительного эмоционального отклика», а в случае «Пешеходный мост» «является триггером относительно более сильного эмоционального отклика» [Green, 2013, p. 120–121]. Соответственно, на мой взгляд, ожидания следует выстраивать на основе второго понимания.

Итак, мы знаем, что среди респондентов есть те люди, которые на основе работы когнитивной системы преодолевают эмоциональную тревожную сигнализацию даже в случае «Пешеходный мост» (условно – чистые утилитаристы). Их меньшинство, но если когнитивная система слабеет, то это меньшинство должно уменьшиться. Таково первое ожидаемое следствие алкогольного опьянения. Мы



знаем также, что существуют респонденты, у кого когнитивная система уступает действию тревожной сигнализации даже в случае «Стрелка». Они природные нерефлексивные деонтологи, использующие не принцип, запрещающий причинение вреда в качестве средства и допускающий причинение вреда в качестве побочного эффекта, а принцип, запрещающий причинение вреда как таковое, по крайней мере, в отношении невиновных людей. Таких нерефлексивных деонтологов тоже меньшинство, но если когнитивная система слабеет, то это меньшинство должно увеличиться. Однако результаты исследований Ю.И. Александрова и К.Р. Арутюновой оказались иными.

Перед тем как их охарактеризовать, необходимо немного углубиться в историю исследования вопроса. В 2010-х гг. психологами уже были получены некоторые данные о воздействии алкоголя на моральную оценку. Эти данные свидетельствовали, что единственной тенденцией у испытуемых, находящихся под воздействием алкоголя, является усиление утилитаристского характера оценок по отношению к обоим рассматриваемым ситуациям («Стрелка» и «Пешеходный мост») [Duke, Begue, 2015]. Нельзя не заметить, что этот вывод полностью противоречит гриновской концепции. Однако столь радикальное противоречие авторы книги «Мораль и субъективный опыт» рассматривают все же в качестве результата специфического, неудачного сеттинга, избранного их предшественниками. На выводы предшественников повлияли: а) не самый удачный выбор места исследования (это было социальное пространство – бар, а в социальном пространстве утилитарность оценок всегда возрастает), б) заведомое попадание именно в этом месте в число испытуемых не просто людей, находящихся под воздействием алкоголя, и значит, испытывающих временное ослабление высокодифференцированных структур психики, а людей с развитой алкогольной зависимостью (у них формируются стойкие изменения личности, создающие тенденцию к вынесению утилитаристских оценок) [Александров, Арутюнова, 2019, с. 116–122].

Собственные исследования Ю.И. Александрова и К.Р. Арутюновой проводились с людьми без алкогольной зависимости и в условиях изоляции. Однако результаты все равно получились не соответствующими концепции Дж. Грина. Воздействие алкоголя на моральные оценки оказалось очень индивидуальным и разнонаправленным. «Анализ индивидуальных ответов показал, что нередко моральные оценки после приема алкоголя остаются сходными с оценками в ситуации, не включающей прием алкоголя... когда же они изменяются, наблюдаемые сдвиги разнонаправленны: утилитарность оценок одних индивидов под влиянием алкоголя растет, а других – снижается» [Там же, с. 119–120]. Общей тенденции к снижению утилитаристского характера оценок не наблюдается, хотя концепция Дж. Грина ее



предсказывала. В этом состоит второе существенное расхождение с Дж. Грином.

К разнонаправленности сдвигов я еще вернусь, а сейчас хотел обратить внимание читателя на то, что эксперименты с влиянием алкоголя на моральную оценку показали, что опьянение *по-разному* влияет на способность испытуемых дифференцировать причинение вреда другому человеку на основе *разных* деонтологических критериев. Прежде всего, в ходе этих экспериментов было установлено, что «после приема алкоголя участники в меньшей степени различали пары моральных дилемм, в которых противопоставлялись действие и бездействие, а также причинение вреда как средство достижения цели и причинение вреда как побочный эффект достижения цели» [Александров, Арутюнова 2019, с. 119]. Также было продемонстрировано, что параллельно с этими изменениями уменьшается и способность дифференцировать действия на намеренные и ненамеренные (здесь имеются в виду любые представления о намеренности/ненамеренности, а не только философски уточненное представление, охарактеризованное выше). Люди, которые в состоянии опьянения начинали «приписывать намерения всем действиям, включая случайные... [причем] в негативном контексте, который имеет отношение к причинению вреда другим», переставали также усматривать разницу между тем, что необходимо сделать для достижения цели, и побочными следствиями ее достижения, а также разницу между причинением вреда и его непредотвращением. Для Ю.И. Александрова и К.Р. Арутюновой изменения, связанные с первым из разграничений, предопределяют изменения, связанные с двумя другими. Однако в состоянии опьянения ослабевали не все деонтологические ограничения утилитаристской логики принятия решений: практически все «участники продолжали хорошо различать дилеммы с использованием физического контакта и без него» [Там же, с. 119].

Разная судьба ограничений утилитаристской логики, выявленная в экспериментах российских психологов, также не соответствует научной основе гриновского разоблачения деонтологии. *И это третье расхождение.* Для Дж. Грина деонтологические принципы имеют одинаковую природу. Они есть результат неспособности тревожной эмоциональной сигнализации реагировать на сложность ситуаций морального выбора и разнообразие причинно-следственных связей: все деонтологические принципы представляют собой проявления примитивной эвристики. Однако в работе «Мораль и субъективный опыт» выдвинуто предположение о том, что некоторые из них поддерживаются сложной, дискурсивной, рациональной системой психики. Это предположение экспериментально подтверждается уязвимостью трех упомянутых выше принципов для ослабления или отключения этой системы. Исключение составляет лишь один принцип: «недопустимо для достижения утилитаристски обоснованной цели причинять



вред другим людям *посредством физического контакта*, однако причинение такого же вреда *дистанционными средствами* допустимо». Тот факт, что он является исключением, как раз и указывает на то, что он представляет собой проявление примитивной эвристики. Но ведь это такой принцип, который деонтологическая нормативная этика не принимает. Дж. Грин стремится разоблачить не его, а другие деонтологические принципы посредством сведения к нему.

В отношении того, что происходит с разграничением намеренности/ненамеренности действий, еще можно было бы построить объяснение, которое соответствует модели Дж. Грина. Можно предположить, что распознавание намерений – это сложный, требующий рефлексии процесс, поэтому неудивительно, что он ослабляется под воздействием алкоголя. Но в отношении критериев средство / побочное следствие и действие/бездействие складывается иная ситуация. Первый, по Дж. Грину, является скрытым проявлением отвращения к контактному формам причинения вреда и следствием вынужденного игнорирования сложных, ветвящихся причинно-следственных связей между действием и потерями других людей. Второй же есть результат вынужденного пренебрежения слишком большим, потенциально необозримым количеством причинно-следственных связей между бездействием и потерями других людей. Они оба представляют собой удобные эвристические инструменты для вынесения быстрых интуитивных суждений о реальной ситуации. И оба включены в работу эмоциональной тревожной сигнализации в сфере причинения вреда другому человеку. Поэтому причины того, что отключение более сложных систем психики ведет к приостановке применения этих критериев, остаются неясными. В свете концепции Дж. Грина они должны находиться в том же положении, что и критерий наличия/отсутствия физического контакта, то есть применяться, а может быть, и доминировать в состоянии опьянения. Однако это оказывается не так.

Теперь вернемся к разнонаправленности воздействия опьянения на моральные оценки в ситуациях «Стрелка» и «Пешеходный мост». Тот факт, что реакция респондентов оказалась разнонаправленной, не оставляет возможности для других интерпретаций, кроме той, что основа, относящаяся к эмоциональной, интуитивной, низкодифференцированной составляющей человеческой психики, есть не только у деонтологических, но и у утилитаристских оценок. Это утверждение естественным образом дополняет обсуждавшийся выше тезис, что деонтологические моральные оценки опираются не только на низкодифференцированную, но и на высокодифференцированную психическую систему. Итак, по мнению Ю.И. Александрова и К.Р. Арутюновой, использование нормативного принципа «спасай как можно больше людей» является не результатом многостороннего рационального анализа ситуации через призму максимизации блага,



а эвристическим приемом – удобным упрощением. Опора на этот принцип представляет собой быструю эмоциональную реакцию, и значит, существенное количество утилитаристских оценок связано не с рассуждением о наибольшем благе наибольшего количества людей, а с интуитивным оценочным реагированием. Возможно, что такая эвристика несколько сложнее эвристики деонтологического типа, но она тем не менее остается выражением работы низкодифференцированных психических систем. *В этом состоит четвертое существенное расхождение с Дж. Грином.*

Представление о двух типах моральной эвристики не является новацией российских психологов, его ввел в оборот американский теоретик К. Санстин [Sunstein, 2005]). Однако полученные российскими психологами данные эмпирически подкрепляют это представление. В свете этих данных люди разделяются на два типа: на тех, кто тяготеет к интуитивному использованию утилитаристских критериев оценки, и тех, кто склонен интуитивно использовать критерии деонтологические. На представителей этих типов алкоголь воздействует по-разному. Одни оказываются все более и более строгими «деонтологами», другие – все более и более строгими «утилитаристами». И это означает лишь то, что «при угнетении высокодифференцированных систем под влиянием алкоголя рассуждение сужается до простых и доступных правил: например, “убивать нельзя” или “надо спасти больше людей”» [Александров, Арутюнова 2019, с. 123]. «Алкогольная миопия» ведет к легкости и быстроте принятия как утилитаристских, так и деонтологических решений в зависимости от преобладающего у данного участника эксперимента типа моральной эвристики.

Заключение

В ходе сравнения научной основы разоблачения деонтологических моральных принципов Дж. Грина с моделью субъективного морального опыта, предложенной Ю.И. Александровым и К.Р. Арутюновой, были обнаружены следующие расхождения. 1. По мнению российских психологов, деонтологические моральные оценки возникают на основе работы как эмоциональной (низкодифференцированной) системы нашей психики, так и ее когнитивной (высоккодифференцированной) системы. 2. Российские психологи демонстрируют, что ослабление когнитивной системы не ведет к росту общего числа оценок, ограничивающих утилитаристский расчет (что, по всей видимости, предполагает концепция Дж. Грина). 3. В экспериментах российских психологов выявляется неоднородность нормативных ограничений утилитаристского расчета в отношении их зависимости



от эмоциональной системы, причем наибольшую зависимость проявляют совсем не те ограничения, которые значимы для нормативной этики деонтологического типа. 4. Результаты экспериментов российских психологов указывают на существование, наряду с деонтологической моральной эвристикой, зависящей от эмоциональной системы, точно такой же утилитаристской эвристики.

Какой вывод из этого сравнения может быть сделан применительно к проблеме натурализации моральной эпистемологии? Похоже, что современная наука о психике предоставляет нам очень разные модели описания механизмов работы морального сознания. Одни модели, подобно социальному интуитивизму Дж. Хайдта, подталкивают к признанию необходимости и возможности радикальной натурализации и к фактическому устранению нормативной этики. В этой оптике все моральные оценки и принципы сводятся к их закономерной психической основе и ее обработке абсолютно равноправными, но сильно отличающимися друг от друга социокультурными системами. Другие модели, подобно двухпроцессной концепции психики Дж. Грина, подталкивают к умеренной натурализации, которая выражается в виде попыток разоблачить какую-то часть моральных принципов как не имеющую оснований считаться объективной и универсальной. Эффект разоблачения поддерживается уверенностью в возможности привязать разные принципы морали к разным системам психики (соответственно, эмоциональной и когнитивной). Третьи модели, подобно двухпроцессному образу психики Ю.И. Александрова и К.Р. Арутюновой, подрывают проект разоблачения, но оставляют открытым вопрос о необходимости и возможности других вариантов умеренной натурализации. Все моральные принципы оказываются одинаковым образом связаны как с низко-, так и с высокодифференцированными компонентами субъективного морального опыта. В условиях подобной неоднозначности научных моделей морального сознания (морального опыта) выбор философской позиции в отношении натурализации моральной эпистемологии оказывается зависимым не столько от научных данных, сколько от уже имеющихся у него метаэтических и нормативно-этических предпочтений.

Список литературы

Александров, Арутюнова, 2019 – Александров Ю.И., Арутюнова К.Р. Мораль и субъективный опыт. М.: Институт психологии РАН, 2019. 188 с.

Бажанов, Шабалкина, 2017 – Бажанов В.А., Шабалкина Е.Е. Проблема поиска нейрофизиологических оснований морали: нейроэтика // Философские науки. 2017. № 6. С. 64–79.



Бельский, 2020 – Бельский И.С. «Нейронаучный поворот» и эксперименты Дж. Грина: этико-антропологические импликации // Вестник Гуманитарного университета. 2020. № 1 (28). С. 123–129.

Прокофьев, 2022 – Прокофьев А.В. Эволюционно-психологическое разоблачение моральных принципов как этическая проблема // Вопросы философии. 2022. № 2. С. 23–33.

Эдмондс, 2016 – Эдмондс Д. Убили бы вы толстяка? Задача о вагонетке: что такое хорошо и что такое плохо? М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. 256 с.

References

Aleksandrov, Yu.I., Arutyunova, K.R. *Moral' i sub"ektivnyi opyt* [Morality and Subjective Experience]. Moscow: Institut psikhologii RAN Publ., 2019, 188 pp. (In Russian)

Bazhanov, V.A., Shabalkina, E.E. "Problema poiska neurofiziologicheskikh osnovanii morali: neuroetika" [The Problem of Quest for the Neurophysiological Foundations of Morality: Neuroethics], *Filosofskie nauki*, 2017, no. 6, pp. 64–79. (In Russian)

Bel'skii, I.S. "Neironauchnyi povorot i eksperimenty Dzh. Grina: etiko-antropologicheskie implikatsii" [The "Neuroscientific Turn" and J. Greene's Experiments: Ethical and Anthropological Implications], *Vestnik Gumanitarnogo universiteta*, 2020, no. 1 (28), pp. 123–129. (In Russian)

Campbell, Hunter, 2000 – Campbell, R., Hunter, B. (eds.) *Moral Epistemology Naturalized*. Calgary: University of Calgary Press, 2000.

Duke, Begue, 2015 – Duke, A.A., Begue, L. "The Drunk Utilitarian: Blood Alcohol Concentration Predicts Utilitarian Responses in Moral Dilemmas", *Cognition*, 2015, vol. 134, pp. 121–127.

Edmonds, D. *Ubili by vy tolstyaka? Zadacha o vagonetke: chto takoe khorosho i chto takoe plokho?* [Would You Kill the Fat Man?: The Trolley Problem and What Your Answer Tells Us about Right and Wrong]. M.: Instituta Gaidara Publ., 2016, 256 pp. (In Russian)

Greene, 2008 – Greene, J.D. "The Secret Joke of Kant's Soul", in: W. Sinnott-Armstrong (ed.) *Moral Psychology. Vol. 3. The Neuroscience of Morality: Emotion, Brain Disorders, and Development*. Cambridge: MIT Press, 2008, pp. 35–80.

Greene, 2008 – Greene, J.D. "Reply to Mikhail and Timmons", in: W. Sinnott-Armstrong (ed.) *Moral Psychology. Vol. 3. The Neuroscience of Morality: Emotion, Brain Disorders, and Development*. Cambridge: MIT Press, 2008, pp. 105–119.

Greene, 2013 – Greene, J.D. *Moral Tribes: Emotion, Reason, and the Gap between Us and Them*. New York: Penguin Press, 2013.

Haidt, 2001 – Haidt, J. "The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment", *Psychological Review*, 2001, vol. 108, no. 4, pp. 814–834.

Haidt, 2012 – Haidt, J. *The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion*. New York: Pantheon Books, 2012, 419 pp.

Kamm, 1996 – Kamm, F. *Morality, Mortality. Volume II: Rights, Duties, and Status*. New York: Oxford University Press, 1996. 389 pp.

Kerstein, 2013 – Kerstein, S. *How to Treat Persons*. Oxford: Oxford University Press, 2013. 225 pp.



Kim, 1988 – Kim, J. “What is Naturalized Epistemology?”, in: J.E. Tomberlin (ed.) *Philosophical Perspectives. Vol. 2. Epistemology*. Asascadero: Ridgeview Publishing Co, 1988, pp. 381–406.

Kleingeld, 2020 – Kleingeld, P. “A Kantian Solution to the Trolley Problem”, *Oxford Studies in Normative Ethics*, 2020, vol. 10, pp. 204–228.

Knobe, 2003 – Knobe, J. “Intentional Action and Side Effects in Ordinary Language”, *Analysis*, 2003, vol. 63, no. 3, pp. 190–194.

Levy, 2011 – Levy, N. “Neuroethics: A New Way of Doing Ethics”, *AJOB Neuroscience*, 2011, vol. 2, no. 2, pp. 3–9.

Mikhail, 2008 – Mikhail, J. “Moral Cognition and Computational Theory”, in: W. Sinnott-Armstrong (ed.) *Moral Psychology. Vol. 3. The Neuroscience of Morality: Emotion, Brain Disorders, and Development*. Cambridge: MIT Press, 2008, pp. 81–92.

Prokof'ev, A.V. “Evolutsionno-psikhologicheskoe razoblachenie moral'nykh printsiptov kak eticheskaya problema” [The Evolutionary and Psychological Debunking of Moral Principles as an Ethical Problem], *Voprosy filosofii*, 2022, no. 2, pp. 23–33. (In Russian)

Quine, 1969 – Quine, W.V.O. “Epistemology Naturalized”, in: Quine, W.V.O. *Ontological Relativity and Other Essays*. New York: Columbia University Press, 1969, pp. 69–90.

Quinn, 1989 – Quinn, W.S. “Actions, Intentions, and Consequences: The Doctrine of Double Effect”, *Philosophy & Public Affairs*, 1989, vol. 18, no. 4, pp. 334–351.

Sunstein, 2005 – Sunstein, C.R. “Moral Heuristics”, *Behavioral and Brain Sciences*, 2005, vol. 28, no. 4, pp. 531–542.

Tannsjö, 2015 – Tannsjö, T. *Taking Life: Three Theories on the Ethics of Killing*. Oxford: Oxford University Press, 2015, 328 pp.

Thomson, 1985 – Thomson, J.J. “The Trolley Problem”, *The Yale Law Journal*, 1985, vol. 94, no. 6, pp. 1395–1415.

ОХОТНИКИ ЗА КРЕАТИВНОСТЬЮ: РОЛЬ НАУЧНЫХ КОММУНИКАТОРОВ В ОЦЕНКЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Сахарова Анна Владимировна – младший научный сотрудник.
Институт философии РАН.
Российская Федерация,
109240, г. Москва,
ул. Гончарная, д. 12, стр. 1;
e-mail: hanna.lazareva@gmail.com



Научные коммуникаторы, в первую очередь журналисты и специалисты в области научного PR, часто рассматриваются как внешнее и необязательное дополнение к науке. Их влияние на научные практики и общественное восприятие науки часто недооценивается, а их функция осмысливается как техническая: как простой пересказ научного исследования понятным для публики языком. В настоящей работе на примере такого критерия, как «креативность», мы предлагаем посмотреть на роль научных коммуникаторов более широко. В работе показано, что именно научные коммуникаторы, а не представители научного сообщества являются основным субъектом оценки научных результатов по одному из аспектов креативности, а креативность научных исследований оказывается элементом формирования науки как социального фактора, а не только предметом ее внутреннего функционирования. Научные коммуникаторы рассматриваются не как «внешние» по отношению к науке акторы – их работа затрагивает принципиальные критерии научной успешности, институт научной репутации и влияет на восприятие науки современниками. Они не просто описывают исследования, они формируют представления о ценностных аспектах науки в обществе и влияют на образ науки, который транслируется в публичное пространство, отбирая статьи по определенным критериям, не всегда наиболее значимым в науке, наделяя научные результаты особенной, релевантной для общества значимостью, которая не представлена явно в текстах научных статей. От деятельности научных коммуникаторов может зависеть финансирование и развитие научного направления, его общественная и государственная поддержка, его популярность среди абитуриентов, студентов и молодых ученых – а значит, и качество привлекаемых в эту сферу научных кадров. Фактически научные коммуникаторы оказываются ключевыми архитекторами общественных, а часто и внутринаучных представлений о науке в целом и о различных научных направлениях.

Ключевые слова: креативность, эпистемология, научные коммуникации, наука и общество, научная журналистика, научный PR



HUNTING FOR CREATIVITY: THE ROLE OF SCIENCE COMMUNICATORS IN EVALUATING SCIENTIFIC RESEARCH

Anna V. Sakharova –
Junior Research Fellow.
Institute of Philosophy,
Russian Academy of Sciences.
12/1 Goncharnaya St.,
Moscow 109240,
Russian Federation;
e-mail: hanna.lazareva@
gmail.com

Science communicators, including journalists and experts in the field of public relations in science, are often seen as an external and optional addition to the scientific community. Their influence on scientific practices and public perception of science is often underestimated, and their role is understood as a technical one: as a simple retelling of scientific research in a language understandable to the public. In this paper, using the example of such a criterion as “creativity”, we propose to reconsider the role of science communicators more broadly. The paper shows that it is science communicators, rather than representatives of the scientific community, who should be the primary subjects of evaluating articles according to the criterion of creativity. The authors argue that the creativity of scientific research is an essential element in the development of science as a social phenomenon, rather than just a component of its internal operation. Science communicators are not considered as “external” actors in relation to science – their work has a significant impact on the fundamental criteria for scientific success, such as the establishment of scientific reputation, and influences the perception of science among the general public. They do not just describe research, they form ideas about the value aspects of science in society and influence the image of science, which is broadcast into the public space, selecting articles according to certain criteria that are not always the most significant in science, endowing scientific results with a special, socially relevant significance that is not explicitly presented in the texts of scientific articles. The activities of science communicators can influence the funding and development of a scientific field, its public and government support, its popularity among applicants, students and young scientists – and, consequently, the quality of scientific personnel involved in this field. In fact, science communicators turn out to be key architects of public, and often intrascientific, ideas about science and various scientific fields.

Keywords: creativity, epistemology, science communications, science and society, science journalism, public relations in science

Введение. Подходы к описанию научной креативности

В настоящей работе речь пойдет о роли внешней научной коммуникации и роли, казалось бы, внешних по отношению к науке акторов в поиске, оценке и осмыслении научной креативности. Начальной точкой для рассуждения на тему креативности и роли научных коммуникаторов в ее формировании послужила статья [Касавин,



Сахарова, 2023], в которой мы, опираясь на исследования Маргарет Боден [Boden, 2004], Эдриана Керри [Currie, 2019] и Мэттью Кирана [Kieran, 2018], определили научную креативность как социально-исторический феномен, затрагивая в основном вопросы об осмыслении научного результата научным сообществом, в том числе и в аспекте коммуникаций: формальных и неформальных. Мы будем отталкиваться от высказанных и обоснованных в указанных работах идей, а также опираться на работы И.Т. Касавина «Научное творчество как социальный феномен» [Касавин, 2022], «Коммуникация и творчество» [Касавин, 2012], «Познание и творчество» [Касавин, 2010] и «Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической теории познания» [Касавин, 1998].

В частности, при описании креативности в науке мы будем использовать предложенный в указанных работах социально-эпистемологический подход, объединяющий внимание к истории и культуре с представлениями о коммуникативно-семиотической природе познания и сознания. Поиск «истоков» творчества в науке при таком подходе происходит не через анализ индивидуальных психологических «креативных» качеств личности, но в аспекте взаимодействия между креативной личностью и ее окружением [Касавин, 2012, с. 16].

Однако прежде, чем обратиться к социально-эпистемологическому подходу, рассмотрим противопоставленный ему когнитивно-методологический подход к креативности в современных исследованиях и укажем причины, по которым он менее применим к нашему исследованию.

Когнитивно-методологические подходы интерпретируют креативность, опираясь на психологические свойства индивида и когнитивные особенности его мышления и определяя феномен креативности как способность человеческого сознания (см., например, [Wallas, 2018; Дорожкин, Шибаршина, 2023; Соколова, 2023] и др.). Этот подход предполагает понимание креативности как «предзаданной» характеристики субъекта, следствием которой будет некоторый креативный научный результат. Несомненно, креативность как явление опирается на определенные когнитивные свойства личности, ее способности и процессы, которые происходят у нее в сознании. Однако, на наш взгляд, анализ их роли находится в ведомстве когнитивных наук, таких как психология и нейрофизиология, которые могут дать более точные и научно обоснованные ответы на вопрос о креативности в когнитивно-методологическом аспекте, чем может дать философия. С позиций философии когнитивно-методологический подход к оценке научной креативности ставит больше неразрешимых вопросов, чем дает ответов: например, кого считать субъектом в статьях с множеством соавторов, как отличить креативную деятельность от некреативной и как вообще извне



анализировать то, что – как в черном ящике – происходит в сознании человека.

Социально-исторические подходы описывают креативность с позиций оценки научного результата как креативного научным сообществом и обществом в целом (см., например, [Kieran, 2018; Boden, 2004; Currie, 2019]). Здесь мы направляем наш взгляд как бы в обратную сторону: характеризуемый как креативный результат делает своего создателя и акт мышления, предшествующий результату, «креативным»: первична в этом случае оценка результата внешними акторами.

С социально-исторических позиций результатом креативной деятельности обычно называют создание некоего ценного нового: «Что означает быть творческим по отношению к некоторому акту? Стандартный ответ гласит, что он должен быть новым и ценным» [Kieran, 2018, р. 1]. Далее неизбежно возникает вопрос о субъекте оценки: кто оценивает научный результат как новый и ценный и на каком основании. Маргарет Боден приводит типологию ценных и новых результатов. Новое и ценное может быть определено самим автором креативной идеи (случай психологической креативности): «P-creativity включает выступление с удивительной и ценной идеей, которая обладает новизной для личности, ее выдвигающей. Неважно, сколько людей уже пришли к этой идее ранее» [Boden, 2004, р. 2]. Новое и ценное в научном результате может оцениваться современниками (случай исторической креативности): «Но, если новая идея квалифицируется как H-creative, это значит, что (насколько нам известно) никто иной не выдвигал ее ранее: она возникла в человеческой истории впервые» [Ibid.].

В работе [Касавин, Сахарова, 2023] мы выделяли также историко-эпистемологическую креативность: ее оценка также основана на анализе результата исследования, однако не «синхронно», а в исторической перспективе: креативный в этом смысле результат «стоит у начала причинно-следственной цепи в истории науки и порождает другие результаты. Открытие в этом случае становится открытием, только если на нем основаны другие достижения. Это значит, что говорить о значимости и ценности креативного результата мы можем только с точки зрения его перспективы, его следствий по прошествии некоторого времени» [Касавин, Сахарова, 2023, с. 54].

В настоящей работе речь в первую очередь пойдет об «историческом» аспекте креативности – о том, как происходит оценка креативного результата современниками, и о том, какие дополнительные факторы могут быть учтены при этой оценке.



Компонент «неожиданного» в креативном

Как уже было указано выше, в случае социально-исторического анализа главными критериями выделения креативного результата являются его ценность и новизна. И действительно, по большому счету любой значимый научный результат должен быть новым (в какой-то степени) и ценным (в том или ином аспекте). Актором, оценивающим эти характеристики, является современное креативной личности научное сообщество. Однако нередко бывает, что результат признается новым и ценным лишь постфактум и часто не без помощи внимательных историков науки.

Но достаточно ли этих характеристик для того, чтобы определить научный результат как креативный? Наверное, чтобы как-то отделить креативный результат от просто значимого в науке, для результата нужно ввести какой-то еще критерий. По-видимому, элемент «невероятности» и «удивительности» достаточно хорошо подходит для «модернизации» креативности. Если мы предположим, что ученый получил предсказуемый результат, например экспериментальные данные показали соответствие теоретическим, то такой результат, конечно, оставаясь ценным (теория подтверждена) и новым (впервые), не может, на наш взгляд, называться креативным: речь здесь идет скорее о качественном значимом исследовании, но для креативности не хватает элемента неожиданности: в расчетах, ожиданиях, методологии, в каком-либо из элементов научной работы.

Маргарет Боден, рассуждая о креативности, также говорит о еще одном необходимом критерии креативного – *неожиданности*: “Creativity is the ability to come up with ideas or artefacts that are new, *surprising* and valuable” [Boden, 2004, p. 2].

Фактор «неожиданности» играет разную роль в разных типах креативности. В психологическом типе креативности он неизбежно присутствует в оценке самого актора. В историко-эпистемологическом подтипе креативности этот фактор просто не может быть применен: вряд ли вам может показаться неожиданным что-то, что случилось позавчера. В историко-эпистемологической перспективе обычно формируется образ научного открытия, сделанного в прошлом, уже занявшего свое место в истории науки и включенного в систему научного знания. Фактор неожиданности тут не является значимым: гораздо важнее оказывается влияние исследования на последующее развитие научных практик. Неожиданность в этом случае может присутствовать и сохраняться некоторое время после получения результата, повлиять на его освоение последователями, но в долгосрочной перспективе неожиданность «стирается» и креативный на момент его получения результат становится частью «нормальной науки» по Т. Куну.



Наиболее интересным в аспекте «неожиданности» оказывается исторический подтип креативности: именно этот фактор в случае оценки результата современниками может сыграть особую роль. Интересно, что именно фактор неожиданности и его вклад в формирование представлений о креативности сближает представителей когнитивно-методологических и социально-исторических подходов, добавляя такую необходимую роль субъективности самого актора-ученого в пьесе рассуждения «равнодушного к личности» историко-эпистемологического подхода, при этом не теряя осязаемой основы для рассуждений – опору на научный результат: «Некоторые современные психологи используют термин “статистически неожиданный” для определения креативности, и многие предполагают (обсуждая свои эксперименты), что чем более необычны идеи, тем они более креативны» [Boden, 2004, p. 41].

Неожиданное – удивительная характеристика для научного исследования. Неожиданное не может появиться само по себе, оно не описывается какими-то «объективными» критериями (такими как вероятность и статистика, хотя может и коррелировать с ними) и не может быть «объективировано» – интерпретировано отдельно от субъекта или группы субъектов: неожиданное – всегда для кого-либо. Так кто же может быть субъектом, оценивающим неожиданность научного результата?

«Неожиданное» и научное сообщество

Как мы уже писали выше, разные типы креативности в науке и ее составляющие оцениваются многими акторами. Одни ее аспекты доступны для оценки только в исторической перспективе: «долгосрочная» ценность научного исследования и его польза для развития науки оценивается историками и философам науки. Новизна научного результата и его научная ценность «в моменте» подлежит оценке научным сообществом. Психологическая креативность оценивается самим субъектом креативности.

Несмотря на то что субъект или индивидуальность играет в креативности ключевую роль, мы не можем сказать, что для признания результата исследования неожиданным достаточно только голоса создающего индивидуума. Креативность, обращенная сама на себя, может быть ценной и важной для самой креативной личности, однако, когда мы говорим не об учебных или личных задачах, а о задачах науки и конструирования нового ценного знания, личной оценки автора оказывается недостаточно [Boden, 2004, p. 2].

Следующим претендентом на роль субъекта оценки креативности, конечно, будет научное сообщество. Если мы говорим о креа-



тивности в науке, признанным современниками оказывается обычно особый род креативного результата.

Если мы разобьем креативность на составляющие: новизна, ценность и неожиданность, то заметим, что первые два пункта входят в систему оценки научным сообществом (в рамках актуальности, новизны и практической применимости, которые принято отдельно описывать во многих видах научных работ и учитывать при экспертной оценке статей или, например, заявок на гранты).

Оригинальность и неожиданность, конечно, тоже нужна науке, но не любая, а весьма определенная: «вычислительная» (“computational”) или «исследовательская» (“exploratory”) [Boden, 2004, p. 5; Currie, 2018, p. 3–4], которую можно понимать как исследование некоторого пространства возможностей, ограниченного рамками методологии, определенных стилей и паттернов мышления, технологий и инструментов. Кроме того, креативное должно быть описано в рамках обычного для науки дискурса: «От статьи, конечно, требуется оригинальность, но при этом предельно стандартизированная оригинальность» [Антоновский, 2022, с. 248].

Кроме того, если мы посмотрим не на науку в общем, как социальную практику, существующую в исторической перспективе, а на особенности функционирования науки «на земле», в микромасштабе ежедневной рутинной работы исследователя, то заметим, что о неожиданности как о критерии оценки в «обыденной» «нормальной» науке речь обычно не идет: «неожиданность» как критерий не используется при оценке диссертаций, заявок на грант, научных статей. В непосредственной ежедневной работе ученых этого фактора просто нет – оценка происходит без учета фактора неожиданности. Более того, в этих случаях необычность может оказаться скорее минусом – она нарушает функционирование «нормальной науки» по Куну, привносит неожиданные результаты, которые потенциально могут противоречить парадигме [Кун, 1977].

Неприятие «неожиданного», «невероятного» и «необычного» научным сообществом фиксируется уже на уровне языка. Лексемы «необычный», «неожиданный», «невероятный» являются ярким отражением позиции субъекта в научных текстах. Они не слишком частотны, однако их употребление заслуживает отдельного внимания. С одной стороны, неожиданное, выбивающееся из нормы явление находится в пресуппозиции любого исследования (что, возможно, противоречит теории научных парадигм Томаса Куна, но совершенно не противоречит человеческому любопытству). Иными словами, обнаружение какого-либо «эффекта», необычного или даже невероятно явления лежит в самой основе научного исследования – и в результате научной работы происходит разрешение этого противоречия, его объяснение. С другой стороны, уже на языковом уровне, основываясь на лингвистическом анализе научных статей, мы наблюдаем



очевидную настороженность перед необычным, попытки эту необычность «сгладить» или вообще скрыть.

Сущностная «неожиданность» никогда не подается как простой утвердительный индикатив: явления, названные невероятными или необычными, в таких контекстах рассматриваются как нечто кажущееся, недостоверное и подлежащее сомнению. Результаты исследования или прогнозы только «кажутся» невероятными или необычными (как, например, в этом контексте: *«Такое поведение кажется невероятным, однако оказывается возможным благодаря отрицательному “трению” для отрицательных ϕ »* [Арефьева и др., 2006]), «могут» обладать необычными свойствами (*«Благодаря высокой дисперсности наполнителя такие системы могут обладать **необычными** свойствами, которые не удастся получить для “традиционных” композитов»* [Герасин и др., 2007]), необычный и невероятный заключаются в кавычки, с помощью которых говорящий снимает с себя ответственность за использование данного слова: «Причины “неожиданных” результатов могут быть многообразны, но наиболее многочисленную их категорию в измерительных задачах космологии составляют нарушения условий применимости статистических методов, известных в регрессионном анализе и теории математических моделей объектов измерений» [Левин, 2014].

По-видимому, неожиданность все же нельзя назвать значимым критерием для оценки научного результата научным сообществом. Но тогда кто может оценить научный результат по этому критерию?

Мы предполагаем, что именно через критерий «неожиданности» в оценке креативности происходит выход из внутринаучной коммуникации во внешнюю. «Какой удивительный результат!» – так скажет, скорее всего, не коллега-ученый, а некий внешний наблюдатель науки, способный, однако, понять научное исследование. Таких людей не так много: это научные коммуникаторы – научные журналисты или научные пиарщики, авторы научно-популярных книг и блогеры, кураторы научных музеев и авторы научно-популярных фильмов – люди, деятельность которых напрямую связана отбором, объяснением и продвижением различных научных тем среди различных аудиторий.

Научные коммуникаторы и их роль во взаимоотношениях науки и общества

Знание, которое содержит современная наука в том виде, в котором она существует и функционирует сейчас, предназначено лишь для небольшого числа «избранных»: ученых, причем ученых если не той же научной школы, то точно той же специальности. Научные знания



сами по себе – без дополнительных усилий самих ученых и научных коммуникаторов – для общества выглядят как «китайская грамота»: без специальной академической подготовки они недоступны для понимания даже в первом приближении. Кроме того, полные тексты новейших научных работ недоступны широкому кругу читателей без специальных подписок на научные базы: если не считать доступа через Sci-Hub, который редко известен человеку, не работающему в науке. К тому же чаще всего значимые научные статьи (в естественных науках в первую очередь) написаны на английском языке: языковой барьер, тем более в случае довольно сложных терминологизированных текстов, может представлять существенную трудность для неподготовленного читателя. Количество научных знаний неуклонно растет, и речи о том, чтобы досконально разобраться даже в какой-то одной научной сфере, давно уже быть не может не только для «обычного человека», но во многих сферах и для профессионального ученого: «В современной науке и технике изменения происходят с невероятной быстротой и провоцируют соответствующие сдвиги в других областях общественной жизни» [Касавин, 2020].

Такая наука оказывается непреодолимо трудна для восприятия и интерпретации научного знания – и заинтересованной публике нужен помощник, который сможет объяснить суть научного исследования и интерпретировать его результаты для людей с различной научной подготовкой – тот, кто отправится в путешествие и вернется с добычей – знаниями, которые может воспринять публика. И несмотря на тенденцию к устранению посредника, имеющую место в теории научных коммуникаций, фактически на практике без дополнительного усилия научного коммуникатора (а то и нескольких) результаты исследования, изложенные в обычной научной статье, не будут понятны широкой публике. В этом обычно и видят роль научного коммуникатора – научные коммуникаторы рассматриваются просто как «переводчики» научных материалов на язык широкой аудитории. Их роль сводится к корректному (без искажений) и упрощенному описанию научного исследования понятным для публики языком. Такое понимание их роли соответствует модели дефицита Массимиано Букки, в которой делается акцент на неспособности общества понимать достижения науки и на его плохой осведомленности, из которой следует необходимость в посреднике, своеобразном переводчике, необходимом для достижения понимания и повышения доверия к науке, роль которого и отводится научному коммуникатору [Bucchi, Trench, 2016, p. 154–155].

Несмотря на то, что Букки и его последователи предложили и другие подходы к взаимодействию науки и общества (модели диалога, вовлеченности и участия [Ibid., p. 155–158]), нельзя не отметить, что модель «дефицита» оказалась очень живуча с точки зрения



практики научной коммуникации, в том числе и постольку, поскольку именно в рамках таких теоретических представлений о научной коммуникации возможны действия, охватывающие большие массы людей. Более того, нередко исследователями высказываются сомнения в значимых масштабах и даже самой реальности перехода к моделям, следующим за дефицитной [Davies et al., 2008], а также о «возвращении» модели дефицита [Suldoovsky, 2016]. Модель дефицита и сейчас остается наиболее распространенной, по крайней мере в России. Такое представление о научной коммуникации фактически закреплено на официальном уровне – например, в указе Президента Российской Федерации о проведении десятилетия науки и технологий, одной из задач которого является «повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан Российской Федерации»¹. Об этом также свидетельствуют, например, описания круглых столов, посвященных научным коммуникациям на одном из центральных официальных событий для ученых РФ – Съезде молодых ученых, в которых делается акцент на низкой информированности общества о научных исследованиях и необходимости исправить эту ситуацию: «достижения отечественной науки являются “достоянием избранных”, информация о них недостаточно распространяется на широкую аудиторию, в связи с чем информированность граждан об успехах научного сектора ограничена»². Кроме того, информированность общества о работе и достижениях ученых остается основной для оценки взаимодействия науки и общества в опросах ВЦИОМ³. Исходя из этого и роль научного коммуникатора интерпретируется как посредническая, а его задачей видится повышение информирования и донесение научной информации для широкой публики. При этом научным коммуникатором может быть не обязательно внешний для института науки человек. Во-первых, многие профессиональные научные коммуникаторы имеют научные степени и научные заслуги. Во-вторых, сами ученые могут заниматься продвижением своих научных исследований или своих научных сфер. В этом случае они выполняют сразу две роли в диалоге с обществом, однако сама роль «связующего звена» в этом случае никуда не пропадает.

¹ Указ Президента Российской Федерации от 25.04.2022 г. № 231. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/47771> (дата обращения: 10.01.2024).

² Круглый стол «Наука продвигать: ученые – новые лидеры общественного мнения» состоялся 28 ноября 2023 г. URL: <https://roscongress.org/sessions/kmu-2023-nauka-prodvigat-uchenye-novye-lidery-obshchestvennogo-mneniya/about/>

³ «Отношение общества к ученым и российской академии наук: результаты всероссийского опроса». URL: <https://наука.пф/news/otnoshenie-obshchestva-k-uchenym-i-rossiyskoy-akademii-nauk-rezultaty-vserossiyskogo-oprosa/>



Однако такой роли, на наш взгляд, оказывается недостаточно для понимания роли научного коммуникатора для развития и функционирования самой науки. Роль научного коммуникатора не заключается исключительно в посредничестве, это всегда творческий акт определенного толка: он не просто находит креативный результат, но и «переизобретает» этот научный результат как креативный. Научный коммуникатор, используя «миграционную метафору», может быть назван путешественником между двумя мирами, и то, что он делает, несомненно, напоминает поход за сокровищами: «Творчество вообще есть не однократный индивидуальный акт, а цепь мыслей и поступков, которые осознаются некоторым сообществом в качестве целостного культурного архетипа. Только тот, кто, ухитрившись побывать в ином мире, вернулся в мир обычной реальности с карманами, набитыми сокровищами, и сделал их достоянием людей, только тот осуществил творческий процесс во всем его объеме. Сталкер из романа А. и Б. Стругацких “Пикник на обочине” – образ такого творческого субъекта, путешественника между двумя мирами» [Касавин, 1998, с. 385].

Охотники за креативностью

Что же именно делают научные коммуникаторы и как их деятельность влияет на различные аспекты взаимодействия науки и общества? Вернемся к трем компонентам креативности в науке. Научные коммуникаторы обычно не оценивают достоверность и новизну непосредственно – считается, что это так или иначе сделало за них научное сообщество, представители которого (редакция журнала и рецензенты), приняв к публикации статью, признали результаты истинными и достойными внимания. Критерий ценности оказывается одним из значимых для научных журналистов и специалистов по PR: однако чаще всего речь тут идет не о ценности для развития науки (например, бесспорно ценные для науки математические или гуманитарные статьи редко становятся темой научных новостей), а ценные в прикладном, почти бытовом аспекте, такие как разработка новых лекарств и технологий, улучшающие (по крайней мере потенциально и в перспективе) качество и безопасность жизни: то есть отвечающие на тот запрос, который общество направляет науке. Этот ценностный перекося в коммуникации подтверждается «медицинизацией» новостей – наиболее популярной оказывается сфера, с которой мы регулярно сталкиваемся в обыденной жизни и польза которой нам понятна: «Это позволяет предположить, что научные журналисты проводят концептуальное различие между новостями и полезными новостями, и последние



концентрируются в основном вокруг медицины и здоровья» [Пособие, 2018, с. 89].

Третий компонент креативности – неожиданность – для пиарщиков и научных журналистов является ресурсом для создания популярного и рейтингового контента самых разных форматов и рассчитанных на самые разные уровни подготовки читателей: в первую очередь, речь идет о научных новостях, лонгридах, лекциях и выступлениях на Youtube и многих других форматах. Они набирают просмотры, «клики», комментарии и выходят в разных СМИ – и это те самые критерии, по которым оценивается работа научного коммуникатора. Людям, не связанным с наукой, интересно читать про удивительные, неожиданные и необычные открытия и исследования, выбивающиеся за рамки обыденного: недаром так популярен формат «научных сенсаций». Естественно поэтому, что критерием попадания в такой формат становится неожиданность исследования. И, конечно, такая оценка лежит за пределами научных практик. При этом именно эти исследования войдут в фонд знания публики, начинающих (или будущих) ученых и сформируют образ науки, принятый в обществе в тот или иной период.

Этот отбор может оказывать влияние и на научную политику, способствуя увеличению финансирования определенных типов исследований, и на научные показатели авторов креативных исследований (существует корреляция между представленностью исследования в СМИ и социальных сетях и цитируемостью в науке [Anderson et al., 2020]), и на развитие науки в целом, опосредованно через изменения в приоритетах финансирования и привлечение более талантливых исследователей в более популярные научные сферы.

Выводы. Креативность в науке как социальный феномен

Креативность научного исследования оказывается результатом комплексного анализа научного исследования различными акторами: ценность и новизну оценивают представители научного сообщества, а критерий неожиданности оценивается научными коммуникаторами – специалистами по PR и научными журналистами, авторами научно-популярных книг и блогерами, кураторами научных музеев и авторами научно-популярных фильмов – теми людьми, которые занимаются отбором, объяснением и продвижением различных научных тем среди различных аудиторий. Нормативно-ценностное измерение науки конституируется именно в результате деятельности научных коммуникаторов, отбирающих научный контент с учетом фактора неожиданности и формулирующих научные новости о новейших



исследованиях, поскольку они, с одной стороны, ориентируются на интересы и потребности публики, а с другой стороны, целенаправленно их формируют. Поэтому нельзя сводить роль научных коммуникаторов к чисто технической и внешней по отношению к науке – они включены в процессы, напрямую влияющие как на развитие науки, так и на ее восприятие обществом. Они же формируют и формулируют саму идею научного прогресса и способствуют реализации миссии ученого в сфере обеспечения общественного блага. Представления о науке как «фрагменте культурной динамики» проявляются не только в тот момент, когда у человека в руках оказывается новый смартфон, но и в тот момент, когда научные коммуникаторы организуют прямой разговор между обществом и наукой, чтобы последняя могла предъявить не только свои достижения, но и свои ценности, свою креативность и небанальность, свое стремление к истине и гуманизм.

Получается, что разговор о креативности в науке может выйти на новый уровень – уровень, затрагивающий не только и не столько вопрос о внутреннем контуре науки и ее развитии, о процессе производства знания и научного результата. Напротив, это будет разговор, расширяющий представление о креативности в науке как важной составной части ее (науки) функционирования как социальной сферы. Она включает, помимо ученого, эксперимента и лаборатории, область взаимодействия науки с социумом и инфраструктуру, выстроенную вокруг науки, а главное, образ науки в глазах широкой общественности и ценности, которыми наука может поделиться с обществом.

Список литературы

Антоновский, 2022 – Антоновский А.Ю. О дегуманизирующей миссии науки // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 66. С. 244–251. DOI: 10.17223/1998863X/66/22.

Арефьева и др., 2006 – Арефьева И.Я., Вернов С.Ю., Кошелев А.С. Точное решение в струнной космологической модели // Теоретическая и математическая физика. 2006. Т. 148. № 1. С. 23–41.

Герасин и др., 2007 – Герасин В.А., Зубова Т.А., Бахов Ф.Н., Баранников А.А., Мерекалова Н.Д., Королев Ю.М., Антипов Е.М. Структура нанокompозитов полимер / NA^+ – монтмориллонит, полученный смешением в расплаве // Российские нанотехнологии. 2007. Т. 2. № 1–2. С. 90–105.

Касавин, 1998 – Касавин И.Т. Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической теории познания. СПб.: РХГИ, 1998. 408 с.

Касавин, 2010 – Касавин И.Т. Познание и творчество // Эпистемология и философия науки. 2010. Т. 24. № 2. С. 5–16.

Касавин, 2012 – Касавин И.Т. Коммуникация и творчество // Философия науки и техники. 2012. № 1. С. 7–23.



Касавин, 2022 – Касавин И.Т. Научное творчество как социальный феномен // Эпистемология и философия науки. 2022. Т. 59. № 3. С. 19–29. DOI: 10.5840/eps202259336.

Касавин, Сахарова, 2023 – Касавин И.Т., Сахарова А.В. Креативность – не сущность, а существование! // Эпистемология и философия науки. 2023. Т. 60. № 1. С. 50–59.

Кун, 1977 – Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1977. 300 с.

Левин, 2014 – Левин С.Ф. Шкала космологических расстояний. Ч. I. «Неожиданные» результаты // Измерительная техника. 2014. № 2. С. 9–14.

Пособие, 2018 – Пособие по общественным связям в науке и технологиях / Под ред. М. Букки и Б. Тренча. М.: Альпина нон-фикшн, 2018. 592 с.

Соколова, 2023 – Соколова О.И. О возможностях креативности: когда не-наука помогает ответить на научные вопросы // Эпистемология и философия науки. 2023. Т. 60. № 1. С. 60–67.

Шибаршина, Дорожкин, 2023 – Шибаршина С.В., Дорожкин А.М. Эпистемологическая рандомизация, или о креативности в науке // Эпистемология и философия науки. 2023. Т. 60. № 1. С. 21–33. DOI: 10.5840/eps20236012.

References

Anderson et al., 2020 – Anderson, P.S., Odom, A.R., Gray, H.M., Jones, J.B., Christensen, W.F., Hollingshead, T., et al. “A Case Study Exploring Associations Between Popular Media Attention of Scientific Research and Scientific Citations”, *PLoS ONE*, 2020, vol. 15 (7): e0234912. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234912>

Antonovskiy, A.Yu. “O degumaniziruyushchei missii nauki” [On the Dehumanizing Mission of Science], *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya* [Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science], 2022, no. 66, pp. 244–251. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/66/22.

Arefieva, I.Ya., Vernov, S.Yu., Koshelev, A.S. “Tochnoe reshenie v strunnoi kosmologicheskoi modeli” [Exact Solution in a String Cosmological Model], *Theoretical and Mathematical Physics*, 2006, vol. 148, no. 1, pp. 23–41. (In Russian)

Boden, 2004 – Boden, M. *The Creative Mind: Myths and Mechanisms*, 2nd ed. London: Routledge, 2004.

Bucchi, Trench, 2016 – Bucchi, M., Trench, B. “Science Communication and Science in Society: A Conceptual Review in Ten Keywords”, *Tecnoscienza*, 2016, no. 7, pp. 151–168.

Currie, 2019 – Currie, A. “Creativity, Conservativeness & the Social Epistemology of Science”, *Studies in History and Philosophy of Science. Part A*, 2019, vol. 76, pp. 1–4.

Davies et al., 2008 – Davies, S., McCallie, E., Simonsson, E., Lehr, E., and Duensing, S. “Discussing Dialogue: Perspectives On The Value Of Science Dialogue Events That Do Not Inform Policy”, *Public Understanding of Science*, 2008, no. 18 (3), pp. 338–353.



Dorozhkin, A.M., Shibarshina, S.V. “Epistemologicheskaya randomizatsiya, ili o kreativnosti v nauke” [Creativity as a Problem Solving Procedure], *Epistemology & Philosophy of Science*, vol. 60, no. 1, pp. 21–33.

Gerasin, V.A. et al., “Struktura nanokompozitov polimer / NA+ – montmorillonit, poluchennykh smesheniem v rasplave” [The Structure of Polymer / Na+– Montmorillonite Nanocomposites Prepared Via Melt-Blending], *Nanotechnologies in Russia*, 2007, vol. 2, no. 1–2, pp. 90–105. (In Russian)

Kasavin, I.T. “Kommunikatsiya i tvorchestvo” [Communication and Creativity], *Philosophy of Science and Technology*, 2012, no. 1, pp. 7–23. (In Russian)

Kasavin, I.T. “Nauchnoe tvorchestvo kak sotsial’nyi fenomen” [Creativity in Science as a Social Phenomenon], *Epistemology & Philosophy of Science*, 2022, vol. 59, no. 3, pp. 19–29. (In Russian)

Kasavin, I.T. “Poznanie i tvorchestvo” [Cognition and Creativity], *Epistemology & Philosophy of Science*, 2010, vol. 24, no. 2, pp. 5–16. (In Russian)

Kasavin, I.T. *Migratsiya. Kreativnost’. Tekst. Problemy neklassicheskoi teorii poznaniya* [Migration. Creativity. Text. Problems of Non-Classical Theory of Knowledge]. Saint Petersburg: RKhGI, 1998. (In Russian)

Kasavin, I.T., Sakharova, A.V. “Kreativnost’ – ne sushchnost’, a sushchestvovanie!” [Creativity is not Essence, but Existence!], *Epistemology & Philosophy of Science*, 2023, vol. 60, no. 1, pp. 50–59. (In Russian)

Kieran, 2018 – Kieran, M.L. “Creativity as an Epistemic Virtue”, in: H. Battaly (ed.) *The Routledge Handbook of Virtue Epistemology*. Abingdon: Routledge, 2018.

Kuhn, T. *Struktura nauchnykh revolyutsii* [The Structure of Scientific Revolutions], trans. by I.Z. Naletova. Moscow: Progress, 1977. (Trans. into Russian)

Levin, S.F. “Shkala kosmologicheskikh rasstoyanii. Ch. I. ‘Neozhidannye’ rezul’taty” [The Cosmological Distances Scale. Part 17: Coincidence of Coincidences], *Izmeritel’naya Tekhnika*, 2014, no. 2, pp. 9–14. (In Russian)

Bucchi, M., Trench, B. (eds.) *Posobie po obshchestvennym svyaziyam v nauke i tekhnologiyakh* [Routledge Handbook of Public Communication of Science and Technology]. Moscow: Alpina Non-Fiction, 2018. (Trans. into Russian)

Sokolova, O.I. “O vozmozhnostyakh kreativnosti: kogda ne-nauka pomogaet otvetit’ na nauchnye voprosy” [Creativity Opportunities: When Non-Science Helps to answer Scientific Questions], *Epistemology & Philosophy of Science*, 2023, vol. 60, no. 1, pp. 60–67.

Suldovsky, 2016 – Suldovsky, B. “In Science Communication, Why Does the Idea of the Public Deficit Always Return? Exploring Key Influences”, *Public Understanding of Science*, 2016, no. 25 (4), pp. 415–426. <https://doi.org/10.1177/0963662516629750>

Wallas, 2018 – Wallas, G. *The Art of Thought*. Solis Press, 2018.

SOCIAL SCIENCE AS A PROJECT: EPISTEMOLOGICAL CONSEQUENCE OF CHANGING CONTEXTS FOR SOCIAL SCIENCE RESEARCH

Alexander Ruser –
PhD in Sociology, Professor
at the Department
of Sociology & Social Work.
Director.
Centre for Digital
Transformation (CeDiT).
University of Agder.
Universitetsveien 25, 4630
Kristiansand, Norway;
e-mail: Alexander.ruser@uia.no



It is increasingly common to conceive of scientific research as something that can be planned, managed, and assessed by applying modern techniques of project management. Expecting research to follow certain standardized procedures to achieve clearly defined goals has a long tradition, in particular, in the natural sciences and has arguably contributed to the acceptance of science as an authoritative force that makes tangible contributions to social progress. For the social sciences, however such a narrow understanding of scientific research causes serious problems. Social science research doesn't always fit in the logic of project management. Moreover, attempts to adjust research practices to correspond with external, managerial experiences are far more consequential and damaging to the social sciences. This article interrogates the prospects and consequences of project thinking in the social sciences and discusses the likely epistemological consequences. To do so, it will recapitulate the historical and social developments that lead to the adoption of managerial principles in social science research and contrasts them with the philosophical principles that underpinned the scientification of thinking about the social.

Keywords: Social Epistemology, Academic Capitalism, Scientific Progress, Value Free Science, Scientific Ethos

СОЦИАЛЬНАЯ НАУКА КАК ПРОЕКТ: ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОНТЕКСТОВ СОЦИАЛЬНО-НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Александр Рузер – доктор
социологии, профессор
кафедры социологии
и социальной работы.
Директор Центра цифровых
трансформаций (CeDiT).
Университет Агдера.
Universitetsveien 25, 4630
Kristiansand, Норвегия;
e-mail: Alexander.ruser@uia.no

Все более распространенным становится представление о научных исследованиях как о чем-то, что можно планировать и оценивать, чем можно управлять при помощи современных методов управления проектами. Ожидание, что исследования будут следовать определенным стандартизированным процедурам для достижения конкретных целей, имеет давнюю традицию, в частности, в естественных науках. Возможно, оно способствовало признанию науки как авторитетной силы, вносящей ощутимый вклад в социальный прогресс. Однако для социальных наук такое узкое понимание научных исследований вызывает серьезные проблемы. Исследования в области социальных наук не всегда вписываются в логику



управления проектами. Более того, попытки привести исследовательскую практику в соответствие с внешним управленческим опытом имеют гораздо более серьезные последствия и вредят социальным наукам. В этой статье исследуются перспективы и последствия проектного мышления в социальных науках и обсуждаются вероятные эпистемологические последствия. Для этого будут охарактеризованы исторические и социальные события, которые привели к принятию управленческих принципов в исследованиях в области социальных наук. Они будут противопоставлены философским принципам, лежащим в основе научности мышления о социальном.

Ключевые слова: социальная эпистемология, академический капитализм, научный прогресс, свободная от ценностей наука, научный этос

Introduction

“Theme: theory of society; duration: 30 years; costs: none”

When German Sociologist Niklas Luhmann gave this famous answer [Lee, 2000, p. 320] to the question about his research “project”, the German and European academic systems looked distinctively different from today. Despite sounding “odd” today, Luhmann’s answer exemplifies the widespread contempt held by many social scientists for attempts to “manage” science and to try to turn research activities into something that can be measured, quantified, standardized or in other words: thought of as a project.

The social scientists of the 1960’s and 70’s set themselves apart from their colleagues in the natural and applied sciences who had for quite some time adopted a more managerial approach to their daily work. Conceived of as an intellectual rather than a scientific undertaking research in the social science and humanities was less like to be assessed in terms of “applicability”, nor were social scientists to produce tangible “outcomes” in the form of patents or products. However, in the past decades, shrinking budgets and the rise of principles of “New Public Management” have put the question of how social science research can be made to fit in a wider understanding of research as project management on the agenda. Changes to the social and in institutional environment in which research is conducted increasingly favor “project-like” inquiries: research activities should lead to predictable “outcomes” such as publications and grant proposals, and investment in research should correspond with specific benefits such as gains in individual and institutional prestige, citations or third party funding.

The adoption of managerial principles and the focus on “output” are impacting how research is evaluated and valued increasingly shifting the emphasize to tangible, applicable and measurable research that adheres to external criteria and is open to steering and assessment. The social



sciences and humanities are thus “catching up” with developments that have transformed the natural science for two centuries: Since the late 18th century and since 20th century natural science development was heavily influenced by state-sponsored and politically driven “Megaprojects” [Kasavin, 2017, 8ff] and guided by the idea of “big science” as a strategic, national resource [McLauchlan and Hooks, 1995]. Likewise, technological advancements, discoveries and applicable products were increasingly accepted as suitable standards for measuring the success and usefulness of scholarly inquiry. The social sciences in contrast had long withstood this trend. Despite the dreams of positivists such as August Comte, who envisioned a “social physics” (1844), the social sciences, hadn’t “gone big” nor could scholarly debate be reduced to concrete “outcomes” of research endeavors.

In recent years, however, the context of social science research has changed rather dramatically. Scholars in the fields of sociology, economics, anthropology, or political science eagerly outline their highly specific research objectives, provide detailed timelines of their (intended) research, define “milestones”, and assign budgets, in sum proudly describing their respective projects. Rather than aspiring to understand societies and dedicating whole careers to that one cause, modern social scientists are more concerned with adding to already impressive publication lists and demonstrating their skills as managers of international research projects.

This contribution will touch briefly upon the developments that brought about this change in context, (self) image and objective of social science research. It doesn’t aim to contribute to the already existing and highly informative literature on the political and social circumstances that caused that shift – most notably the instructive work on the impact of neo-liberal ideas on the academic sector [Mirowski, 2011; Jessop, 2018] and the rise of managerialism in science [Ginsberg, 2011; Fleming, 2021] – but rather to focus on the epistemological and teleological consequences of the shift towards project-style social science research.

We will first revisit the understanding of the character and purpose of social science. Then we turn to the question of what exactly denotes a “project” and contrasts a working definition with the understanding of the prerequisites and practicalities of social science research. The subsequent third section will focus on the epistemological and teleological tensions and problems stemming from the contradiction between an internal “scientific ethos” and external expectations on social science. The contribution will then argue that the “projectification” of the social sciences shouldn’t be conceived as an indicator for a revival and expansion of big science or a social science variant of “megaproject”-science. We rather experience the emergence of many “little sciences” [DeSolla Price, 1963], which can alter the epistemological basis and damage the critical abilities of social science research.



Coloring the ways of thought – Social Sciences between Explaining and Understanding

For the British Mathematician and Philosopher Alfred North Whitehead, science was surely not a project. Nor did he believe that the rise of scientific thinking in early modern Europe could be reduced to a series of spectacular discoveries and technological breakthroughs. In his seminal book *Science and the Modern World* Whitehead explains the triumph of science and its contribution to “modernizing” Europe with the emergence and spread of a “new mentality”, a “new coloring of the ways of thought” [1925, p. 2]. Science was possible because people developed new (or rediscovered old) perspectives on and explanations for the world they live in. Moreover, these new “ways of thought” were built on a belief in the “existence of an Order of Things” [Ibid.] that was accessible and intelligible. Whitehead was interested in the developments in natural philosophy and modern scientific thought that paved the way for the evolution and was mainly concerned with explaining the evolution of the natural sciences as dominant ways of reasoning and authoritative forces in social life. Even though he was less concerned with the social sciences, the scientific “way of thought” affected the thinking about social phenomena too. In particular the idea that social worlds are ordered and thus intelligible had a major impact on early social scientific thought.

The in principle intelligibility doesn’t imply an immediate connection between the natural order and an observer though. nor can we assume that valid operations for establishing true knowledge exist. As Michael Polanyi has pointed out the order of things is never present in its entirety but only as a “problem (...) presenting itself to the mind” [Polanyi, 1964, p. 23]. A specific problem (that is an open question that gained for some reason, or another gained subjective importance) then provokes a “collection of clues” [Ibid.] and “culminates in the guess of a definite solution” [Ibid., p. 24]. This depiction corresponds closely with Whitehead’s description of the methodological approach in the (natural) sciences:

The true method of discovery is like the flight of an aeroplane. It starts from the ground of particular observation; it makes a flight in the thin air of imaginative generalization; and it again lands for renewed observation rendered acute by rational interpretation [Whitehead, 1929, p. 5].

Research is presented as a sequence of “passages” from observations to explanation, with every arrival setting the scene for another departure. As we will see in the following, this depiction of research, albeit a simplified and incomplete representation of Whitehead’s and Polanyi’s thinking,



indicates why it is so tempting to conceive of scientific research as a series of projects.

The following section will outline the dominant understanding of what projects *are* and explains how this definition relates to the praxis of scientific research. Moreover, it will be shown that the particularities of many problems that “present themselves” to the natural scientists invite project thinking since their solution is not only of academic but of very practical interest.

Once the connection between (applied) natural science research and project thinking is established, we can ask whether a similar relationship exists with the social sciences. Furthermore, we can turn to the epistemological and teleological consequences of doing projects in the social sciences.

These questions are particularly important, since the social sciences were influenced and shaped by fundamental disagreements about teleological, epistemological and methodological questions.

For August Comte, for instance, the social sciences should follow the path of the natural science disciplines. Moreover, for him the ultimate vanishing point of any inquiry into the social was the development of a “social physics” which he understood as the “science which occupies itself with social phenomena, considered in the same light as astronomical, physical, chemical, and physiological phenomena, that is to say as being subject to natural and invariable laws of discovery of which is the special object of its researches establishment” [Comte cited after Igers 1959, p. 434]. Comte’s vision of a social physics might not have been fulfilled (and might well be out of reach entirely). Nevertheless, positive philosophy and the aspiration to find valid *explanations* for social phenomena has preserved and, in some disciplines, (like as economics) prevailed.

However, ever since the inception of the social science, the epistemic aim to explain social phenomena has been contested. Max Weber, a founding figure of German Sociology for instance rejected the idea that the social science could develop along the same lines as the natural sciences. For him any “objective analysis of cultural events which proceeds according to the thesis that the ideal of science is the reduction of empirical reality to “laws” is meaningless. [It is meaningless] because the knowledge of social laws is not knowledge of social reality but is rather one of the various aids used by our minds for attending this end” [Weber 1904/1949, p. 72]. Weber points to a fundamental difference between the social and natural sciences, stemming from the distinct objects of study: “Where natural phenomena can only be explained in terms of the systematic regularities they exhibit, social phenomena can be understood in a special way, since social scientists can, at least in principle, communicate with the people whom they study (...)” [Moon, 1977, p. 183]. The distinction between natural and social sciences can be further



illustrated by contrasting “idealistic” and “positivistic” positions. Positivists insist that “adequate accounts of all empirical phenomena must take the form of explanations in the natural sciences, to wit, subsumption under general laws or regularities” [Moon, 1977, p. 184]. In consequence, all research follows more or less the same “template” that is the formulation of research questions for which adequate research designs have to be developed, which then can be confronted with suitable data. As we will see below, this formalistic understanding of the research process, albeit disputable, renders research compatible with project thinking and project management techniques. However, idealistic positions, hold that “the natural and the social sciences are entirely distinct” [Ibid.] and that the social sciences can never arrive at “explanations of social phenomena in the sense that we have explanations of natural phenomena” [Ibid.]. From this perspective, social science research should be conceived of as a reflexive process that (sometimes) involves dialogue with the object of study and aims at “grasping the meaning of human action” [Ibid.]. This means, that it is questionable whether research of this kind *can* be made to “fit” the description of projects and thus contemporary understandings of manageable research. However, even more important is the question, whether social science research *should* take the form of (consecutive) projects. The first aspect mainly concerns the organization of scientific research and thus touches upon debates about the autonomy of science and the ability of scientific community to plan, assess and advance their research independently of external expectations. The second aspect speaks directly to the aims and means of scientific research and thus the self-images and identities of social scientists.

This contribution is interested in the latter aspect. To assess if and how project thinking affects the core of the social sciences it is important to ask first what projects are.

What is a Project?

The methodical approach of scientific research, that starts from a specific problem, follows a predefined course and (ideally) arrives at a justifiable explanation predetermine it to being describe as a research “project”. The etymological origin of the term is the Medieval Latin *proiectum* translates as “something thrown forward”. Accordingly, the Merriam-Webster Dictionary defines a “project” as “planned undertaking such as a definitely formulated piece of research” (Merriam Webster Online). Project management literature describes a project as “a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service or result” [Schwalbe, 2015, p. 4] and define specific attributes of projects: Projects have a unique purpose (thus differentiating between “project” and “normal” work), are temporary (this



means a clear “endpoint” can be defined), require specific resources and normally have “primary customers or sponsor” [Schwalbe, 2015, p. 5]. Overall projects can be understood as a confined context, in which specific goals should be achieved. Goal attainment in turn is supported by “tailored” processes (the “project design”) and the deployment of defined resources (for instance work hours, machinery, or money).

It is easy to understand that this depiction of projects bears some semblance with natural science research. The problems that present themselves to the curious eye of natural scientists demand a solution, or in other words, provide the researcher with a specific purpose. Not all questions can be answered in a project-like manner though. It is very difficult to lay out a temporal research design for answering specific, yet comprehensive questions, such as the search for a unified theory in physics. Moreover, such generational tasks often require a vast number of resources without being able to deliver for specific customers or sponsors. Yet, despite the fact that not all natural science research can be project-like, it is evident that many research endeavors in the natural sciences can be conceived of and in fact have been organized and administered as projects.

Especially applied research has been instrumental for and instrumentalized by actors outside the field of science. As a driving force behind technological progress, it is not surprising that political and economic actors have tried to utilize scientific research from the natural sciences. This utilization in turn, imposed specific managerial logics and understandings of political and economic “projects” on research activities that were increasingly dependent on external financing and tailored towards non-academic ends.

Furthermore, despite the affinity (*Wahlverwandtschaft*) between (applied) natural science research and project thinking, conceiving of research as a project is – to an extent – a breach of historical (self)conceptions of science. Lorraine Daston describes the taking shape of modern scientific practices as a gradual development. “Observation”, a cornerstone of any scientific inquiry, for instance, “had been understood as a collective, as the slow accumulation of anonymous observations over generations, centuries even millennia” [Daston, 2010, p. 87]. Whiteheads new “coloring of the ways of thought” thus emerged gradually, produced by the dialogue between peers who slowly developed standards of doing, presenting, and debating science [Ibid., p. 91ff]. These dialogues were distinctively not directed at creating “a unique product, service or result” [Schwalbe, 2015] but rather at establishing a new, intersubjectively intelligible “way of reasoning” [Daston, 2010, p. 104] that distinguish scientific knowledge from any form of knowing.



Science, Progress and Utility

It goes without saying that this new way of reasoning involved planning, the application of carefully crafted methods and aimed at producing specific results. Scientific research is thus not categorically incompatible (and in fact often heavily relying on) the application of standardized, manageable processes, for instance the systematic collection of “data”, the designing, conducting and repetition of experiments and the presentation of findings and interpretations in an agreeable, standardized manner [Daston, 2010, p. 99–100].

However, a closer look shows that the simple equation of research ventures and manageable projects stems from the inappropriate generalization of experiences, techniques and conventions in a narrow subfield of scientific inquiry: applied research. The nature of social sciences, the specific characteristics of their object of study and their intellectual traditions set them apart from applied research and thus limit the ways in which project thinking can be applied to them.

To understand the implications of these differences, it is important to take a closer look at the “symbiotic relationship” [McLauchlan and Hooks, 1995, p. 749] between science and the non-scientific actors and reconstruct how project thinking could become the dominant mode of “doing science”.

The notion of scientific projects that fit the above-mentioned description is often associated with the emergence of so-called “big science” and “big technology” in the mid- 20th century. However, as Ilya Kasavin has shown, science and technological development had been made a “state priority” already two centuries prior. In Pertine Russia science was systematically utilized to address strategic concerns of the state (for instance military capabilities or economic infrastructure) culminating in the planning and conduct of “megaprojects” that relied heavily on scientific-technological knowledge [Kasavin, 2017, p. 8–10]. Scientific knowledge thus became a mere “component” of political and economic undertakings. The ability to contribute to social projects shaped the relation between science, politics and economics and transformed the criteria for assessing the success of research activities. For instance, as Piero Del Negro has shown for 18th century Italy, researchers were expected to solving specific problems and to contribute to progress in key areas such as navigation or naval architecture [Del Negro, 2006, p. 177] that would support political ambition and economic needs of the time.

The orientation towards expectations and needs that originate outside of academic circles do not need to pose a fundamental problem for scientific research. Writing in the 1960s Harvey Brooks, for instance, argued that against a simple and simplifying distinction between “basic research”,



driven by scientific curiosity and “applied research” which is mainly motivated by the utility of its findings:

The fact that research is basic does not mean that the results lack utility, but only that utility is not the primary factor in the choice of direction for each successive step. The general field in which a scientist chooses or is assigned to work may be influenced by possible or probable applicability, even though the detailed choices of direction may be governed wholly by internal scientific criteria [Brooks, 1967, p. 1706].

At first glance Brooks assertion seems to reassure that external expectations and modes of doing research do not necessarily clash with scientific principles and practices.

Moreover, he is keenly aware of internal constraints imposed on individual researchers by their respective scientific community which limit their freedom to choose problems and the general direction of their work. This soft power of professional communities, the rules of the game and tacit assumption about respectable, promising and appropriate research thus contribute to a structuration and homogenization of research activities within fields and disciplines:

Although scientists like to emphasize that fundamental research is “free”, it is, actually, in another sense, a highly disciplined activity. The discipline is provided by the scientific “community” to which the research is related. His [sic!] choice of problem and direction is heavily conditioned by the social sanctions of this community, the requirements of originality, and scrupulous reference to related and contributing work of others [Ibid., p. 1707].

Brooks argues that in “applied research the individual is subject to somewhat different constraints, but not necessarily more severe” [Ibid.]. Moreover, he emphasized that external constraints are more visible than internal ones, which are not even “consciously view[ed] as constraints” [Ibid.]. However, Brooks depicts the problem in mere “technical terms”. It is certainly true that even the most basic and free research must adhere to *some* rules. In contrast to external expectations and logics, these internal rules, represent more much than practical guidance for the selection of problems and the conduct of research. In the famous formulation of Robert K. Merton, they constitute the “normative structure of science” [Merton [1942] 1973] itself, and thus uphold certain practices and a specific *scientific ethos*.

In contrast to Brooks, Merton was more skeptical about the impact of social “obligations and interests” [Ibid., p. 268] on the science and was thus concerned with four institutional imperatives which he considered prerequisites for maintain a scientific ethos.

For Merton institutionalized science must be organized around four principles: Universalism, communism, disinterestedness, and organized skepticism [Ibid., p. 270].



The principle of universalism, which refers to the norm that “truth-claims, whatever their source, are to be subjected to preestablished impersonal criteria” emphasizes the priority of scientific practices. Likewise, the norm of “organized skepticism” that demands that all knowledge claims should be publicly scrutinized highlights the particularity of the scientific method and in consequence institutionalized science. For the question at hand, both norms are unproblematic since they are not directly related to the *form* of scientific research. That doesn’t apply for the other two norms though.

For Merton, “communism” is an integral element of the scientific ethos. The norm refers to the “common ownership of goods” and rests on the assumption that “substantiative findings of science are a product of social collaboration and are assigned to the community” [Merton, [1942] 1973, p. 273]. Project-like research, when commissioned by external clients *could* violate this norm, especially when they include non-disclosure agreements, transfer of rights or other forms of exclusive use of the “products” of scientific research.

Even more problematic is the fourth and final norm: disinterestedness. Disinterestedness is not the same as altruism or an “*L’art pour l’art*” attitude of aloof intellectuals, nor should it be conflated with more positive, romantic notions of a virtuous “passion for knowledge” [Merton, [1942], 1973]. Disinterestedness should rather be understood as an expression of a “distinctive pattern of institutional control” that prevents scientists from putting personal motives and direct immediate advantages (although they may still play a role) ahead of the public character of science [Ibid.]. In other words, scientists should not work for their own “self-aggrandizement” [Ibid.] but for the sake of science as a collective and public undertaking. This norm is difficult to adhere to in any case, think for example of the often-fierce competition among scientists for positions, prestige and funding. It is even less likely to be followed when problems, approaches and aims of scientific research are derived from external demands and made to fit manageable project logics.

Merton’s description of the scientific ethos as a conglomerate of norms that ensure that institutionalized science can function within, but also distinct from society potentially put the scientific endeavor at odds with a project-logic that demands an orientation towards the exclusive needs of clients and tie the research interest solely to external factors. The constraints put on science by external expectation might not be more “severe” as Harvey Brooks put it, but they are qualitatively different and can clash with the normative structure underlying scientific research.

This is true for all scientific disciplines and constitutes a demarcation criterion that sets scientists apart from other professional groups. However, the scientific ethos is an “ideal”, that is hard to live up to, often contested and potentially impractical to uphold in light of specific expectations and demands researchers are confronted with. These external



expectations are even more difficult to navigate when the immediate value and the utility of research are not clear. For this reason, in the following paragraphs we will take a closer look at the social sciences. As relatively young disciplines and specialization, the social sciences have struggled to establish themselves as scientific ventures [Iggers, 1959; Stichweh, 1992]. Moreover, the orientation towards external expectations and the adoption of project (management) logics not only create possible conflicts for an already fragile scientific ethos of social science but poses additional epistemological obstacles that can threaten the aim and purpose of the social sciences.

Projects in Social Science – Social Science as a Project

The emergence and evolution of modern science was driven by the intertwined ambitions to improve our understanding of nature and to contribute to the “improvement” of the living conditions of people. This amalgam of intellectual curiosity and pragmatism led to transformative scientific discoveries and unprecedented technological and social progress. Despite its dark sides – the development of ever more powerful weapons, environmental degradation and pollution or the scientific underpinning of authoritarian, fascist ideology by theories of eugenics, to name just a few – the apparent success story of science that delivered tangible improvements for people helped creating and maintaining a specific authority of science first in Western countries and later around the Globe.

The social science, on the other hand, have struggled to make tangible contributions to societies ever since they came into being as “sciences” in the 19th century. This lack of concrete contributions is not an expression of their limited capacity but reflects a fundamental tension within the social sciences about their purpose, methods, and status in society. These tensions cut across disciplinary and thematic communities and have affected the internal structuring of disciplines and schools [Stichweh, 1992]: While some emphasize the “social” character of the social sciences and embrace an openly normative mission to contribute to the betterment of the human societies and to “take sides” in political disputes, others conceive of themselves more as neutral objective “scientists”. From this perspective, social scientists should refrain from engaging directly in social debate and focus on the production of value-free research, descriptive data and contextual knowledge that can “inform” publics and decision-makers in the same way that natural science research can be conceived of as a “resource” for social debate [Adorno et al., 1969; Black, 2013]. While these tensions are present in all social science disciplines, some are predominantly leaning towards the first



or the second interpretation. Some disciplines, for instance, psychology or economics are more oriented towards making tangible contributions to societies and conceive of themselves as quasi-natural sciences of human behavior [Giorgi, 2000; Mirowski, 2002]. Other disciplines, for instance anthropology or sociology lack such a clear orientation and are characterized (and thrive of) internal debate about fundamental questions about their purpose and principles.

Moreover, it can be argued that these debates (or the absence of them) are a symptom of an unresolved conflict that reflects the specific socio-historical conditions in which social sciences came into being. As “inventions” of 19th century Europe, the social sciences emerged in an intellectual climate that was characterized by two main fault lines. First, the belief that rationalization was a viable path to complete the enlightenment project. Scientific methods, the standardization of observation and experimentation and the application of these principles to ever more aspects of society were seen as key elements of social improvements and progress. However, at the same time, Europe was torn by growing political and ideological conflict. Especially the dark sides of the rationalization of life, growing inequality, the destruction of traditional, solidaric communities, the loss of power of traditional elites and the rise of a new economic ruling class, sparked fierce political disputes.

Against this background, early social scientists had to navigate between demands to contribute to a rational, objective understanding of society *and* calls for a clear positioning in increasingly bitter political disputes. It has been argued that the social sciences – and its philosophical predecessors from Plato and Aristotle to Voltaire and Marx – “have developed as an offshoot of reformist striving” to improve societies and to “take sides” in conflicts [Andreski, 1972, p. 144]. However, not only have social scientist always disagreed about whether and how societies could be improved [Ibid., 145], but concepts and ideologies, means and strategies to achieve such “improvements” have been primary objects of social science research. Moreover, social scientists have always been argued about how to balance these competing goals. Some theorists, most notably critical theorists of the Frankfurt school have made the second goal not only the core of their thinking but the reason d’être of social theory and social research: For Max Horkheimer, for instance, the ultimate goal of critical theory was to “liberate human beings from the circumstances that enslave them” [Horkheimer, 1982, p. 244].

This clearly stated normative goal of the social sciences convinced Horkheimer, that social scientists have to keep their distance from the powers to be. The normative alliance with neo-Marxist thinkers, the new exploited consumer classes and victims of a capitalist order, shouldn’t not be achieved by working directly for their organizations and institutions. Rather than answering “customers” or “sponsors” directly, social scientist may share a perspective, passion or conviction but stay clear of being



in service of social and political actors. Moreover, “liberating” human beings cannot be achieved by producing distinct results or “outcomes” but involves active contribution to political debate, to criticize dominant ideas and to expose the often hidden, tacitly accepted or even convenient aspects of social orders that “enslave them”. This means that social scientists have to criticize the actors and groups they sympathize with. Their research should challenge established views and advance debate and understanding. It should be conceived of not as a finished “product” but an ongoing contribution.

Finally, the rise of project-like research in social science and its acceptance by the research community is itself an expression of distinct social contexts. Herbert Marcuse, for instance, was convinced that the social science *must* develop critical capacities, since inequality and oppression can take place within political and economic structures that are agreeable, rational and even convenient. For him, critical, independent social science research is especially needed when and where “a comfortable, smooth, reasonable democratic unfreedom prevails in advanced industrial civilization” [1964/2001, p. 3]. From this perspective Merton’s scientific norms, in particular scientific communism and the norm of disinterestedness are of paramount importance. The sharing of concepts, methods and findings is not only an essential part of good scientific practice but a *condicio sine qua non* for disciplines which should keep their distance from the social circumstances (*Soziale Verhältnisse*) they seek to understand. Moreover, the acceptance of external logics of how research should be conducted, and the potential aligning of research and professional, political, or economic interests lead to the clouding of our vision on reasonable unfreedoms and other “social bads” [Musgrave, 1974].

For all but positivist social sciences the already considerable problem of adopting external “project logics” is even bigger than in the natural sciences, since it not only creates methodological and normative but also epistemological challenges. Projects are designed to answer specific questions, meet the expectations of “clients” and follow relatively tight schedules. None of these criteria for project-like research can be met easily in the social science.

For illustrative purposes, let’s focus on the first dimension: External “demand” for social science research often focuses on specific aspect of wider, often unanswerable problems. Social science projects that, aim at contributing to “better” educational policies face the problem, that concepts like “education” or “educational success” need to be discussed against the background of wider, often contested debates about the roots and dynamics of social inequalities, tensions between “individual achievements” and “structural constraints” and the role of socialization and social capital to name just a few. This means that projects must rely on specific definitions and intellectual traditions on what should *count* as education and what should *count* as success. Likewise, research design



inevitably has to operate on some assumption about inequality (for instance in order to identify “structural variables” that can affect educational policies) or individual agency in social contexts (to determine individual variables to measure incentives). Surely, social scientists can and do design “projects” like these. However, studies designed this way are normally scrutinized within the scientific community along two dimensions: First, the normative assumption of research design will be scrutinized and criticized if the chosen design is likely to confirm preferred normative positions rather than providing a comprehensive analysis. Second, the findings of such a project would then be contextualized and compared with other research in the field. In contrast to the natural sciences, this would not mainly be done to “take stock” of available knowledge or to estimate the studies contribution to advancing existing scientific knowledge though. The debates would focus on the value of the perspective, the specific angle taken by the researchers.

Applying an external project logic to social science research has serious implications for both dimensions. When external demand and expectations are driving social science research, it should surprise no one when these expectations are reflected in the normative approach and the design of the research project. Moreover, since in particular externally commissioned projects cannot be scrutinized in the same way that intrinsically motivated research can, social scientists run the risk in becoming complicit with and to reinforce specific normative assumptions by focusing on certain variables, using specific assumptions and “modeling” social context in a way that suits the needs and preferences of external clients.

Moreover, project-like social science research can contribute to reinforcing distinct social and political norms by lending legitimacy to specific normative positions. This latter problem stems from the unique relation of the social sciences to its objects of study. Unlike in the natural sciences, social sciences face the problem that their objects of study, people, can understand and *intentionally react* to the findings of social scientists. They are not only objects of research but subjects of debates about the knowledge claims made by researchers and as such can be talked to [Moon, 1977, p. 183] reflect upon and react to what is said about them [Ruser, 2015, p. 173–174] and thus *use the findings of research to alter the object of research*.

In the case of the social sciences, debates about the rising importance of externally commissioned, project-like research goes well beyond the changing contexts in which scientific research takes place [Jessop, 2018]. In the social sciences it is impossible to uphold a clear distinction and thus the separation of the study of the inner nature of science (philosophy of science) and its social functions (sociology of science) [Kasavin, 2019, p. 458]. Changing the social function of the social sciences, for instance, by tying its research focus to external needs thus directly affects its nature.



In the following final section of the paper, we will take a closer look at these potential changes by focusing on the epistemological consequences of adopting project-like research in the social sciences.

Epistemological Consequences of Project-like Research

Project thinking and more general the idea that the social sciences should, analogue to the natural science and technical disciplines, serve concrete social, political or economic interests have been criticized for their long term impact on how social science research is conducted and organized. Bob Jessop for instance warns of the “trend toward academic capitalism and profit-oriented entrepreneurial practices in the fields of education and research” [2018, 104] and attributes these developments to the increased financial, administrative and ideological pressure (Ibid.) David Lea goes even further and describes the “managerial university” as the new, dominant model for organizing research and education [Lea, 2011, p. 816–817]. He argues that the adoption of managerialism as guiding principle and normative vision for higher education had serious implications for research itself. Since management requires to surveillance and measurement of (research) activities, managerial universities emphasize quantifiable research “outputs” [Ibid., p. 830] and promote cost-benefit thinking that compares the resources “used” for acquiring knowledge with the actual knowledge output of research activities. In other word, the managerial university treats research – including social science research – as if these scholarly activities were “projects” analogous to managed tasks in corporations because this is the only way intellectual inquiries could be possibly managed. However, for Lea these developments do not only indicate a shift in *how* (social) science research is conducted, but for the epistemological basis of social science research.

Since managerial principles encourage and reward project like research, debate within the disciplines shifts towards, what Lea calls “materialistic” understandings of the subject matter [Ibid.]. In other words, since project managers and “eternal customers and sponsors” expect concrete, measure – and manageable “outputs” social scientist themselves are increasingly more likely to frame social problems, questions and phenomena in terms that allow to produce outputs and to derive quantifiable “deliverables” from managed and monitored research. The narrowing to “materialistic understanding” of the subject matter favors specific theoretical and methodological angles and thus leads to a shrinking of its epistemological foundation. The increased dependence of researchers on very specific social settings that expect meaningful research to take the form of manageable projects thus imposes a specific social epistemology



[Kasavin, 2015, p. 435] on the social sciences, one that has the potential to fundamentally re-shape its purpose and understanding of what should count as justifiable or justified knowledge.

Conclusion

Project based research in the social sciences is becoming a normal and accepted practice. However, serving “primary customers or sponsors” [Schwalbe, 2015] is much more than a symptom of a new “academic capitalism” [Jessop, 2018] and bears the risk of fundamentally changing the character of the social sciences. The adoption of managerial practices and conceiving of social science research as a series of manageable *projects* alters the every-day practices of doing research and threaten intellectual traditions require the social sciences to keep its distance from the normative structures it seeks to understand.

Conceiving of social science research as a sequence of projects, with manageable schedules, clear outcomes and oriented towards expectations and needs formulated outside the scientific community is more than a reaction to and reflection of developments towards academic capitalism. Likewise, project-like research shouldn’t be mistaken for engaged or socially oriented scholarship. It is even less likely that such outside orientation lead to the more objective and useful social science that August Comte once envisioned.

Ilya Kasavin has shown how the contribution to “megaprojects” has elevated the status of the natural sciences and turned it into a “political agent” [Kasavin, 2020]. The same could be said about the countless contribution by natural science research to commercial and public project that led to important discoveries. This symbiotic relationship between natural science and societies has been mutual beneficial and surely contributed to the authority of natural sciences. It is therefore not surprising that project-like research and an orientation towards external needs (and appreciation) are appealing in the social sciences, especially given the tensions and disputes that the social science disciplines had been entangled in ever since birth of the modern social sciences in the 19th century.

However, as we have seen, these tensions and disputes are vital to the social sciences as they try to balance scientific rigor with emancipatory and empowering ambitions.

This raises important questions for future research on the social epistemology and social philosophy of the social sciences. Moreover, since the adoption of managerial project-like research designs can elevate their social impact., it is important to be aware of changes and challenges to their scientific ethos. An indispensable prerequisite for the protection of the scientific ethos is the relative autonomy of the scientific community



to set the rules, agree on practices and evaluate the quality of research. This is even more important in the social than in the natural sciences.

Finally, and most importantly, as David Lea warns us, accepting external expectations and adjusting research practices to managerial demands is not simply shifting responsibility to new communities that could be tasked with overseeing intellectual and ethical standards of research.

“[B]y reducing and attenuating the authority of faculty in the transfer of power to a managerial administration we are rendering management virtually unaccountable”, writes Lea [2011, p. 835], thus reminding us that, instead of an uncritical adoption of project management principles scholarly debate needs to consider practical, ethical and, most importantly, epistemological consequences. Ilya Kasavin for long has defended and promoted the idea that we need a social philosophy of science [Kasavin, 2017; Kasavin, 2023] and emphasized that all science should be considered a “public good” [Kasavin, 2023] and express an “aristocratic ethos” [Kasavin, 2019, p. 17] rather than managerial professionalism. The current pressures to conceive of research as a series of clearly defined, outcome and output oriented, manageable projects highlight the urgency of a social philosophy of the social sciences.

References

Adorno et al., 1969 – Adorno, T., Albert H., Dahrendorf, R., Habermas, J., Pilot, H., Popper, K. *The Positivist Dispute in German Sociology*. London: Heinemann, 1969.

Andreski, 1972 – Andreski, S. *Social Sciences as Sorcery*. London: Andre Deutsch, 1972.

Black, 2013 – Black, D. “On the Almost Inconceivable Misunderstandings Concerning the Subject of Value-Free Social Science”, *British Journal of Sociology*, 2013, vol. 64 (4), pp. 763–780. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.12034>

Brooks, 1967 – Brooks, H. “Applied Science and Technological Progress”, *Science*, 1967, 156 (3783), pp. 1706–1712. DOI: 10.1126/science.156.3783.1706.

Daston, 2010 – Daston, L. “The Empire of Observation, 1600–1800”, in: L. Daston & E. Lunbeck (eds.) *Histories of Scientific Observation*. Chicago: University of Chicago Press, 2010, pp. 81–114. <https://doi.org/10.7208/9780226136790-005>

Del Negro, 2006 – Del Negro, P. “Venetian Policy Towards the University of Padua and Scientific Progress During the 18th Century” in: M. Feingold, V. Navarro-Brotons (eds.) *Universities and Science in the Early Modern Period*. Dordrecht: Springer, 2006, pp. 169–182.

DeSolla Price, 1963 – DeSolla Price, D. *Little Science, Big Science*. Columbia University Press, 1963.

Fleming, 2021 – Fleming, P. *Dark Academia. How Universities Die*. London: Pluto Press, 2021.



Ginsberg, 2011 – Ginsberg, B. *The Fall of the Faculty*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Giorgi, A. (2000). Psychology as a Human Science Revisited. *Journal of Humanistic Psychology*, 40 (3), pp. 56-73. <https://doi.org/10.1177/0022167800403005>

Horkheimer, 1982 – Horkheimer, M. *Critical Theory: Selected Essays*. New York: Continuum, 1982.

Iggers, 1959 – Iggers, G.G. “Further Remarks about Early Uses of the Term ‘Social Science’”, *Journal of the History of Ideas*, 1959, vol. 20 (3), pp. 433–436. <https://doi.org/10.2307/2708121>

Jessop, 2017 – Jessop, B. “On Academic Capitalism”, *Critical Policy Studies*, 2017, vol. 12 (1), pp. 104–109.

Kasavin, 2015 – Kasavin, I. “Philosophical Realism: The Challenge for Social Epistemologists”, *Social Epistemology*, 2015, vol. 29 (4), pp. 431–444. <https://doi.org/10.1080/02691728.2014.971913>

Kasavin, 2017 – Kasavin, I. “Towards a Social Philosophy of Science: Russian Prospects”, *Social Epistemology*, 2017, vol. 31, no. 1, pp. 1–15. DOI: 10.1080/02691728.2016.1227389.

Kasavin, 2019 – Kasavin, I. “Gift versus Trade: On the Culture of Science Communication”, *Philosophy of the Social Sciences*, 2019, vol. 49 (6), pp. 453–472.

Kasavin, 2020 – Kasavin, I. “Science as a Political Agent”, *Sotsiologicheskoe Issledovaniya*, 2020, no. 7, pp. 3–14.

Kasavin, 2023 – Kasavin, I. *A Social Philosophy of Science*. Baden-Baden: Nomos, 2023.

Lea, 2011 – Lea, D. “The Managerial University and the Decline of Modern Thought”, *Educational Philosophy and Theory*, 2011, vol. 43 (8), pp. 816–837.

Lee, 2000 – Lee, D. “The Society of Society: The Grand Finale of Niklas Luhmann”, *Sociological Theory*, 2000, vol. 18 (2), pp. 320–330.

Marcuse, 1964 (2001) – Marcuse, H. *One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society*. London, New York: Routledge, 2001.

McLauchlan and Hooks, 1995 – McLauchlan, G. and Hooks, G. “Last of the Dinosaurs? Big Weapons, Big Science, and the American State from Hiroshima to the End of the Cold War”, *Sociological Quarterly*, 1995, vol. 36, pp. 749–776. <https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1995.tb00463.x>

Mirowski, 2002 – Mirowski, P. *Machine Dreams*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Mirowski, 2011 – Mirowski, P. *Science Mart. Privatizing American Science*. Cambridge Mass.: Harvard University Press, 2011.

Moon, 1977 – Moon, J.D. “Understanding and Explanation in Social Science”, *Political Theory*, 1977, vol. 5 (2), pp. 183–198.

Musgrave, 1974 – Musgrave R. “Social Goods and Social Bads”, in: R. Marris (ed.) *The Corporate Society*. London: Macmillan, 1974, pp. 251–193.

Polanyi, 1964 – Polanyi, M. *Science, Faith and Society*. Chicago and London: University of Chicago Press, 1964.

Ruser, 2015 – Ruser, A. “Sociological Quasi-Labs: The Case for Deductive Scenario Development”, *Current Sociology*, 2015, vol. 63 (2), pp. 170–181.

Schwalbe, 2015 – Schwalbe, K. *An Introduction to Project Management*. 5th Edition, CreateSpace Independent Publishing, 2015.



Stichweh, 1992 – Stichweh, R. “The Sociology of Scientific Disciplines: On the Genesis and Stability of the Disciplinary Structure of Modern Science”, *Science in Context*, 1992, vol. 5 (1), pp. 3–15. DOI: 10.1017/S0269889700001071.

Weber, 1904/1949 – Weber, M. “Objectivity in Social Science and Social Policy”, in: E.A. Shils, H.A. Finch (eds.) *The Methodology of the Social Sciences*. New York: Free Press, 1949.

Whitehead, 1925 – Whitehead, A.N. *Science and the Modern World*. New York: The Free Press, 1925.

Whitehead, 1929 – Whitehead, A.N. *Process and Reality. An Essay in Cosmology*. New York: The Free Press, 1929.

ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕРОВ В ФИЛОСОФИИ КАРЛА ГЕМПЕЛЯ*

Серкова Вера Анатольевна – доктор философских наук, профессор. Высшая школа общественных наук Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российская Федерация, 195251, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29; e-mail: henrypooshel@rambler.ru



Целью статьи является анализ значения примеров в работах К. Гемпеля. Гемпель использует множество примеров, ссылающихся на показания магнитной стрелки, горение белого фосфора, предсказания свойств некоторых элементов таблицы Менделеева, на астрофизические гипотезы, сроки полного солнечного затмения, выбрасывание игральные костей, а также на неженатых мужчин, на белых и черных лебедей, зеленых русалок, черных воронов и белых башмаков, голубых роз, прогнозы выздоровления Джонса, извержение Везувия, убийство Юлия Цезаря и прочие «частные случаи», и «конкретные факты». Ставится вопрос о том, являются ли примеры простым иллюстративным материалом, формой аргументации; способом верификации идей Гемпеля, их «наглядным подтверждением», и в этом смысле определенной эмпирической базой исследования. Показана необходимость анализа конкретных примеров в контексте теоретических исследований Гемпеля, для которых примеры оказываются поводом для исследования логики подтверждения и логики объяснения, для анализа структур эксплананса и экспланандума, для понимания различий в индуктивных и дедуктивных логических построениях и для анализа «квази-индукции». В статье рассматривается знаменитый пример Гемпеля, – парадокс воронов, названный в его честь и являющийся своеобразной логической провокацией.

Ключевые слова: Карл Гемпель, примеры, эмпирическое содержание, индуктивный метод, парадокс воронов, теория истины

THE IMPORTANCE OF EXAMPLES IN THE PHILOSOPHY OF CARL HEMPEL

Vera A. Serkova – DSc in Philosophy, Professor. Graduate School of Social Sciences, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University. 29 Polytechnicheskaya St., Saint Petersburg 195251, Russian Federation; e-mail: henrypooshel@rambler.ru

The purpose of the article is to analyze the meaning of examples in C. Hempel's works. Hempel uses many examples referring to readings of magnetic hand, burning of white phosphorus, predictions of properties of some elements of the table of Mendeleev, to astrophysical hypotheses, terms of total solar eclipse, throwing of dice, as well as on unmarried men, on white and black swans, green mermaids, black crows and white shoes, blue roses, predictions of Jones' recovery, the eruption of Vesuvius, the assassination of Julius Caesar, and other "special cases" and "concrete facts". The question is raised as to whether the case studies are mere illustrative material, a form of argumentation; a way of verifying Hempel's ideas, their "demonstrable confirmation", and in this sense a definite empirical basis for the study.

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-01014, <https://rscf.ru/project/24-28-01014/>. The research was supported by RSF No. 24-28-01014, <https://rscf.ru/en/project/24-28-01014/>



The necessity of analyzing concrete examples in the context of Hempel's theoretical research is shown, for which the examples turn out to be an occasion for investigating the logic of confirmation and the logic of explanation, for analyzing the structures of explanans and explanandum, for understanding the differences in inductive and deductive logical constructions, and for analyzing "quasi-induction". The paper discusses Hempel's famous example, the crow paradox, which is named in his honor and is a kind of logical provocation.

Keywords: Carl Hempel, examples, empirical content, inductive method, raven paradox, truth theory

Введение

Еще будучи в Берлине аспирантом Г. Рейхенбаха, Карл Гемпель начал принимать участие в заседаниях Венского кружка, которые проходили в атмосфере совместного обсуждения, когда, как вспоминал Р. Карнап, «каждый вносит только то, что он может одобрить и оправдать перед всем коллективом своих коллег» [Carnap, 1967, p. xvii]. В Венском кружке докладывали по правилам строгого, доказательного, и подтверждённого наблюдениями анализа. Стиль изложения участников заседаний не в последнюю очередь определялся эмпирическими доводами, и это подтверждается огромным количеством примеров, которые они используют, включая К. Гемпеля.

Можно сказать, что Гемпель «мыслит примерами», он часто подкрепляет свои рассуждения выражениями «как следует из этих примеров»; «как показывают предыдущие примеры», «обратимся к примеру», «например». Примеры встречаются в таких статьях Гемпеля, как «Теория истины логического позитивизма» (1935); «Некоторые замечания по поводу "фактов" и пропозиций» (1935); «Несколько замечаний по поводу эмпиризма» (1936); «Проблема истины» (1937); «Определение понятия "степень подтверждения"» (совместно с П. Оппенгеймом) (1945); «Функция общих законов в истории» (1942), «Исследования логики подтверждения» (1945), «Исследования в области логики объяснения» (1948); «Мотивы и «охватывающие» законы в историческом объяснении» (совместно с П. Оппенгеймом) (1948); «Дилемма теоретика: Исследования логики построения теории» (1958); «Современные проблемы индукции» (1966); «О когнитивном статусе и обосновании научной методологии» (1988); «Неочевидность концепта истины» (1990) и в др. его работах.

Основная черта примеров, которые использует Гемпель, – их простота, даже тривиальность, что, однако, не мешает им в исключительных случаях стать образцом постановки теоретической проблемы, как в его знаменитом парадоксе воронов. Примеры часто вводят конкретный материал, который следует теоретически объяснить, они



используются и для прояснения идеи, и как способ аргументации, и как основа теоретического моделирования. Пример в текстах К. Гемпеля может быть описанием определенного случая и подтверждающим свидетельством гипотезы. И это далеко не все возможные варианты применения примеров Гемпелем. Многие из его оппонентов в спорах с ним также прибегают к примерам, чтобы проиллюстрировать и подкрепить тот или иной свой аргумент.

Еще И. Кант комментировал причины использования примеров в философии: «что касается ясности, то читатель имеет право требовать прежде всего дискурсивной (логической) ясности посредством понятий, а затем также интуитивной (эстетической) ясности посредством созерцаний, т.е. примеров или других пояснений *in concreto*» [Кант, 2006. с. 21]. Правда, последний способ изложения Кант считал признаком понимания «низшего» порядка, нуждающегося в иллюстрации, в наглядном свидетельстве как «последнем аргументе» подтверждения того или иного теоретического положения. Об ограниченности убеждения, основанного на примерах и привязанного к ним, рассуждали и Платон, и Кант, и Гегель, показывая, как быстро выдыхается «истина чувственной достоверности» [Гегель, 2000, с. 56].

Иногда Гемпель специально поясняет, почему он обращается к примерам. В статье «Несколько замечаний по поводу эмпиризма» он замечает, что пример позволит «проиллюстрировать возможность проверки некоторых утверждений» [Hempel, 2000, р. 31], в «Логике подтверждения» пример «служит подтверждающим случаем для гипотезы» [Гемпель, 1998, с. 48, 190]. Гемпель использует выражения «подтверждающий эффект», «подтверждающая сила», «подтверждающие данные», «адекватная иллюстрация» для какого-то теоретического положения. Бывает, что пример «не выдерживает критики» [Hempel, 2000, р. 31]. В «Проблемах истины» пример демонстрирует возможность прямой непосредственной проверки гипотезы [Ibid., р. 38]. В «Дилемме теоретика» Гемпель также дает разъяснения по поводу привлечения примера: «в качестве иллюстрации я использую пример, по необходимости упрощенный, для того чтобы более ясно выразить суть дела» [Гемпель, 1998, с. 200]. В этой же работе на примере раскрывается содержание теоретического термина [Там же, с. 171]. Пример может отсылать к «сосуществующим эмпирическим фактам» или быть выражением экстенциональной «соотнесенности с фактами» [Там же, с. 172]. В физике и психологии (самых успешных для Гемпеля науках) примеры становились «иллюстрацией основного принципа» [Там же, с. 187]. Пример может стать подручным средством аргументации, способом верификации или фальсификации гипотезы, или, как предпочитает выражаться Гемпель, «законоподобного высказывания». В отличие от факта пример имеет целью подтверждение правдоподобности или, наоборот, несостоятельности конкретного суждения, умозаключения, гипотезы, предположения



и является, поэтому, не случайной, а целенаправленной выборкой из множества наблюдений, экспериментальных данных и т.п. Главная методологическая проблема для логических эмпиристов – сохранить фактичность в стерильном «природном» состоянии, «по ту сторону объяснения». Пример, напротив, всякий раз предполагает включенность в объясняющую конструкцию.

Примеры могут быть банальными и остроумными, наследуемыми, перемещающимися из одного текста в другой, но могут заменяться на свои собственные, более удачные, индивидуальные. Придумать хороший подходящий и неожиданный пример, – большая удача для аналитика. Так Дж.С. Милль в «Системе логики», демонстрируя ограниченность метода индукции, говорит, что жителю центральной Африки до появления там европейцев ни один факт не казался бы столь же безупречным, «как тот, что все человеческие существа черны» [Милль, 1865, с. 361]. Обычно такие примеры запоминаются и обсуждаются другими исследователями. Пример может быть очень простым, тривиальным, но вести к неразрешимому противоречию, как в парадоксе воронов, или парадоксе подтверждения, который сформулировал Гемпель.

Примеры по преимуществу – это остенсивные (демонстративные) способы применения какого-то теоретического принципа. Но иногда, как в случае с Гемпелем, они являются еще и материалом для мысленного эксперимента или моделирования явления. Если предположить, что использование примеров не сводятся только к иллюстрации теоретических положений, и что примеры становятся в некоторых случаях поводом к перепроверке «логики подтверждения» и «логики объяснения», – это усложняет их значение для теории в целом. В этом отношении важно выявить конкретный теоретический контекст употребления того или иного примера в текстах Гемпеля 30–50-х гг., в период формирования его основных идей. Целью нашего исследования является контекстуальный анализ использования обширного фактологического материала, который проясняет важные пункты теории К. Гемпеля.

Теоретический контекст |использования примеров

Проблемное поле исследований Гемпеля можно представить в следующих рубриках: это теория (логика) объяснения в структурах эксплананса и экспланандума; статистически-вероятностная модель подтверждения; индукция и квази-индукция; «индуктивные риски» подтверждения гипотезы и ее экзистенциальный смысл; онтологические обязательства теории; верификация и фальсификация теории;



проблема истины и ее модификации; наблюдаемые и теоретические сущности и отношение эмпирических и теоретических терминов; парадокс подтверждения.

Обобщая, можно сказать, что предметом исследований Гемпеля является анализ процедуры научного объяснения, его структуры, критериев подтверждения и способов обоснования. Можно предположить, что введение в философское исследование примеров для Гемпеля связано с проблематикой отношения эмпирического и теоретического содержания в научном исследовании. Примеры в его работах можно рассматривать как своеобразный способ постановки проблемы или как повод для проверки теории.

В совместной с П. Оппенгеймом статье «Логика объяснения» Гемпель после небольшого введения приводит описание «неестественного» поведения ртутного столбика термометра, опущенного в горячую воду, когда он сначала ползет вниз, а затем резко поднимается вверх. Затем следуют примеры искривленного вида весла в воде, автомобиля, перевернувшегося на высокой скорости, растворяющегося в воде куска сахара и др. Эти примеры являются поводом к тому, чтобы дать разумное объяснение странного поведения разных объектов, и, тем самым, ввести в контекст теоретического разъяснения этих сложных случаев. С точки зрения Гемпеля, дать научное объяснение какому-то явлению – значит выйти за пределы простого описания и подвести его под универсальный закон. Интуитивно этот процесс кажется ясным, по крайней мере тем, кто успешно освоил курс физики в школе. Однако Гемпель постепенно переходит к такому уровню аналитики, на котором «идея интуитивного объяснения обычно становится слишком неопределенной, чтобы обеспечить руководство для дальнейшей рациональной реконструкции» [Гемпель, 1998, с. 127]. Такая реконструкция для него возможна на двух принципиально различающихся уровнях, – эксплананса и экспланандума, при этом эксплананс должен иметь эмпирическое содержание, принципиально проверяемое в эксперименте или наблюдении, данным в фактуально подтверждаемых предложениях, формой которых может стать пример: «Мы разделяем объяснение на две основные составляющие – экспланандум и эксплананс. Под объяснением мы понимаем предложение, описывающее объясняемое явление» [Hempel, 1965, p. 247]. Д. Ким, проясняя структуру эксплананса, обращает внимание на то, что в нем объяснение строится как отношение конкретного физического закона, конкретного наблюдения и их связки, где пример выступает в роли «референтного выражения» [Kim, 1969, p. 200].

Гемпель исследует «специфические и сложные логические проблемы», возникающие в экспланансе при переходе от описания конкретного события к его обоснованию «в контексте какой-либо общей теории» [Гемпель, 1998, с. 106]. Эксплананс способствует установлению «систематических связей среди эмпирических данных нашего



опыта» [Гемпель, 1998, с. 131], в то время, как экспланандум осуществляет «дедуктивную систематизацию» законоподобных высказываний [Там же, с. 148]. Можно предположить, что примеры играют роль «эмпирической базы» эксплананса, на которой строится конкретное теоретическое обобщение, и, сформированная на основании индукции (как совокупности непротиворечащих один другому примеров) модель охватывающих законов является дедуктивной формой объяснения конкретного эмпирического случая. Но не выходит ли так, что «степень подтверждения» относится к индуктивной логике, в то время как законы формулируется в форме дедуктивных отношений, что отражает противоречия, связанные с неполнотой и относительностью знания в целом. В «Логике объяснения» отношение дедуктивного и индуктивного методов становится важной темой исследования Гемпеля. Для Гемпеля это вопрос том, как происходит «комбинирование всех общих высказываний в конъюнкцию Т (теории)» и как соединяются конкретное явление и «фундаментальные законоподобные высказывания» [Там же, с. 118].

«Риски индуктивной логики».

Квази-индукция

Дж.С. Милль в «Системе логики» дает удачное определение индукции, восходящее к Ф. Бэкону: «наведение через простое перечисление, в котором не встречается случаев противоречивых... Оно состоит в приписывании характера общих истин всем предложениям, которые истинны во всяком, случайно известном нам примере» [Милль, 1865, с. 362].

Гемпель формулирует «комплексную проблему индукции», в которой пример является важным элементом «логики подтверждения»: «Так называемый метод индуктивного вывода обычно представляется как движение от отдельных случаев к общей гипотезе, по отношению к которой каждый отдельный случай является “примером” в том смысле, что он подтверждает общую гипотезу и таким образом образует для нее подтверждающее свидетельство» [Гемпель, 1998, с. 34]. Об индуктивной логике как практике изучения «абстрактные принципов с помощью самых лучших известных мне примеров» говорил еще Милль [Милль, 1896, с. 142]. Но применительно к индуктивному методу возникает известное «недоразумение», которое сформулировал А. Вальд и на которое ссылается в «Дилемме теоретика» Гемпель. Суть его состоит в что «правила для установления связи между идеализированными объектами теории и объектами реального мира «всегда будут неточны и никогда не могут составить часть самой теории» [цит. по: Гемпель, 1998, с. 198]. И тем не менее, Гемпель



стремится сформулировать эти правила или, по крайней мере, схематично определить структуру индуктивного порядка¹. И это приводит его к парадоксальным результатам. Недооцененное открытие Гемпеля состоит в том, что он обнаруживает, что конструкция объяснения включает, помимо дедуктивных, «квази-индуктивные» шаги. Он употребляет выражение «квази-индукция» для того, чтобы подчеркнуть, что процесс объяснения, содержащий ряды отчетов наблюдений, «логически более сложен, чем дедуктивный вывод... Этот процесс можно назвать квази-индукцией» [Гемпель, 1998, с. 35]. В «Логике подтверждения» Гемпель дает разъяснение по этому поводу: «приставка квази используется для того, чтобы противопоставить рассматриваемую процедуру так называемой индукции, которая обычно предполагается как метод открытия, или вывода, общих регулярностей на основании конечного числа примеров. В квази-индукции гипотеза не «открывается», а *предоставляется* в дополнение к отчету о наблюдении» [Там же, с. 65–66]. Если мы правильно понимаем Гемпеля, он считает, что переход от непротиворечащих одно другому наблюдений к «законоподобным утверждениям» осуществляется индуктивным способом, однако полагаются на них как на дедуктивное основание. Но не должна ли тогда характеристика «квази-» относиться не к индукции, ведь она здесь выступает в своем обычном качестве бесконечного, и – *на данный момент* – непротиворечивого ряда подтверждающих свидетельств, а к дедукции, в которой гипотеза и выступает в роли квази-закона?² На это в работе 1946 г. «Вопрос о подтверждении» обратил внимание Н. Гудмен. Он полагает, что индуктивное обобщение связывает то, что уже произошло с тем, что еще предстоит, и предсказание по сути опирается на правила дедуктивной силогистики («дедуктивной практики») [Goodman, 1946, p. 383–385].

У. Куайн в комментариях к исследованиям Гемпеля видит источник всех сложностей, связанных с проблемами индукции, в том, что «стандарты подобия» являются различными для теоретического и интуитивного мышления и приводит пример с летучей мышью, которую относят к семейству сумчатых, наряду с кенгуром и опоссумом, хотя она более похожа на обычную мышь, причисляющуюся к другому семейству [Quine, 1969, p. 15]. Р. Джефри в статье «Статистическое объяснение vs статистический вывод» отмечает, что индуктивные

¹ Критики Гемпеля, в частности У. Сэлмон, приходят к выводу о бесперспективности модели объяснения, основанной на индуктивной логике, хотя и соглашались с тем, что индуктивная логика «обеспечивает основу для умозаключений, которая является некоторым улучшением по сравнению с полным незнанием» [Salmon, 1969, p. 73].

² В «Дилемме теоретика» Гемпель заменяет понятие «квази-индукция» на понятие «частичная интерпретация» [Гемпель, 1998, с. 35].



умозаключения только в некоторых случаях могут рассматриваться как выводы. Он приводит иронический пример в поддержку мнения, что «неправильно считать статистическое умозаключение объяснением вообще»: возможны два ответа на вопрос, почему его первый ребенок оказался мальчиком: «Статистический ответ: “нет никакой чертовой причины – это была чистая случайность” и каузальный: “потому что зародышевая клетка имела генотип Y”». Оба верны, когда процесс имеет статистическую вероятностную природу и по сути оба совпадают по смыслу: все происходит “случайным образом»» [Jeffrey, 1969, p. 110].

В «Логике подтверждения» Гемпель исследует отношение степеней эмпирического подтверждения и возможность строить на их основании обобщающие и предсказательные суждения и приходит к выводу, что наличие множества подтверждений гипотезы не отменяет возможности случайных обобщений. Н. Решер в комментариях к этим исследованиям Гемпеля приводит свой пример подобного рода: «Все американские президенты – уроженцы континентальной части США», – даже если эта закономерность имеет место в реальной истории, она относится к классу случайных событий, лишенных предсказательной силы [Rescher, 1969, p. 178]. Ссылаясь на исследования Р. Карнапа, Гемпель предлагает различать степень подтверждения и вероятность гипотез. Действительно, частотность (число подтверждающих и опровергающих случаев) и вероятность (сама возможность) явления – принципиально разные его характеристики. Эту идею Гемпеля развивает У. Селларс в статье «Существуют ли недедуктивные логики?». В сборнике, посвященном юбилею К. Гемпеля, он осуществляет попытку преобразования индуктивного (вероятностного) аргумента в «хороший вероятностный аргумент» на конкретном примере: «Собираются черные тучи. Значит (вероятно), скоро пойдет дождь». Показателем дедуктивной несостоятельности в этом случае является наличие парентетического («вероятностного») комментария вместо дедуктивно необходимого «обязательно». В окончательном виде хороший вероятностный аргумент будет формулироваться таким образом: «Когда собираются черные тучи, обычно идет дождь. Черные тучи собираются. Поэтому (вероятно) скоро пойдет дождь» [Sellars, 1969, p. 84–85]. Только в этом случае можно быть уверенным в корректности вероятностного вывода с оговоркой Селларса «если всерьез принять идею о том, что существует такая вещь, как вероятность» [Ibid., p. 92].

Как видим, идеи Гемпеля в области логики подтверждения вызвали отклик среди многих влиятельных представителей аналитической философии, включившихся в обсуждение проблем отношения индуктивного и дедуктивного вывода, значения для них эмпирической основы исследований и примеров как одного из подручных средств логического моделирования явлений.



Пример как форма логической провокации. Парадокс воронов

Итак, примеры могут выступать в роли «релевантных данных», способствующих подтверждению или опровержению гипотезы и утверждению ее предсказательных возможностей, и в этом качестве пример участвует в процедурах верификации или фальсификации теории. Метод индуктивного вывода представляется способом продвижения от отдельных случаев подтверждающего свидетельства к утверждению общей гипотезы на основаниях вероятностного обобщения. Но Гемпель увидел в подобных подкрепляющих свидетельствах не-тривиальные отношения и логически оформил это в своем знаменитом «парадоксе воронов». Как шутит по этому поводу Куайн, цвет иногда производит впечатление на человека; черный цвет ворона впечатлил Гемпеля [Quine, 1969, p. 14].

Гемпель формулирует этот парадокс в третьей части «Логики подтверждения» в главе «Парадоксы подтверждения»: «любой нечерный не-ворон представляет собой подтверждающий случай для гипотезы “Все вороны черные”» [Гемпель, 1998, с. 54]. В радикальной интерпретации этот парадокс принимает форму утверждения, что любой красный карандаш, любой зеленый лист, любая желтая корова и т.д. становится вписывающимся в гипотезу «все вороны черные». Происходит бесконечное расширение множества подтверждающих случаев, интуитивно неочевидных для исходного аргумента, которые включаются в цепную реакцию новых и новых подтверждений: белые башмаки, зеленые русалки и красные селетки также поддерживают предположение, что все вороны окажутся черными. Гемпель задает вопрос: что делать с такого рода подтверждениями?³

Парадокс воронов выявляет несоразмерность логического и интуитивного порядков, которые формируются в разных измерениях эмпирического опыта. Этот пример демонстрирует преимущества

³ Для У. Куайна в этом парадоксе есть нечто «логически отвратительное» (“logically repugnant”) [Quine, 1969, p. 7]. Я. Хинтиikka в своих комментариях к «этой неловкой ситуации» (“this embarrassing situation”) употребляет выражение «“неправильные” положительные примеры» (“the ‘wrong’ kinds of positive instances”) – множество случаев нечерных не-воронов, по его мнению, относится к фоновой информации, содержащей косвенное, но «строго бесполезное» подтверждение [Hintikka, 1969, p. 27]. Хинтиikka ищет способы обосновать «ту легкость, с которой мы, по-видимому, в реальных индуктивных ситуациях можем делать предположения, которые равносильны предположениям упорядочения» и предполагает, что есть логическое выражение «хитрости разума в реально функционирующем сознании, которое с легкостью обходит этот парадокс» [Ibid.]. Ч. Уитли считал выводы Гемпеля не парадоксальными, но ложными [Whiteley, 1945, p. 156].



«легких путей» обыденного сознания, пренебрегающего неоправданно осложненными способами логического обоснования. С позиции хорошо организованного здравого смысла мы признаем, что «все вороны черные» не потому, что перебрали все множество «нечерных не-воронов», но потому что заранее согласились с «индуктивными рисками», которые могут быть скорректированы в ходе наблюдений.

В процессе обсуждения парадокса воронов Гемпелю в полемике с его оппонентами, напр., с И.Дж. Гудом, приходилось доказывать, что «белый ботинок не является красной селедкой, в конце концов», – часть этого тезиса была вынесена в название его статьи «The White Shoe: No Red Herring» [Hempel, 1967, p. 240]. Отметим только, что современная реальная научная практика нарушила эту границу формально невозможных объектов и стала экзистенциальной и этической проблемой нарушения запретов в практике современной науки, например, в области генетики.

Онтологические обязательства и экзистенциальная нагрузка

Термин «онтологические обязательства» появляется в «Дилемме теоретика», Гемпель заимствует его у Куайна, ссылаясь на его статью «О том, что есть» из сборника «С точки зрения логики». Смысл этих обязательств определяется «отношением теории только с теми сущностями, на которые должны ссылаться связанные переменные теории, чтобы ее утверждения были истинными» [Quine, 1961, p. 13–14]. Гемпель согласен с тем, что логические утверждения не предполагают иного онтологического статуса «теоретических сущностей»: «универсальное условное предложение, в смысле современной логики, не обладает экзистенциальной нагрузкой» [Гемпель, 1998, с. 49] и подкрепляет это положение примером. С точки зрения Гемпеля, предложение «русалка – зеленая» не подразумевает существования зеленой русалки, «оно только утверждает, что любой объект или вообще не является русалкой, или является зеленой русалкой» [Там же]⁴.

Примеры Гемпеля с эпидемией дифтерии и астрофизической гипотезой позволяют ему продемонстрировать, что «обычная формулировка общих гипотез в эмпирической науке не только не содержит

⁴ Р. Нозик высказывается в том же духе: «интуитивная привычка наделять экзистенциальным смыслом логический вывод не состоятельна: «из того, что Р считает, что... х... не следует, что х существует, из того, что Р считает, что р, не следует, что р истинно» [Nozick, 1969, p. 138].



предложений существования, но и, как правило, даже неявно не ссылается на такие предложения... В конце концов можно сказать, что многие универсальные гипотезы вообще не подразумевают предложений существования» [Гемпель, 1998, с. 50]. В этом смысле пример является дополняющим логическую конструкцию своего рода мыслительным экспериментом и вполне легитимным коррелятом логических отношений.

Можно ли в контексте логики подтверждения Гемпеля ставить вопрос о том, в чем состоит объективное содержание гипотезы? Гемпель уже рассуждал в этом направлении, когда отвечал на вопрос о том, не является ли представление о «подтверждающей совокупности эмпирических данных» – как объективных критериях подтверждения теории – «ошибочным допущением» [Там же, с. 40]. Решение этого вопроса, на наш взгляд, для Гемпеля определяется его пониманием истины.

В своей ранней статье «Теория истины логического позитивизма» Гемпель описывает, как меняется представление об истине, от корреспондентской теории к когерентной, у участников Венского кружка М. Шлика, О. Нейрата и Р. Карнапа. Статья была основательно раскритикована Б. Расселом. В комментарии к этой работе Гемпеля, переизданной через шестьдесят с лишним лет, проф. Р. Джеффри отмечает: «В 1955 году Гемпелю все еще было мучительно вспоминать об этих эссе, которым тогда было уже двадцать лет, – возможно, из-за презрения и насмешек, которые обрушил на них Бертран Рассел» [Hempel, 2000, с. 7]⁵. Рассел не мог согласиться с Гемпелем в том, что признание того, что «эмпирический факт А имеет место», означает только то, что «пропозиция А имеет место», и, следовательно, не факты согласуются с другими фактами, а разные высказывания о фактах между собой. Действительно, если М. Шлик мог позволить себе использовать «старое доброе выражение “согласие с реальностью”» [Schlick, 1934, р. 85–86], то Гемпель употребляется выражение «так называемые “факты” и “реальность”», которое проявляет степень его осторожности в обращении с этими понятиями. Гемпель разделяет довод Нейрата о том, что трудно объяснить, каким образом осуществляется сравнение предложений и фактов и сомневается, что существуют «надежные точки соприкосновения знания и реальности» [Гемпель, 2009, с. 332]. В «Логике подтверждения» Гемпель в том же духе утверждает, что проверка гипотезы является «предметом столкновения предложений скорее с предложениями, чем с “фактами”» [Гемпель, 1998, с. 83].

⁵ Это, иронизирует Рассел, может привести к тому, что эмпирическая истина может быть подчинена мнению соседей или определяться точкой зрения полиции, и даже к тому, что Нейрат окажется изгнанником [цит. по: Hempel, 2000, р. 7].



Для Гемпеля такие выражения как «стрелка сейчас находится на отметке 5» или «это старое немецкое литературное слово», или «этот исторический документ датируется семнадцатым веком» не являются примерами протокольных предложений, он полагает, что все они принимаются «посредством тренировки и упражнений» по тому же принципу, по которому ребенок приучается выплевывать косточки от вишни [Гемпель, 1998, с. 332–333]. Такие примеры не являются фиксированными «фактами», скорее они являются согласованными теоретическими утверждениями. По сути именно Гемпель, начиная с ранней своей работы 1935 г., формулирует принципы конвенциональной теории истины, и его критика корреспондентской теории истины со временем только получает дополнительное обоснование. Ряд примеров Гемпеля можно определить как утверждения о фактах другого порядка, которые он называет «событиями»: детские крестовые походы, Октябрьская революция, убийство Цезаря, цена хлопка на бирже, количество вариантов слова «пчела» в английском и французском языках [Hempel, 1977, p. 72–93]. Эти «факты», согласно Гемпелю, также имеют конвенциональную природу. Вероятностно-статистическая модель объяснения, которую Гемпель предлагает для их анализа, нашла критический отклик у У. Дрея, Р. Джеффри, Д. Кима, Д. Дэвидсона, О. Назаровой и др. [Dray, 1957; Jeffrey, 1969; Kim, 1969; Davidson, 1969; Назарова, 1998]. Примеры такого рода перестают быть простыми случаями наблюдений, они являются «теоретическими сущностями» и потому, проанализировав целый ряд формальных редуктивистских программ, Гемпель приходит к выводу о том, отказ от теоретических терминов в пользу терминов наблюдения практически невыполним и, «что еще более серьезно», это «методологически невыгодно или даже смешно» [Гемпель, 1998, с. 185]. Примеры из истории, содержащей по преимуществу указание на события из прошлого, недоступные наблюдению и эксперименту, целиком зависят от объяснительных и предсказательных аналитических процедур, которые ученые, по выражению Гемпеля, осуществляют, «не впадая в веселье или уныние».

В «Дилемме теоретика», которая имеет подзаголовок «Опыт построения научной теории» (а один из параграфов называется «Некоторые примеры»), Гемпель задает вопрос о том, почему наука должна обращаться к теоретическим (и гипотетическим, в том числе) сущностям в то время, как она заинтересована в установлении предсказательных и объяснительных связей между наблюдаемыми обобщениями. Н. Решер, анализируя опыт Гемпеля в этой области, употребляет выражение «рациональная архитектоника»: «Наука – это не каталог наблюдаемых закономерностей. Она требует определенной рациональной архитектоники, связывающей множество эмпирических обобщений в рациональную структуру, в которой проявляется их концептуальная значимость» [Rescher, 1969, p. 186].



Действительно только теоретический контекст определяет содержание конкретного факта (примера), и потому вопрос о том, что означает его «адекватное» объяснение», по мнению Гемпеля, «полностью определяется философскими воззрениями исследователя» [Гемпель, 1998, с. 205].

Заключение

Использование в философском тексте примеров для Гемпеля связано с проблематикой отношения эмпирического и теоретического содержания в научном исследовании. Гемпель полагает, что следует приписывать фактуальный референт всем внелогическим терминам теории, если эта теория истинна» [Там же, с. 208], и пример в этом свете является вполне легитимным элементом теории. В работах Гемпеля мы находим множество примеров, которые выполняют различные функции: фиксируют явление, описывают его, иллюстрируют, упрощая или усложняя, какой-либо аспект теории. Примеры для Гемпеля являются элементом логики объяснения или логики подтверждения. Примеры вводят эмпирический материал, придают обсуждению наглядность, выступают формой демонстрации или дополнением какого-либо вывода, показывают границы применимости определенного правила или принципа (парадокс воронов связан с тем, что эти границы оказываются неопределенными, размытыми), проблематизируют определенные аспекты исследования. Наиболее часто встречающаяся функция примеров, – остенсивная, демонстративная. Самая сложная – мысленный эксперимент. Не случайно в такой роли выступает у Гемпеля его знаменитый парадокс, который невозможно сформулировать без опоры на «конкретный случай», но следствия из этого конкретного случая плохо согласовываются с обычными интуитивными ожиданиями.

Может ли пример выступать балластом исследования? Кант полагает, что именно в такой роли он чаще всего и выступает. Но иногда именно примеры позволяют автору философского текста выйти за границы строгого академического стиля. Порой философу удается поозорничать за счет примеров. Так, в работе, посвященной Гемпелю, Джегвон Ким моделирует ситуацию приумножения сущностей, когда пытается определить причину брачного союза неких Уилбура и Эдит. Сложности проявляются тогда, когда оказывается, что объяснить, почему Уилбур женился на Эдит, – не то же самое, что объяснить, почему Эдит вышла замуж за Уилбура [Kim, 1969, p. 210]. Пример нарицательный, и как с объяснительной, так и с каузальной точки зрения есть основания полагать, что здесь имеют место не одно, а два события. Примерами подобного рода изобилует сборник,



посвященный 65-летию юбилею Карла Гемпеля, и они существенно сглаживают ситуацию критики в философских дискуссиях.

Что касается непосредственно нашего исследования значения примера для философии Карла Гемпеля, то, по-видимому, не случайно, эта тема потребовала реконструкции основных теоретических пунктов его философской программы.

Список литературы

Гегель, 2000 – Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа / Пер. с нем. Г.Г. Шпета. М.: Наука, 2000. 495 с.

Гемпель, 1998 – Гемпель К. Логика объяснения / Пер. с нем. О.А. Назаровой. Л.; М.: Дом интеллектуальной книги; Русское феноменологическое общество, 1998. 240 с.

Гемпель, 1977 – Гемпель К. Мотивы и «охватывающие» законы в историческом объяснении // Философия и методология истории. М.: Прогресс, 1977. С. 72–93.

Гемпель, 2009 – Гемпель К. Теория истины логического позитивизма // Эпистемология и философия науки. 2009. Т. XXI. № 3. С. 226–234.

Кант, 2006 – Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч. на немецком и русском языках / Пер. с нем. Н.М. Мотрошиловой. Т. 2. Ч. 1. 2-е изд. (В). М.: Наука, 2006. 1082 с.

Милль, 1896 – Милль Дж.С. Автобиография. М.: Книжное дело, 1896. 281 с.

Милль, 1865 – Милль Дж.С. Система логики. Т. 1 / Пер. с англ. Ф. Резенера. СПб.: Изд. М.О. Вольфа, 1865. 554, VII с.

Назарова, 1998 – Назарова О. Приложение: Судьба идей Гемпеля во второй половине XX века // Логика объяснения / Пер. с нем. О.А. Назаровой. Л.; М.: Дом интеллектуальной книги; Русское феноменологическое общество, 1998. С. 221–237.

References

Carnap, 1967 – Carnap, R. *The Logical Structure of the World and Pseudoproblems in Philosophy*, trans. by R.A. George. Berkeley: University of California Press, 1967.

Davidson, 1969 – Davidson, D. “The Individuation of Events”, in: D. Davidson, N. Rescher (eds.) *Essays in honor of Carl G. Hempel*. Dordrecht: D. Reidel, 1969, pp. 216–134.

Dray, 1957 – Dray, W.H. *Laws and Explanation in History*. Oxford University Press, 1957.

Goodman, 1946 – Goodman, N. “A Query on Confirmation”, *The Journal of Philosophy*, 1946, vol. 43, no. 14, pp. 383–385.

Hegel, G.W.F. *Fenomenologiya dukha* [The Phenomenology of Spirit], trans. by G. Speth. Moscow: Nauka Publ., 2000. (Trans. into Russian)



Hempel, 1965 – Hempel, C.G. *Aspects of Scientific Explanation*. New York: The Free Press, 1965.

Hempel, C.G. “Motivy i ‘ohvatyvajushhie’ zakony v istoricheskom objasnenii” [Motives and “Encompassing” Laws in Historical Explanation], in: I. Kon (ed.) *Filosofija i metodologija istorii* [Philosophy and Methodology of History]. Moscow: Progress Publ., 1977, pp. 72–93. (Trans. into Russian)

Hempel, C.G. “Teorija istiny logicheskogo pozitivizma” [The Theory of Truth of Logical Positivism], trans. by O.A. Nazarova, *Epistemology & Philosophy of Science*, 2009, vol. XXI, no. 3, pp. 226–234. (In Russian)

Hempel, C.G. *Logika ob’yasneniya* [Aspects of Scientific Explanation], trans. by O.A. Nazarova. Leningrad; Moscow: Dom intellektual’noi knigi; Russkoe fenomenologicheskoe obshchestvo Publ., 1998. (Trans. into Russian)

Hempel, 2000 – Hempel, C.G. *Selected Philosophical Essays*, R. Jeffre (ed.). Cambridge University Press, 2000.

Hempel, 1967 – Hempel, C.G. “The White Shoe: No Red Herring”, *The British Journal for the Philosophy of Science*, 1967, vol. 18, no. 3 (Nov.), pp. 239–240.

Hintikka, 1969 – Hintikka, J. “Inductive Independence and the Paradoxes of Confirmation”, in: D. Davidson, N. Rescher (eds.) *Essays in Honor of Carl G. Hempel*. Dordrecht: D. Reidel, 1969, pp. 24–46.

Jeffrey, 1969 – Jeffrey, R. “Statistical Explanation vs. Statistical Inference”, in: D. Davidson, N. Rescher (eds.) *Essays in honor of Carl G. Hempel*. Dordrecht: D. Reidel, 1969, pp. 104–113.

Kant, I. *Kritika chistogo razuma* [Critique of Pure Reason], trans. by N. Motroshilova, in: I. Kant, Op. in German and Russian, vol. 2, p. 1. Moscow: Nauka Publ., 2006, 1082 pp. (Trans. into Russian)

Kim, 1969 – Kim, J. “Events and Their Descriptions: Some Considerations”, in: D. Davidson, N. Rescher (eds.) *Essays in Honor of Carl G. Hempel*. Dordrecht: D. Reidel, 1969, pp. 198–215.

Mill, J.S. *Avtobiografiya* [Autobiography]. Moscow: Knizhnoe delo Publ., 1896. (Trans. into Russian)

Mill, J.S. *Sistema logiki* [A System of Logic], trans. by F. Resener. Saint Petersburg: M.O. Wolf Publ., 1865, vol. 1. (Trans. into Russian)

Nasarova, O. “Prilozhenie: Sud’ba idei Gempelya vo vtoroi polovine XX veka” [Appendix: The Fate of Hempel’s Ideas in the Second Half of the XX Century], in: *Logika ob’yasneniya* [Aspects of Scientific Explanation], trans. by O.A. Nazarova. Leningrad; Moscow: Dom intellektual’noi knigi; Russkoe fenomenologicheskoe obshchestvo Publ., 1998, pp. 221–237. (Trans. into Russian)

Nozick, 1969 – Nozick, R. “Newcomb’s Problem and Two Principles of Choice”, in: D. Davidson, N. Rescher (eds.) *Essays in Honor of Carl G. Hempel*. Dordrecht: D. Reidel, 1969, pp. 114–146.

Quine, 1961 – Quine, W.V.O. *From a Logical Point of View: 9 Logico-Philosophical Essays*. New York: Harper Row Publ., 1961.

Quine, 1969 – Quine, W.V. “Natural Kinds”, in: D. Davidson, N. Rescher (eds.) *Essays in Honor of Carl G. Hempel*. Dordrecht: D. Reidel, 1969, pp. 5–23.

Rescher, 1969 – Rescher, N., “Lawfulness as Mind-Dependent”, in: D. Davidson, N. Rescher (eds.) *Essays in Honor of Carl G. Hempel*. Dordrecht: D. Reidel, 1969, pp. 178–197.



Salmon, 1969 – Salmon, W.C. “Partial Entailment as a Basis for Inductive Logic”, in: D. Davidson, N. Rescher (eds.) *Essays in Honor of Carl G. Hempel*. Dordrecht: D. Reidel, 1969, pp. 47–82.

Sellars, 1969 – Sellars, W. “Are There Non-Deductive Logics?”, in: D. Davidson, N. Rescher (eds.) *Essays in Honor of Carl G. Hempel*. Dordrecht: D. Reidel, 1969, pp. 83–103.

Schlick, 1934 – Schlick, M. “Über das Fundament der Erkenntnis”, *Erkenntnis*, 1934, vol. 4, pp. 79–99.

Whiteley, 1945 – Whiteley, C. H. “Paradoxes of Confirmation”, *Mind*, 1945, vol. 54, no. 214, pp. 156–158.

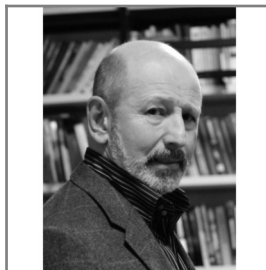
Философия междисциплинарности: ПРОГРАММА Я.К. ШМИДТА

Касавин Илья Теодорович – доктор философских наук, профессор, член-корр. РАН, главный научный сотрудник. Институт философии РАН. Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1; e-mail: itkasavin@gmail.com

Костина Алина Олеговна – кандидат философских наук, научный сотрудник. Институт философии РАН. Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1; e-mail: akostina@mail.ru

В статье выявляются перспективы философии междисциплинарности на примере одноименной работы немецкого философа Я.К. Шмидта. Основной целью, которую ставит перед собой автор, является определение внутреннего смысла понятия и целей междисциплинарности. В соответствии с этим задачи, решаемые в соответствующих разделах исследования, разделяются на внутринаучные и вненаучные. Первые связаны с фундаментальными исследованиям, переосмыслением форм научного мышления, методологий, отношений природы и человека. Вторые встроены в социальную реальность и требуют анализа технауки, производства знания и научной политики. Профессор Шмидт рассматривает два подхода к междисциплинарности: инструментальный, или стратегический, и критически-рефлексивный, или коммуникативный. Первый представляет собой инструмент с лимитированной возможностью решения актуальных проблем междисциплинарности. Эта ограниченность определяется близостью к солюционизму (от solution, англ.) и преимущественно направлена на организационные и управленческие проблемы науки. Критически-рефлексивный подход, напротив, предполагает фундаментальное переосмысление понятия знания. Междисциплинарность характерна для области научных исследований, в то время как трансдисциплинарность и ее отдельные формы – объектно- и проблемно-ориентированные подходы – с решением задач в реальном мире. Автор проводит всеобъемлющий анализ проблемы междисциплинарности, анализируя исторические корни технаучной проблематики, оценивает современное состояние науки и предлагает парадигмальную программу ProTA, связанную с реализацией прогностического потенциала критико-рефлексивного подхода к междисциплинарности.

Ключевые слова: междисциплинарность, трансдисциплинарность, научная политика, классификация, производство знания, Ян Шмидт, технаука





PHILOSOPHY OF INTERDISCIPLINARITY: THE PROGRAM OF J.C. SCHMIDT

Ilya T. Kasavin – DSc
in Philosophy, Professor,
Correspondent Member
of the Russian Academy
of Sciences, Chief Research
Fellow.
Institute of Philosophy,
Russian Academy of Sciences.
12/1 Goncharnaya St.,
Moscow 109240,
Russian Federation;
e-mail: itkasavin@gmail.com

Alina O. Kostina – PhD
in Philosophy, Research Fellow.
Institute of Philosophy,
Russian Academy of Sciences.
12/1 Goncharnaya St.,
Moscow 109240,
Russian Federation;
e-mail: akostina@mail.ru

The article deals with the problem of the philosophy of interdisciplinarity, set forth in the work of the same name by J.K. Schmidt. The main goal the author sets for himself is to define the inner meaning of the concepts and goals of interdisciplinarity. In accordance with this, the tasks performed by the respective fields of work, divided into intrascientific and extrascientific. The first ones are related to fundamental research, rethinking the forms of scientific knowledge, methodologies, the relationship between man and nature. The latter, embedded in social reality, are related to analysis of the problems of technoscience, knowledge production and science policy. Prof. Schmidt considers two approaches to interdisciplinarity: instrumental or strategic and critical-reflexive or communicative. The first of them is presented as a limited tool for solving actual problems of interdisciplinarity due to its proximity to soluchionism and its predominant focus on organizational and managerial problems of science. The critical-reflexive approach is, on the contrary, associated with a fundamental rethinking of the concept of knowledge. Interdisciplinarity is characteristic of the field of scientific research, while transdisciplinarity and its particular forms – object- and problem-oriented approaches – are associated with solving problems of the real world. The author conducts a comprehensive analysis of the problem of interdisciplinarity, analyzing the historical roots of technoscientific issues, assesses the current state of science, and proposes a paradigmatic ProTA program related to the realization of the predictive potential of the critical-reflexive approach to interdisciplinarity.

Keywords: interdisciplinarity, transdisciplinarity, science policy, classification, knowledge production, Jan Schmidt, technoscience

В современной эпистемологии и философии науки взаимодействие разных типов знания, научных дисциплин и интеллектуальных трендов анализируется в двух ракурсах. Во-первых, речь идет о внутренней методологической проблеме междисциплинарности (мульти- и полидисциплинарности), решаемой в рамках более широкой проблемы структуры научного знания. Во-вторых, это взаимодействие рассматривается в контексте социологического поворота как проблема социологии научного знания и СТС, обозначаемая термином «трансдисциплинарность». Во втором случае анализ знания сопрягается с выявлением роли культурных и социальных влияний на науку как институт и сообщество профессионалов. Данные два ракурса анализа дополняются темпоральным измерением, а именно различием классического и неклассического понимания меж- и трансдисциплинарности. Во многом это различие соотносится с двумя ключевыми фигурами, задающими соответствующие паттерны



обсуждения, – с психологом Жаном Пиаже [Piaget, 1972] и физиком Базарабом Николеску [Nicolescu, 2002], работы которых разделены тремя десятилетиями.

В отечественной литературе эти проблемы также широко обсуждаются, начиная с новаторских работ М.К. Петрова в конце 60-х гг. XX в. и до наших дней [Kasavin, 2017; Бажанов, 2015; Кедров, 1981; Кедров, 1986; Мирский, 1980; Огурцов, 1988; Петров, 1968] и др. Обзор данных исследований является отдельной исследовательской задачей.

Ян Корнелиус Шмидт в своей книге «Философия междисциплинарности» задается глобальными вопросами о судьбах современной технонауки в ее взаимодействии с обществом и ищет те формы коммуникации внутри и за пределами науки, которые обеспечивают лучшее будущее человечества. В свою очередь такой коммуникации необходимо предпослать интеллектуального менеджера-модератора, способного обеспечить диалог всех социальных акторов. Для этого Шмидт выходит на метауровень рассмотрения феномена меж- и трансдисциплинарности. Применение данных понятий нашло столь широкое распространение в области науки, научной политики и исследовательских программах, что определение их содержания превратилось в отдельную исследовательскую задачу. Автор начинает с методологического различия, важного для дальнейшей работы: одна группа исследователей реализует инструменталистский, или стратегический, другая – критически-рефлексивный, или коммуникативный, подход к междисциплинарности. Сторонники первого находятся в большинстве, в отличие от самого автора, концептуально обосновывающего значимость исследования из заявленной критически-рефлексивной перспективы. Популярность понятий транс- и междисциплинарности связывается с тем, что именно они стали ключевыми при обозначении перехода к новым способам производства научного знания, представленным такими терминами, как «постнормальная наука», «постпарадигмальная наука», «проблемно-ориентированное исследование», «постдисциплинарность» и ряд других. Именно тема междисциплинарности привела к укреплению в научном дискурсе понятия трансформации и перехода (transition). Профессор Шмидт указывает на значительное расхождение в изначальном представлении о междисциплинарности и тем спектром вопросов, с которым ее ассоциируют сегодня. Он подчеркивает, что изначально понятие было тесно связано с измерениями нормативности и критики. Междисциплинарность у истоков воплощала собой социальную критику науки внутри общества с перспективы ее представлений о природе. Не менее важным фактором использования понятия было вовлечение академической системы в «социоэкологический праксис и поэзис отношений человека и природы» [Schmidt, 2022, р. 2]. Междисциплинарность должна была стать символом ученого, несущего полную ответственность



за общество в целом и разрешение множества вопросов, связанных с амбивалентной природой науки в частности.

Кризис образов природы и ее взаимодействия с людьми на уровне научных институций воплотился в устойчивый тренд на доминирование слишком узкой специализации, дробление дисциплинарных подходов, профессиональных языков и границ проводимых исследований. Фрагментарность исследований способствовала размыванию общей картины формируемого ими представления о природе и экологических способов взаимодействия с ней. Нарушение концептуальных связей отдельных областей и отсутствие метауровня обсуждения возникающих вследствие этого трудностей привело к реальным последствиям не только для теоретической науки, но и для мира, попавшего в спираль экологических кризисов, загрязнений и уменьшения биоразнообразия. Попытка разрешения проблем, восстановления утраченных связей должна начинаться с переформатирования и преобразования научных исследовательских методов, полагает Шмидт. Поэтому среди важнейших понятий появляется «интеграция» – в методах, процедурах, жизни научных коллективов и исследовательских программах.

Идея того, что современная наука является междисциплинарной (наряду с тем, что продолжает быть крайне узкоспециализированной), не подвергается сомнению или специальной критике со стороны автора. Его волнует другое: что же в действительности стоит за восхвалением отдельных форм междисциплинарности и приводит повсеместное использование этого понятия к реальным изменениям в научных и институциональных практиках, с одной стороны, социальном мире – с другой.

Профессор Шмидт резко критикует инструменталистов из-за их неспособности по-настоящему заглянуть вглубь проблемы и рассмотреть многочисленные нормативные основания науки, связанные с задачами, ценностями и институциональными структурами. Инструменталисты тут выступают сторонниками солюционизма (от англ. solution ‘решение’), где все процедуры науки должны быть связаны с выполнением простого алгоритма «проблема-решение». Такой подход не предполагает поиска глубоких взаимосвязей научных проблем и социальных вопросов отношений науки и общества, академии и политики. Для инструменталистов характерна наивная позиция, с которой ничто в науке не может носить ценностную окраску, а все проблемы, какой бы исследовательской области они ни касались, связаны с эффективным управлением и организацией.

Критически-рефлексивный подход рассматривается, с одной стороны, в диалектике с инструментальным, с другой – является его продвинутой версией и обозначается как метаинструментализм. Для него ключевым становится критический анализ того, что в научном сообществе считается знанием. Основным призывом автора является



переосмысление самой науки, это саморефлексия, способная привести к появлению новых форм знания и мышления. Модель науки в аспекте ее внешней реализации, за пределами решения фундаментальных проблем, сдвигается в сторону увеличения ее прогностической силы. Происходит отдаление от солиционизма с замкнутым по кругу следованием алгоритму «проблема – решение – создание новой проблемы» в сторону предотвращения появления таковых. Теории должны радикально отличаться от возникших в результате использования консервативных моделей Бэкона, Декарта и Канта. Вслед за обозначенными изменениями в вопросах знания должно преобразиться и отношение к природе и миру в целом. Ключевой фигурой здесь необходимо стать ученому, ответственному за построение как новой, экологичной науки, так и трансляции ее принципов за пределы научных институций. Несмотря на явно обозначенный контраст двух подходов к междисциплинарности, все же в их противопоставлении профессор Шмидт не готов идти до конца. В попытках примирить их он указывает на их взаимное дополнение и подчеркивает факт того, что они находятся на разных уровнях решения конечной задачи. Инструменталистский подход рассматривается как необходимый первый шаг на пути к критически-рефлексивному. Прибегая к высокому уровню абстракции в обсуждении философии междисциплинарности, помимо ряда промежуточных тем, доктор Шмидт возводит в зенит необходимость восстановления единства рациональности. Другими словами, сегодня философия должна в переосмыслении собственных укоренившихся стратегий мышления не только найти новые пути, но и вспомнить забытые – вернуться к тем временам, когда философия без ограничений существовала в качестве метауровня рефлексии относительно любых наук.

Для обозначения ряда наиболее значимых проблемных полей принципиально становится разделением междисциплинарности¹ и трансдисциплинарности². Междисциплинарность, во-первых, анализируется с точки зрения дисциплинарных границ и их преодоления. Нормативность взаимодействия внутри интердисциплинарных полей должна реализовываться с соблюдением двух правил, указывающих

¹ Особое внимание междисциплинарности уделяется в главах «Философия и множественность: предоставляя классификацию и прояснение междисциплинарности» – гл. 2; «Природа и науки: в поисках альтернативных концепций природы и науки» – гл. 7; «Политика и исследовательские программы: обращаясь к проблеме политики знания междисциплинарности» – гл. 3; «История и технонаука: прослеживая исторические корни предметно-ориентированной междисциплинарности» – гл. 4.

² Проблема трансдисциплинарности подробно освещается в: «Общество и общественные проблемы: коцептуализируя проблемно-ориентированную меж- и трансдисциплинарность» – гл. 5; «Технология и будущее: расширяя перспективы оценки технологий» – гл. 8.



на необходимость избегать редукционизм и сохранять интегративный характер взаимодействия наук. Залогом соблюдения этих условий должна быть указанная выше установка на философию как метауровень рефлексии проблем всех наук. Разрешение данных вопросов на практике связано с реализацией внутриакадемических и внутриинституциональных задач.

Трансдисциплинарность, «открывающая науку обществу» [Schmidt, 2022, p. 38], также является областью решений проблем, выходящих за пределы чисто научных, т.е. имеющих отношение к реальному миру. В рассмотрении трансдисциплинарности неизбежно значимой становится включенность в решение задач публичной политики и заинтересованных сторон (стейхолдеров) в таких областях, как научная политика, программы инноваций и практики использования технологий. На пересечении науки, технологии и общества всегда возникают вопросы этические проблемы. Одним из первых становится констатация факта, невозможная в рамках инструментального, но реализуемая в рамках критически-рефлексивного или, как его еще называет автор, коммуникативного подхода³: как междисциплинарность, так и трансдисциплинарность – политические термины. Более того, они обладают ключевым статусом в современной политике знания и политической эпистемологии. Понятие политики знания при этом «подчеркивает, что решения, касающиеся производства знания, определяют общество будущего» [Ibid., p. 53]. Способность критически посмотреть на характер формируемой междисциплинарности поможет также критически распознавать стратегии реализации политики знания и исследовательских программ.

Рефлексия, обозначенная в названии подхода, касается необходимости анализа обществом научных достижений. Люди не всегда могут в силу академических барьеров непосредственно соприкоснуться с «чистой наукой». Однако они обладают свободным доступом к большому количеству продуктов технауки. Последняя становится практическим воплощением реализованной как меж-, так и трансдисциплинарности⁴. Любой технаучный объект – это результат комбинации не только отдельных видов деятельности, таких как создание, проектирование, инженерная работа, но и ценностей познания всех этих областей. Их можно назвать трансэпистемическими ценностями [Ibid., p. 71, 72]. Необходимо уточнить, что в условиях рыночных отношений одной из них является экономический запрос на технологические инновации. Профессор Шмидт

³ Критически-рефлексивный подход, по замечанию автора, впитывает дух идей критической теории Франкфуртской школы и теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса.

⁴ Также в данном случае можно говорить о трансдисциплинарности как объектно-ориентированном подходе.



вынужден признать, что технонаука – область главенствования стратегического, инструменталистского подхода. Здесь уровень развития технонауки напрямую коррелирует с объемом власти и влияния на общественные процессы, где она «является широко признанным инструментом достижения конкурентных преимуществ» [Schmidt, 2022, p. 71].

Изначально профессор Шмидт указывает на междисциплинарность как понятие, характеризующее сразу несколько подходов к современному производству знания. При этом, упоминая отдельные способы, необходимо понимать, связано ли производство знания с решением фундаментальных научных проблем или оно сопряжено с преодолением проблем социального мира. Такое разделение уже было обозначено при описании трансдисциплинарности и технонауки, однако этим нельзя ограничиться. Как в фундаментальной, так и в условно прикладной науке активно используется слово «проблема», однако оно является ключевым как для политического, так и для эпистемологического дискурса. Это приводит к необходимости провести водораздел между проблемно-ориентированной междисциплинарностью и другими подходами. В книге проводится своеобразная попытка соизмерить масштабы ряда междисциплинарных подходов по фундаментальности поставленных задач.

Проблемно-ориентированная междисциплинарность – это способ более глубокого понимания вопросов, которые также ставятся объект-ориентированным подходом, преобладающим в инженерных науках и областях, связанных с технологическими практиками. В то же время проблемная ориентированность привязана к решению социальных, но не фундаментальных научных проблем. В отличие от нацеленности на теории и концепции, междисциплинарное решение проблем связано с заботой о достижении конечного практического результата. При этом используемые методы и основательная разработка методологии не находятся здесь в фокусе внимания. Автор также дополняет список различий уже привычными для литературы по философии науки тезисами о различии краткосрочных и долгосрочных проектов, отличающих проблемно-ориентированный подход и академическую междисциплинарность. Возникает вопрос: в чем тогда заключается применение данной дихотомии в дисциплинарных подходах? В работе, действительно, приводятся примеры синхронизации некоторых внутри- и междисциплинарных процессов.

В попытке определить, что же является ключевым элементом междисциплинарности в естественнонаучной области, автор обращается к «структурным наукам, занимающимся явлением самоорганизации» [Ibid., p. 153]. Главное, что всех их объединяет, – неустойчивость и неопределенность. Именно они указывают на необходимость изменить научную методологию и устоявшиеся научные подходы.



Неустойчивость при этом имеет парадигмальный характер для защищаемого автором критически-рефлексивного подхода к междисциплинарности, который также позиционируется как глубоко проблемно-ориентированный.

Как было заявлено Шмидтом в начале его исследования, одной из отличительных черт коммуникативного (критически-рефлексивного) подхода является прогностическая сила. Новая модель мышления, иначе определяющая отношения людей, природы и технологий, должна быть направлена на предотвращение появления проблем, а не на необходимость их бесконечного решения. В связи с этим завершающим и одним из важнейших концептуальных звеньев и даже парадигмой подхода профессора Шмидта становится ProTA (Prospective Technology Assessment – Оценка перспективных технологий). Необходимо пояснить, что данный подход является модификацией существующей более 50 лет междисциплинарной области исследований ТА (Technology Assessment – Оценки технологий). Ученые из множества исследовательских областей работают в ней «над созданием знания для принятия политических решений» [Schmidt, 2022, p. 157]. Основной задачей данной области исследований становится противодействие пессимизму как оборотной стороне технологического детерминизма. Более конкретная задача – всесторонне оценить новые технологии на ранней стадии их появления. По сути дела, это попытка решить дилемму, связанную с тем, что технологическое развитие всегда опережает законодательное. Это приводит к необходимости разрешения множества не только формально-юридических, но и этических проблем, для чего Я. Шмидт предлагает использовать весь репертуар деонтологии, этики добродетелей и утилитаризма.

Необходимость программной декларации ProTA вызвана, по мнению профессора Шмидта, новыми качествами современных технологий. Первое из них – «феноменологическая натурализация технологий» [Ibid., p. 176]. Она указывает на размывание границ между строго технологическим и социальным миром. Второе – «номологическая натурализация технологий», где неустойчивость становится ключевым фактором самоорганизации, намеренно встраивается в технические системы и их материальные структуры. Он иллюстрирует этот тезис на примере контроверз синтетической биологии, но еще более подходящим, на наш взгляд, является современная ситуация с искусственным интеллектом, представленным в GPT4.

«Как ученые и общественные деятели могут концептуализировать, понимать и формировать технические науки и технаучные знания по своему желанию на ранних этапах исследований и разработок?» – задается завершающим вопросом Я. Шмидт. Его ответ гласит: ProTA продвигает антиципаторный подход к решению этих актуальных задач. Эта программа ставит критическое и рефлексивное



мышление в самый центр производства знаний, основанных на технoнауке, и является подлинным воплощением концепции критико-рефлексивной междисциплинарности. Мы во многом согласны с оценкой современного состояния технoнауки, ее социальных вызовов и направлений их разрешения, предлагаемой программой Я. Шмидта. Впрочем, остаются и сомнения, среди которых мы выделим только два. Во-первых, это касается специфики современной технoнауки, характеризующейся размыванием границ между социальным и природным, а также вездесущей неустойчивостью и неопределенностью. Если вспомнить историю, то мы обнаружим у всякой технологии природное и социальное измерение, будь это первобытная шахта, античный акведук, средневековая мельница или нововременной хронометр. Все они не только означали новый уровень власти над природой, но и власть одних людей над другими: хрестоматийный пример луддизма показывает, что «восстание машин» и «восстание против машин» суть две стороны одной медали.

С неустойчивостью история другая. Ученые Нового времени верили в возможность детерминистических законов, что доказывалось небесной механикой и реализуемостью механических задач в макроскопических масштабах Земли. Вплоть до середины XIX в. как минимум эта вера мешала им видеть, что термодинамические и электрические явления вносят существенные коррективы в физический детерминизм, хотя уже немецкие романтики догадывались об этом. Последние же сто лет идея неустойчивости вошла в научную картину мира благодаря квантовой механике. И она же получила мощное подтверждение в двух мировых войнах: научный рационализм оказался не только бессильным перед политическим волюнтаризмом, но даже успешно прислуживал ему. Не оказалась спасительной волшебной палочкой и самоорганизация в форме политической демократии, при помощи которой к власти приходили тираны. Так что концептуализация неустойчивости в природе и обществе далека до совершенства и не вызывает избыточного оптимизма.

Во-вторых, остается сомнение в том, знаем ли мы направление, по которому должна развиваться технoнаука. Если знаем, то желательно ясно и невзирая на неустойчивость и неопределенность сформулировать, что же такое хорошее общество, потребности которого призвана удовлетворять технoнаука. Невозможно ответить на этот вопрос ценностно-нейтральным образом. При этом ценности немислимы без их свободного субъективного выбора, который можно всегда оспорить, но которым трудно управлять с точки зрения некоторой теории и технологии. Согласимся в первом приближении, что хорошее общество предполагает свободу составляющих его индивидов. Однако на практике утопия свободы конкурирует с утопией безопасности и потому не работает, точнее, работает лишь как недосягаемый предел, к которому остается лишь стремиться. Технoнаука



так же амбивалентна, как и наука предшествующей истории; она периодически «не мыслит» (М. Хайдеггер), чтобы потом вырваться в авангард истории. Во многом амбивалентность науки выходит на передний план благодаря философии науки и ее метарефлексивной, внешне-внутренней позиции, т.е. способности видеть науку как часть себя и себя как часть науки. Взаимодействие науки и философии в рамках междисциплинарных площадок (зон обмена, П. Галисон) является вектором лучшего будущего в той мере, в какой эта коммуникация способна расширяться, захватывая собой всех социальных акторов. Иное дело, что это лучшее едва ли можно спроектировать заранее. На деле образ лучшего будущего оказывается итогом некоторого исторического развития в тех исторических реконструкциях, которые, как сова Минервы, появляются в сумерки.

Список литературы

Бажанов, Шольц, 2015 – *Бажанов В.А., Шольц Р.В.* (ред.). Трансдисциплинарность в философии и науке: подходы, проблемы, перспективы. М.: Издательский дом «Навигатор», 2015. 564 с.

Кедров и др., 1981 – *Кедров Б.М., Смирнов П.В., Юдин Б.Г.* (ред.). Методологические проблемы взаимодействия общественных, естественных и технических наук. М.: Наука, 1981. 360 с.

Кедров, Юдин, 1986 – *Кедров Б.М., Юдин Б.Г.* (ред.). Дисциплинарность и взаимодействие наук. М.: Наука, 1986. 279 с.

Мирский, 1980 – *Мирский Э.М.* Междисциплинарные исследования и дисциплинарная организация науки. М.: Наука, 1980. 304 с.

Огурцов, 1988 – *Огурцов А.П.* Дисциплинарная структура науки. Ее генезис и обоснование. М.: Наука, 1988. 256 с.

Петров, 1968 – *Петров М.К.* Некоторые проблемы организации науки в эпоху НТР // Вопросы философии. 1968. № 10. С. 36–45.

References

Bazhanov, V.A., Scholz, R.V. (eds.) *Transdisciplinarnost' v filosofii i nauke: podhody, problemy perspektivy* [Transdisciplinarity in Philosophy and Science: Approaches, Problems, Prospects]. Moscow: Navigator Publishing House, 2015. (In Russian)

Kasavin, 2017 – Kasavin, I.T. "The Koiné of Science: Interdisciplinarity and Mediation", *Herald of the Russian Academy of Sciences*, 2017, vol. 87, no. 6, pp. 543–550.

Kedrov, B.M., Smirnov, P.V., Yudin, B.G. (eds.) *Metodologicheskie problemy vzaimodeystviya obschestvennykh, estestvennykh i tekhnicheskikh nauk* [Methodological Problems of Interaction of Social, Natural and Technical sciences]. Moscow: Nauka, 1981. (In Russian)



Kedrov, B.M., Yudin, B.G. (eds.) *Disciplinarnost' i vzaimodeystvie nauk* [Disciplinarity and interaction of sciences]. Moscow: Nauka, 1986. (In Russian)

Mirsky, E.M. *Mezhdisciplinarnye issledovaniya i disciplinarnaya organizaciya nauki* [Interdisciplinary Studies and Disciplinary Organization of Science]. Moscow: Nauka, 1980. (In Russian)

Nicolescu, 2002 – Nicolescu, B. *Manifesto of Transdisciplinarity*. Albany: State University of New York Press, 2002.

Ogurtsov, A.P. *Disciplinarnaya struktura nauki. Eyo genesis i obosnovaniye* [Disciplinary Structure of Science. Its Genesis and Substantiation]. Moscow: Nauka, 1988. (In Russian)

Piaget, 1972 – Piaget, J. “The Epistemology of Interdisciplinary Relationships”, *Interdisciplinarity. Problems of Teaching and Research in Universities*. Paris: OECD, 1972, pp. 127–139.

Petrov, M.K. “Nekotorye problemy organizacii nauki v epokhu NTR” [Some Problems of the Organization of Science in the Epoch of NTR], *Voprosy filosofii*, 1968, no. 10, pp. 36–45. (In Russian)

Schmidt, 2022 – Schmidt, J.K. *Philosophy of Interdisciplinarity. Studies in Science. Society and Sustainability*. London and New York: Routledge, 2022.

Памятка для авторов

- Автор гарантирует, что текст, представленный для публикации в журнале, не был опубликован ранее или сдан в другое издание. При использовании материалов статьи в последующих публикациях ссылка на журнал «Эпистемология и философия науки» обязательна.
- Автор берет на себя ответственность за точность цитирования, правильность библиографических описаний, транскрибирование имен и фамилий.
- Рукописи принимаются исключительно в электронном виде в формате MS Word (шрифт – Times New Roman; размер – 12; междустрочный интервал – одинарный; абзацный отступ – 0,9; выравнивание – по левому краю; поля – 2,5 см) на сайте журнала <https://journal.iphras.ru>
- Объем статьи – от 0,75 до 1,2 а.л. (включая ссылки, примечания, список литературы, аннотации). Объем аналитического обзора – 0,5 а.л.
- Примечания оформляются как постраничные сноски со сквозной нумерацией. Библиографические сведения, отсылающие к Списку литературы, даются в основном тексте и в примечаниях в квадратных скобках; например: [Сидоров, 1994, с. 25–26]. На все источники из цитируемой литературы должны быть ссылки в тексте статьи.
- Помимо основного текста статьи, рукопись должна включать в себя следующие **сведения на английском и русском языках**:
 - 1) Ф.И.О. автора; ученую степень и ученое звание; место работы; полный адрес места работы (включая страну, индекс, город); адрес электронной почты автора;
 - 2) название статьи;
 - 3) аннотацию (1500–2000 знаков);
 - 4) ключевые слова (до 10 слов и словосочетаний);
 - 5) список литературы.
- Рукописи на русском языке должны содержать два варианта списка литературы:
 1. «**Список литературы**», выполненный в соответствии с требованиями ГОСТа. В начале списка в алфавитном порядке указываются источники на русском языке.
 2. Список «**References**», составленный в соответствии с требованиями международных библиографических баз данных (Scopus и др.). Все библиографические ссылки на русскоязычные источники приводятся в латинском алфавите по следующей схеме:
 - автор (имена отечественных авторов – в транслитерации латиницей, имена зарубежных авторов – в оригинальном или англоязычном написании);
 - заглавие статьи (транслитерация);
 - [перевод заглавия статьи на английский язык в квадратных скобках];

-
- название русскоязычного источника (транслитерация);
 - [перевод названия источника на английский язык в квадратных скобках];
 - выходные данные на английском языке (включая общее количество страниц в источнике или номера страниц, на которых размещен текст в сборнике/журнале/монографии).
 - Для транслитерации необходимо использовать сайт <http://translit.net/> (формат BSI).
 - Подробные рекомендации по оформлению текстов содержатся на странице журнала: <https://journal.iphras.ru/forcontributors>
 - К рукописи также должна прилагаться фотография автора.
 - Рисунки и формулы должны быть продублированы в графическом режиме и записаны отдельным файлом. Тексты, содержащие специфические символы и неевропейские шрифты, должны быть продублированы в формате pdf.
 - Решение о публикации материала принимается членами редколлегии, главным редактором и рецензентами в течение полугода с момента поступления текста в редакцию.
 - Плата за публикацию материалов не взимается, гонорар авторам не выплачивается.
 - Адрес редакции: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1, оф. 315. Тел.: +7 (495) 697-95-76; e-mail: journal@iphras.ru; сайт: <https://journal.iphras.ru>

Научно-теоретический журнал
Epistemology & Philosophy of Science / Эпистемология и философия науки
2024. Том 61. Номер 2

Учредитель и издатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт философии Российской академии наук

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77-57113 от 3 марта 2014 г.

Главный редактор *И.Т. Касавин*
Зам. главного редактора: *И.А. Герасимова, П.С. Куслий*
Ответственный секретарь *Л.А. Тухватулина*

Художники: *Ч.Р. Кантов, С.Ю. Растегина*
Корректор *И.А. Мальцева*
Технический редактор *Е.А. Морозова*

Подписано в печать с оригинал-макета 10.06.24
Формат 60×100 1/16. Печать офсетная. Гарнитура IPH Astra Serif
Усл. печ. л. 16,65. Уч.-изд. л. 15,29. Тираж 1 000 экз. Заказ № 10

Оригинал-макет изготовлен в Институте философии РАН
Компьютерная верстка: *Е.А. Морозова*

Отпечатано в ЦОП Института философии РАН
109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1

Информацию о журнале «Эпистемология и философия науки»
см. на сайте: <https://journal.iphras.ru>